

РОССИЙСКИЙ ВОЕННЫЙ СБОРНИК

Выпуск 7

К ПОЗНАНИЮ РОССИИ



МОСКВА

1994

В «Российском военном сборнике» публикуются наиболее важные образцы отечественной мысли по проблеме «Россия и армия». Изложению государственных знаний о Родине в целом придается не меньшее значение, чем раскрытию военной темы, так как их усвоение содействует воспитанию воина-гражданина, патриота, способного сознательно и самоотверженно служить России. Начало серии «К познанию России» положил второй выпуск Сборника. На его страницах показаны взгляды выдающегося русского мыслителя Бориса Николаевича Чичерина (25.5.1828 — 3.2.1904) на государственную науку, политику России, спасительную для нее роль либерального консерватизма. Настоящий, седьмой выпуск, продолжает данную серию публикацией заветных мыслей других авторитетных русских ученых и писателей, мировоззрение которых, так же как и у Б. Н. Чичерина, сформировалось во второй половине XIX века.

Составители: А.Е. Савинкин, Ю.Т. Белов, И.В. Домнин

Редактор седьмого выпуска «Российского военного сборника» А.Е. Савинкин

Издается при содействии Министерства обороны Российской Федерации, Гуманитарной академии Вооруженных сил и Межрегиональной Ассоциации социальной поддержки уволенных с военной службы «ОТЕЧЕСТВО».

© ГА ВС, «Российский военный сборник», 1994

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ	
ЗАВЕТНЫЕ МЫСЛИ ЛУЧШИХ ЛЮДЕЙ РОССИИ.....	6
Духовные отцы-основатели свободной и живой России. На службе Отечеству. — Завещание потомкам: знать и понимать Россию, великими усилиями содействовать ее процветанию, доводить дело до успешного конца.	
ЧТО ТАКОЕ РОССИЯ? В. СОЛОВЬЕВ.....	12
Сущность России-империи. — Предмет веры русского народа. — Условия государственного быта. — Истинное христианское дело. — Примирение Востока и Запада в союзе вечной истины Божией и свободы человеческой. — Смысл русской идеи. — Отречение от национальной исключительности и замкнутости. — Патриотизм. — Задачи русской партии. — Положительная духовная реформа. — Национальная политика России и ее историческое призвание. — Тайна прогресса.	
ХОД РУССКОЙ ИСТОРИИ С. СОЛОВЬЕВ.....	37
История как наука народного самопознания. — Что такое правительство? — Застой — удел народов, особо живущих. — Значение войн в истории. — Народ и государство. — Героический период истории России. — Движение русской истории из стран лучших в худшие. — Московское государство. — Дурное устройство русского войска в XVII веке. — Народное дело Петра Великого. — Декабристы. — Материализм и реакция Николая I. — Незнание России и реформы Александра II. — Способность к разрушению и неспособность к созиданию.	
ЧЕМУ УЧИТ ИСТОРИЯ РОССИИ? В. КЛЮЧЕВСКИЙ.....	80
Народ и история. — Бесплодные мечтания. — Народ как стихийная и сознательная сила. — Значение истории для настоящего. — Государство и правительство. — Россия как отсталое государство. — Провокаторская деятельность русских государей в XIX веке. — Незнание России. — Древняя и новая Россия. — Общая жизнь с Западом. — Слабая склонность к историческому размышлению. — Колебания русской истории. — Великая, но запоздавшая, реформа России в царствование Александра II. — Отвращение к труду и общественное недовольство. — Историография. — История как процесс народно-психологический. — Ближайшие задачи исторического изучения.	
ПИСЬМА О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ РОССИИ Р. ФАДЕЕВ	99
Бюрократическая опека над историческим развитием России. — Подавление нравственных сил народа. — Народная вера и царская власть. — Всеобщее недовольство: революционное движение, нигилизм, социализм. — Невозможность окончательных решений в общественном устройстве. — Задачи правительства и пути России. — Живая, земская Россия. — Петровские реформы. — Непригодность для нас готовых выводов чужой истории. — Упрочение нашего будущего. — Идеал России: переход от государства чиновников к земскому государству.	
РУССКОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА (ИЗ ДНЕВНИКОВЫХ ЗАПИСЕЙ) Ф. ДОСТОЕВСКИЙ.....	130
Являемся ли мы великой европейской державой и сколько нам это стоит? — Люди дороже денег. — Наши беды. — Разногласия по всем важным вопросам происходит от незнания России. — Национальная русская идея. — Россия и Европа. — Вопрос о русском народе. — Наш русский социализм. — Жажда правда, дела и общей пользы. — Угрюмая экономия. — Сомнительная выгода от сокращения армии. — Изучение России. — Реформы. — Боязнь истины (самообман). — Другие вопросы.	
К ПОЗНАНИЮ РОССИИ Д. МЕНДЕЛЕЕВ.....	174
Прогресс России с точки зрения реализма. — Значение народного богатства, промышленности и капитала для России. — Необходимость перехода к капитализму. — Ошибки социализма. — Центр нашей обширной страны. — Новое изображение России на географических картах. — Назначение России: Европу с Азией помирить, связать и слить. — Народы России. — Национализм. — Дилемма	

образованности. — Богатство и бедность России. — Желательное для блага России устройство правительства. — Первичные функции правительства: законодательство, исполнительная власть и суд. — Вторичные отправления правительства: военная и дипломатическая охрана страны, забота о просвещении и содействие экономическому преуспеянию. — Государственная Дума. — Канцлерство. — Союзы России. — Войны. — Военная оборона. — Народное просвещение. — Промышленность. — Необходимость вооруженных сил.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ШКОЛЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ Б. СЫРОМЯТНИКОВ, А. ЛАППО-ДАНИЛЕВСКИЙ..... 232

Романтическая «философия истории» С. Соловьева, Б. Чичерина, К. Казелина и других: примат национально-государственной идеи, права, особой роли верховной власти в строительстве здания русского общества. — Социологическая школа В. Ключевского: реализм, первый план социально-экономических отношений, местная история. — Оборона государства. — Позиция В. Ключевского по отношению к отечественной истории.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

РОСТИСЛАВ АНДРЕЕВИЧ ФАДЕЕВ С. ВИТТЕ..... 249

Высокообразованный и талантливый человек, оказавший влияние на взгляды генерал-фельдмаршала Барятинского, военного министра Милютина, «диктатора» Лорис-Меликова, Александра III, С. Витте и других. — Генерал-«диссидент». — Служба на Кавказе. — Взгляды на военную систему России. — «Восточный вопрос». — «Чем нам быть»? — «Письма о современном состоянии России».

ПРИЛОЖЕНИЕ III

КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ, ПРОДИКТОВАННЫЕ ПИСАТЕЛЕМ А.Г. ДОСТОЕВСКОЙ 258

Военная судьба писателя. — Участие в политическом заговоре и его последствия. — Литературная деятельность. — «Дневник».

Примечание

Тексты печатаются с сокращениями. Мысли и отдельные слова выделены в соответствии с современной значимостью. Как правило, сохраняются стиль и орфография авторских оригиналов.

Ты долго ль будешь за туманом
Скрываться, Русская звезда,
Или оптическим обманом
Ты обличишься навсегда?

Ужель навстречу жадным взорам,
К тебе стремящимся в ночи,
Пустым и ложным метеором
Твои рассыплются лучи?

Все гуще мрак, все пуще горе,
Все неминуемей беда:
Взгляни, чей флаг там гибнет в море,
Проснись теперь, иль никогда...

Ф. Тютчев, дек. 1866 г.

Предисловие

ЗАВЕТНЫЕ МЫСЛИ ЛУЧШИХ ЛЮДЕЙ РОССИИ

...Не формы, а люди важны... Искать людей!.. Не только в республиках, но и в монархиях кандидаты должны быть назначены единственно по способностям.

Н. Карамзин

Люди, люди — это самое главное. Люди дороже даже денег. Людей ни на каком рынке не купишь и никакими деньгами, потому что они не продаются и не покупаются, а опять-таки только веками выделяются...

Ф. Достоевский

Великих усилий требовала всегда для своего обустройства уникальная русская земля. Может быть поэтому в ней никогда не переводились богатыри. История России свидетельствует о целой когорте лучших людей: святых-подвижниках, преобразователях, полководцах, ученых-мыслителях, писателях и поэтах, составляющих в разное время тот общественный устой, которым держалась земля русская. Они неоднократно спасали Россию в тяжелых испытаниях, указывали верные пути выхода из кризиса, служили Отечеству нравственным примером, истинным Словом и полезным Делом.

Что объединяло Петра Великого и П. Столыпина, А. Суворова и М. Скобелева, Н. Гоголя, А. Пушкина и Ф. Достоевского, Н. Карамзина и С. Соловьева, М. Ломоносова и Д. Менделеева? В разное время они были лучшими на Руси и в России, содействовали процветанию Родины, любили ее сознательно и деятельно, не пресмыкались перед правителями, мужественно смотрели правде в глаза и стремились исправить общественное неустройство России естественно-историческим путем. Деятельность этих и многих других лиц определяла на протяжении веков границы и содержание (критерий) истинного патриотизма.

Опыт русской истории свидетельствует, что нельзя создать процветающую, живую и свободную Россию без «взаимопомощи» разных поколений. Приступая в очередной раз к строительству новой России, нужно полагаться на свои силы, но укрепить их следует уроками, традициями, опытом и знаниями предшественников. Заветы и советы лучших из них помогут современникам определить верные пути России, найти способы решения ее хронических проблем, прекратить бесцельную трату народных сил и энергии.

У современного российского общества мало настоящих вождей, но есть наставники, которые в прошлом познали и уяснили сущность и тайну России. Они по праву должны стать духовными отцами-основателями новой России, а их заветные мысли — своеобразной русской библией. Имена многих из них уже живут в нашем сознании. История ищет и находит новых сеятелей Истины и ревнителей Русского Национального Дела. Она указывает их современникам и вербует среди последних новых подвижников...

Делу познания России отдали свои жизни великие русские мыслители Сергей и Владимир Соловьевы, В. Ключевский, Р. Фадеев, Ф. Достоевский, Д. Менделеев¹. Каждый из них оставил потомкам заветные мысли, которые с определенными сокращениями публикуются в настоящем выпуске «Российского военного сборника». В целом они составляют программное нравственно-политическое завещание, состоящее из следующих основных положений.

1. Россия была империей-народом (основной корень — великороссы), созданной в результате колонизации и собирания обширных земель и развившей до непомерных и опасных размеров принцип абсолютного государства. «Русская империя, отъединенная в своем абсолютизме, есть лишь угроза борьбы и бесконечных войн», — отмечал В. Соловьев.

К концу XIX века Россия по-прежнему представляла собой отставшую страну, судорожно стремящуюся догнать ушедшие вперед народы (несмотря на «особую статью») и быть великой европейской державой (несмотря на то, что ей обходилось это очень дорого). Все это, вместе взятое, порождало особые «исторические» законы развития России и состояние постоянного переходного периода, в котором она была последние века своего существования. Отсюда — калейдоскоп сомнительных по своим результатам переворотов, революций и реформ, реакций, войн и катастроф.

Как ни казалась проблема решенной, русское правительство так и не смогло создать устойчивого тела российской государственности, тем более вдохнуть в него

¹ *Владимир Сергеевич Соловьев* (16.1.1853 — 30.07.1900) — сын знаменитого русского историка. Философ-«диссидент». Поэт-пророк. Странник воссоединения христианских церквей. Автор многих работ о судьбе России. Военная тема представлена размышлениями «Смысл войны», «Три разговора». Сочинения. В 9 т. СПб., 1901–1910.

Сергей Михайлович Соловьев (05.05.1820 — 04.10.1879). Автор «Истории России с древнейших времен» (29 томов в 13 книгах). Сочинения в 18 книгах. — М., 1988...

Василий Осипович Ключевский (16.01.1841 — 12.05.1911). Русский историк. Автор пятитомного «Курса русской истории», других книг и статей. Собрание сочинений. В 9 т. — М., 1987–1990 (см. приложение I).

Ростислав Андреевич Фадеев (28.03.1824 — 29.12.1883). Генерал-майор. Писатель-публицист. Собрание сочинений. В 3 т. — СПб., 1889. См. приложение II.

Федор Михайлович Достоевский (30.10.1821 — 28.01.1881). Русский писатель, собрание сочинений в 30 т. — Л., 1972. См. приложение III.

Дмитрий Иванович Менделеев (27.01.1834 — 20.01.1907). Ученый-просветитель. Странник промышленного развития России. Написал книги «К познанию России» и «Заветные мысли». Сочинения в 25 книгах. — М., 1934–1952. (Дни рождения и смерти указаны по старому стилю).

самостоятельную мысль, провести положительную духовную реформу. Неоднократные попытки преобразований осуществлялись без преемственности, общих усилий и единого плана, приводили нередко к еще худшим последствиям. Замечание Н. М. Карамзина от 1811 года: «Скажем ли, повторим ли, что одна из главных причин неудовольствия россиян на нынешнее правительство есть излишняя любовь его к государственным преобразованиям, которые потрясают основу империи и коих благотворность остается доселе сомнительной»².

Что делать в этой ситуации?

Стать христианским государством — основная задача России: «Христианская Россия, подражая самому Христу, должна подчинить власть государства (царственную власть Сына) авторитету Вселенской Церкви (священству Отца) и отвести подобающее место общественной свободе (действию Духа)... Русская империя, пожелавшая служить Вселенской Церкви к делу общественной организации, взять их под свой покров, внесет в семейство народов мир и благословение» (В. Соловьев).

Отказаться от национального эгоизма и исключительности. Помнить, что «застой — удел народов, особо живущих», что наши предки ради общего блага (государственный порядок) не побоялись призвать на Русь варягов, использовали европейскую цивилизацию для просвещения и создания Великой России (Петр I, Екатерина II). И при этом они следовали девизу «Быть самими собой», сохраняли честь и достоинство, не перенимали механически чужих форм жизни и идей, «не обезьянничали», как это имело место в XIX веке (В. Соловьев, С. Соловьев, В. Ключевский).

Избегать крайностей материализма и идеализма, придерживаться позиции реализма, исключающей самообман (вранье) и предполагающей постепенное, преимущественно эволюционное совершенствование России. Нельзя решить ее проблем сходу, одним мановением руки, горячими речами; нужны великие, постоянные и осмысленные усилия: «Надо свое обдумать, попробовать, видоизменять и — доходить до конца»³.

Не принимать окончательных решений, учитывая исторически неустойчивое состояние страны: «России нужно пока не окончательное решение, а достаточный простор общественной деятельности и достаточное сближение с властью для того, чтобы назревающие потребности могли свободно облекаться, одна за другой, соответствующими им формами, выдерживая поверку опыта и дополняя себя взаимно, пока из них не сложится постепенно нечто целое (Р. Фадеев).

² Карамзин Н. М. Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях. — М.: Наука, 1991. С. 64.

³ Менделеев Д.И. Границ познанию предвидеть невозможно. — М.: Советская Россия, 1991. С. 1.

Нравственно послужить Востоку и Западу, примиряя их в себе. Найти пути примирения с нашими историческими врагами (В. Соловьев).

2. Необходимо иметь ясное представление о грехах и обязанностях России. Главный грех — незнание России и слабое правительство, неспособное к управлению страной, выбору устойчивых путей ее развития, к выполнению непосредственных правительственных функций (способное более к разрушению и отрицательной деятельности, чем к выполнению созидательных задач).

В России, как ни в одной другой стране, имелись абсолютные возможности для деятельности верховной власти. Правительство злоупотребило ими. Оно, по необходимости, взяло на себя роль Провидения: стало думать и действовать за управляемое им общество, поставило его под бюрократическую опеку, возложило на себя воспитательную функцию, — причем без желания отказываться от такого способа действия. Своими решениями и поступками правительство постоянно провоцировало народ: вызывало заговоры и восстания, революции, общественное недовольство. Правительство «боролось со своей страной» и «издевалось над обществом», превратилось в партию со своими эгоистичными интересами (В. Ключевский).

Как искупить этот грех?

Перестать «только верить» в Россию. Надо знать родную жизнь и понимать ее недостатки и нужды. Мы же боялись самостоятельно мыслить; приучились верить, но не умствовать: «Под византийским влиянием мы были холопами чужой веры, под западноевропейским стали холопами чужой мысли» (В. Ключевский).

Для нормального развития и совершенствования сложное российское государство требует постоянного самопознания и духовно-аналитической (фактически статистической) работы. Исследование отечественной истории при этом — лучший способ самопознания, причинного объяснения настоящего, формирования гражданина-патриота. Без самоотверженной духовной работы заблуждения выведут нас за рамки истории, как это уже неоднократно происходило в России. Для исцеления стране нужна атмосфера Правды; нельзя более жить мифологизированной историей, разговорами о величии России и самообманом. Стремиться к Истине, знать Россию, не бояться правды о ней, отказаться от «деликатной взаимности вранья», «подлого самоотрицания себя» (Ф. Достоевский). «Русскому следует говорить о делах своего Отечества так же ясно, как говорят о них чужие»⁴, — отмечает Р. Фадеев.

⁴ Фадеев Р.А. Собрание сочинений. Т. 1. — СПб., 1889. С. 110.

Правительство отражает историческую жизнь народа, является его представительством, служит общему благу. Необходимо поэтому вернуть русское правительство на действительную народную почву (сделать земным), обеспечить переход России от царства чиновников к земскому государству, покончить с бесформенностью (хаосом, анархией, разбродом), заменив ее разумно устроенным обществом, в котором правительство опирается на культурный слой образованных людей и Земство как общественную силу.

После образования формы, предначертанной историей, создания мощного слоя культурных образованных людей (формирования земской общественной силы) правительство должно признать законченным воспитательный период по отношению к обществу, снять с него бюрократическую опеку, содействовать (уже как Администрация, управляющая общественными делами) созданию сознательной и самостоятельной общественной жизни (Р. Фадеев).

Желательное для блага России правительство есть такое, которое выполняет строго определенные функции: законодательные, исполнительные, судебные (основные, первичные); военной и дипломатической охраны страны, заботы о просвещении, содействия экономическому преуспеянию. При этом правительство действует, исходя из следующих посылок. Во-первых, ни народное благосостояние, ни прямая оборона страны, ни просвещение, ни дело укрепления «порядка и правды», ни самостоятельное историческое развитие немыслимы без известной степени накопления народного богатства, развития промышленности (Д. Менделеев)⁵. Во-вторых, России при ее сложных отношениях и многоземелье нельзя избежать войн (по крайней мере в XX веке), поэтому она должна развивать народное хозяйство, заключать выгодные союзы, крепить оборону, совершенствовать армию и флот, составляя их, по мере накопления богатства, из охотников и вольнонаемных (Д. Менделеев).

⁵ Этот вывод делался Н.Карамзиным еще в начале XIX века: «Казна богатеет только двумя способами: размножением весей или уменьшением расходов, промышленностью или бережливостью. Если год от года будет у нас более хлеба, сукон, кож, холста, то содержание армий должно стоить менее, а тщательная экономия богатств золотых рудников. Миллион, сохраненный в казне не расходами, обращается в два; миллион, налогом приобретенный, уменьшается ныне вполовину, завтра будет нулем. Искренно хваля правительство за желание способствовать в России успехам земледелия и скотоводства, похвалим ли за бережливость? Где она? В уменьшении дворцовых расходов? Но бережливость государя не есть государственная! Александра называют даже скупым; но сколько изобретено новых мест, сколько чиновников ненужных! Здесь три генерала стерегут туфли Петра Великого; там один человек берет из 5 мест жалованье; всякому — столовые деньги; множество пенсий излишних; дают взаймы без отдачи и кому? — богатым людям! Обманывают государя проектами, заведениями на бумаге, чтобы грабить казну... Непрестанно на государственное иждивение ездят инспекторы, сенаторы, чиновники, не делая ни малейшей пользы своими объездами...». — Карамзин Н.М. Записка о древней и новой России. — С. 75–76.

3. Для России наступило время практических решений и конкретных дел. В стране их накопилось столько, что надо не жаловаться, а приносить пользу, что-нибудь да решать! «У нас одно изучение России, — отмечал далее Ф. Достоевский, — столько времени возьмет, потому что ведь у нас лишь редкий человек знает нашу Россию». Из «Дневника» писателя следует конкретная программа-наказ для граждан и правительства России: меньше говорить о величии страны, а больше приносить ей пользы конкретными делами; воевать не столько оружием, сколько умом; развивать самостоятельную науку; тратить на просвещение столько же, сколько на войско; создавать бюджет трудом и промышленностью, а не за счет народного пьянства и разврата; общечеловеческое объединение с другими народами; примирение Запада и Востока в едином христианском деле; приобрести облик человеческий, а не обезьяны (стать самими собой); духовное оздоровление; полная правда; полная свобода; вера в русскую национальную идею; честность и искренность; крутые решения; угрюмая экономика...

4. Если правительство и народ России не найдут в себе сил и мужества осуществить указанные заветы на деле, то следует хотя бы выполнить одно правило, изложенное в следующей мысли В. Ключевского: «Изучение нашего прошлого небесполезно — с отрицательной стороны. Оно оставило нам мало пригодных идеалов, но много поучительных уроков, мало умственных приобретений и нравственных заветов, но такой обильный запас ошибок и пороков, что нам достаточно не думать и не поступать как наши предки, чтобы стать умнее и порядочнее, чем мы теперь».

В этих кратких положениях изложена программная суть заветных мыслей всего лишь нескольких лучших людей России. Усвоить ее можно, только ознакомившись с последующими «рабочими» размышлениями и, естественно, оригинальными произведениями русских мыслителей. А усвоив, связать знания о «старой» России с ее современным состоянием, чтобы действовать по возможности без ошибок, приносить максимальную пользу Отечеству, помня, что «промедление времени — смерти невозвратной подобно» (Петр I) и что «истинный делатель, вступив на путь, сразу увидит перед собою столько дела, что не станет жаловаться, что ему не дают делать, а непременно отыщет и успеет хоть что-нибудь сделать» (Ф. Достоевский).

1994 г.

А. Савинкин

ЧТО ТАКОЕ РОССИЯ?

В. Соловьев

Как ни странно, а этот первый вопрос нашего самосознания до сих пор остается в тумане. Надвигается, однако, неизбежный час прямого и ясного ответа.

Многие скажут, что и спрашивать не о чем: Россия есть народ, как и все. Но ведь каждый из этих всех есть особый народ, и следовательно, если и признать Россию только одним из народов, то вопрос о ее особенностях оставался бы все-таки открытым. На самом деле Россия больше, чем народ, она есть народ, собравший вокруг себя другие народы, — империя, обнимающая семью народов. Но и это определение при всей своей важности еще не решает вопроса, а только указывает его объем. Империи бывали и могут быть весьма различными, значение России определяется, конечно, не простым фактом ее многонародности, а тем, как ее коренной, срединный народ — народ-собиратель — относится ко всем другим, каким образом и во имя чего он их собирает — дело не в общем свойстве империи, а в отличительном характере ее, который может прямо зависеть лишь от особенности коренного народа, ее образующего, т.е. русского: сверхнародное значение России может вытекать только из русской народной сущности.

Сущность народа, как и отдельного человека, определяется тем, во что он верит, как он понимает предмет своей веры, и что он делает для ее осуществления. Так как вера, не оправдываемая ни разумом веры, ни делами веры, есть только кажущаяся, то эти три определения сводятся к одному: сущность народа, как и человека, в том, во что он взаправду верит.

Итак, во что же верит русский народ? Если, не входя в спорную богословскую область, мы возьмем дело просто, как оно есть, то должны будем сказать, что русский народ, веруя со всеми единоверными народами в одного и того же Бога и со всеми христианскими народами в одного и того же Христа, отличается от других только в одном существенном предмете: та церковь, в которую он верит, не есть та, в которую верит большая часть остальных христианских народов, именно это отличие и разумеется, когда говорят о православии русского народа: православный, значит, не католик и не протестант. Но если от этого несомненного отрицательного признака мы перейдем к положительному и спросим, в какую же именно церковь верит русский народ, — или чем определяется его православие, то на этот вопрос уже нельзя в настоящее время получить определенного ответа. Та церковь, в которую верят три четверти русского народа, не есть та, в которую верит остальная четверть

того же коренного русского народа. Различие в обрядах не мешает единоверию, но огромное большинство древлеправославных не захотели принять «единоверия», хотя бы и под условием неприкосновенности своих старых обрядов, и тем доказали, что их отделение от «господствующей церкви» держится не на почве обрядов, а на почве веры: последователи протопопа Аввакума верят не в ту церковь, в которую верят последователи патриарха Никона, митрополита Стефана Яворского и епископа Феофана Прокоповича. Какая же из непримиримых сторон представляет собою русский народ? Стать вполне на сторону староверов, при их безусловно отрицательном отношении к реформе Петра Великого, значит допустить, что русская история не имеет смысла, значит отказаться от начал общечеловеческого просвещения и задач будущего. А между тем видеть в расколе один лишь плод народного невежества можно только закрывая глаза на пребывающие доселе аномалии нашей духовной жизни. Но как ни жмурься, как ни замалчивай, а религиозное отделение нескольких миллионов чисто русских людей — отделение самостоятельное, никакими внешними, чужеземными влияниями не вызванное, — и образование вследствие этого двух особых верований, уже более двух веков противостоящих друг другу, — есть явление, в котором народная совесть и разум должны, наконец, так или иначе разобраться...

В царствование Александра II закончилось внешнее природное образование России, образование ее тела, и начался в муках и болезнях процесс ее духовного рождения. Всякому новому рождению, всякому творческому процессу, который вводит существующие элементы в новые формы и сочетания, неизбежно предшествует брожение этих элементов. Когда складывалось тело России и рождалось Российское государство, русские люди от князей с их дружинами и до последнего земледельца бродили по всей стране. Вся Русь брела врознь. Таким внешним брожением вызывалось внешнее же государственное закрепление, чтобы сложить Россию в одно великое тело. Начатый князьями в Москве и завершенный императорами в Петербурге, этот процесс внешнего закрепления, в силу которого прежние бродячие дружины превратились в поместное дворянство, прежние вольные гости стали мещанами, а свободно переходящее крестьянство крепостными, эта закрепленная государством организация России ввела быт и деятельность народа и общества в твердые определенные рамки. Эти рамки оставались неприкосновенны и тогда, когда после Петровской реформы и в особенности с царствования Александра I различные идеи и умственные течения Западной Европы стали овладевать образованным слоем русского

общества. Ни мистические верования русских масонов, ни гуманитарные идеи деятелей сороковых годов, несмотря на то нравственно-практическое направление, которое они часто у нас принимали, не имели существенного влияния на крепость бытовых основ и не мешали образованным людям, рассуждая по-новому, жить по-старому, в завешанных преданием формах.

Вплоть до освободительного акта прошлого царствования жизнь и деятельность русских людей не зависела существенно от их мыслей и убеждений, а заранее определялась теми готовыми рамками, в которые рождение ставило каждого человека и каждую группу людей. Особенного вопроса о задачах жизни, о том, для чего жить и что делать, не могло возникнуть в тогдашнем обществе, потому что его жизнь и деятельность обуславливались не вопросом для чего, а основанием почему. Помещик жил и действовал известным образом не для чего-нибудь, а прежде всего потому, что он был помещик, и точно так же крестьянин обязан был жить так, а не иначе, потому, что он был крестьянин, и между этими крайними формами все остальные группы в готовых условиях государственного быта находили достаточное основание, которым определялся круг их жизни, не оставляя места для вопроса: что делать? Если б Россия была только народно-государственным телом, как, например, Китай, то она могла бы удовлетвориться такою внешнею твердостью и определенностью жизни, могла бы остановиться в своей закрепленной организации. Но Россия, еще в самом своем младенчестве крещенная в христианскую веру, получила отсюда залог высшей духовной жизни и должна была, достигнув зрелого возраста, сложившись и определившись физически, искать себе свободного нравственного определения. А для этого прежде всего силы русского общества должны были получить свободу, возможность и побуждение выйти из той внешней неподвижности, которая обуславливалась крепостным строем. В этом (освободительном, а не реформаторском) деле весь смысл прошлого царствования. Великий подвиг этого царствования есть единственно освобождение русского общества от прежних обязательных рамок, для будущего создания новых духовных форм, а никак не самое создание этих последних, которое и доселе еще не начиналось. Прежде, чем образоваться этим формам, освобожденное общество должно пройти чрез внутреннее духовное брожение. Как прежде образования государственного тела был период, когда все бродили, так же должно быть и перед духовным рождением России...

В православном христианстве, во вселенской Церкви находим мы твердое основание и существенный начаток для новой духовной жизни, для гармонического образования истинного человечества и истинной природы. Здесь, значит, и условие настоящего дела. Истинное дело возможно только, если и в человеке и в природе есть положительные и

свободные силы света и добра; но без Бога ни человек, ни природа таких сил не имеет. Отделение от Божества, т. е. от полноты Добра, есть зло, и действуя на основания этого зла, мы можем делать только дурное дело. Последнее дело безбожного человека есть убийство или самоубийство. Человек вносит в природу злобу и берет от нее смерть. Только отказавшись от своего ложного положения, от своей безумной сосредоточенности в себе, от своего злого одиночества, только связав себя с Богом в Христе и с миром в церкви, можем мы делать настоящее Божье дело, то, что Достоевский назвал православным делом.

Если христианство есть религия спасения; если христианская идея состоит в исцелении, внутреннем соединении тех начал, рознь которых есть гибель, то сущность истинного христианского дела будет то, что на логическом языке называется синтезом, а на языке нравственном — примирением.

Этою общою чертою обозначил Достоевский призвание России в своей Пушкинской речи. Это было его последнее слово и завещание.

И тут было нечто гораздо большее, чем простой призыв к мирным чувствам во имя широты русского духа: здесь заключалось уже и указание на положительные исторические задачи, или, лучше, обязанности России. Недаром тогда почувствовалось и сказалось, что упразднен спор между славянофильством и западничеством, а упразднение этого спора — значит упразднение в идее самого многовекового исторического раздора между Востоком и Западом — это значит найти для России новое нравственное положение, избавить ее от необходимости продолжать противохристианскую борьбу между Востоком и Западом и возложить на нее великую обязанность нравственно послужить и Востоку и Западу, примиряя в себе обоих.

И не придуманы для России эта обязанность и это назначение, а даны ей христианскою верою и историей.

Разделение между Востоком и Западом в смысле розни и антагонизма взаимной вражды и ненависти — такого разделения не должно быть в христианстве, и если оно явилось, то это есть великий грех и великое бедствие. Но именно в то время, как этот великий грех совершался в Византии, рождалась Россия для его искупления. Приняв от Византии православное христианство, должна ли Россия, вместе с Божьей святыней, усвоить себе навсегда и исторические грехи Византийского царства, приготовившего свою собственную гибель? Если, вопреки полноте христианской идеи, Византия снова возбудила великий мировой спор и стала в нем на одну сторону — в сторону Востока, то ее судьба нам не образец, а урок.

Изначала Провидение поставило Россию между нехристианским Востоком и западною формою христианства — между басурманством и латинством; и в то же время, как Византия в односторонней вражде с Западом, все более и более проникаясь исключительно восточными началами и превращаясь в азиатское царство, оказывается одинаково бессильною и против латинских крестоносцев и против мусульманских варваров, и окончательно покоряется последними — Россия с решительным успехом отстаивает себя и от Востока и от Запада, победоносно отбивает басурманство и латинство. Эта внешняя борьба с обоими противниками была необходима для внешнего сложения и укрепления России для образования ее государственного тела. Но вот эта внешняя задача исполнена, тело России сложилось и выросло, чуждые силы не могут поглотить его — и старый антагонизм теряет свой смысл. Россия достаточно показала и Востоку и Западу свои физические силы в борьбе с ними — теперь предстоит ей показать и свою духовную силу в примирении. Я говорю не о внешнем сближении и механическом перенесении к нам чужих форм, какова была реформа Петра Великого, необходимая только как подготовка. Настоящая же задача не в том, чтобы перенять, а в том, чтобы понять чужие формы, опознать и усвоить положительную сущность чужого духа и нравственно соединиться с ним во имя высшей всемирной истины.

Необходимо примирение по существу; существо же примирения есть Бог, и истинное примирение в том, чтобы не по-человечески, а «по-божьи» отнестись к противнику. Это тем настоятельнее для нас, что теперь оба наши главные противника уже не вне нас, а в нашей среде. Латинство в лице поляков и басурманство, т. е. нехристианский Восток, в лице евреев, вошли в состав России, и если они нам враги, то уже враги внутренние, и если с ними должна быть война, то это уже будет война междоусобная. Тут уже не одна христианская совесть, но и человеческая мудрость говорит о примирении. И недостаточно здесь мирных чувств к противникам, как к людям вообще, ибо эти противники не суть люди вообще, а люди совершенно особенные, с своим определенным характером, и для действительного примирения нужно глубокое понимание именно этого их особого характера: нужно обратиться к самому их духовному существу и отнестись к нему по-божьи...

Воистину, если для нас слово Божие вернее всех человеческих соображений и дело царствия Божия дороже всех земных интересов, то перед нами открыт путь примирения с нашими историческими врагами. И не будем говорить: пойдут ли на мир сами наши противники, как они к этому отнесутся и что нам ответят? Чужая совесть нам неизвестна и чужие дела не в нашей власти. Не в нашей власти, чтобы другие хорошо относились к нам,

но в нашей власти быть достойными такого отношения. И думать нам должно не о том, что скажут нам другие, а о том, что мы скажем миру.

В одном разговоре Достоевский применял к России видение Иоанна Богослова о жене, облеченной в солнце и в мучениях хотящей родить сына мужеска: жена — это Россия, а рождаемое ею есть то новое Слово, которое Россия должна сказать миру. Правильно или нет это толкование «великого знамения», но новое Слово России Достоевский угадал верно. Это есть слово примирения для Востока и Запада в союзе вечной истины Божией и свободы человеческой.

Вот высшая задача и обязанность России, и таков «общественный идеал» Достоевского. Его основание — нравственное возрождение и духовный подвиг уже не отдельного, одинокого лица, а целого общества и народа. Как и встарь, такой идеал неясен для учителей израилевых, но в нем истина, и он победит мир...

В силу исторических условий, в которые она поставлена, Россия являет наиболее полное развитие, наиболее чистое и наиболее могущественное выражение абсолютного национального государства, отвергавшего единство Церкви и исключавшего религиозную свободу. Если бы мы были языческим народом, мы, конечно, могли бы окончательно кристаллизироваться в сказанном состоянии. Но народ русский — народ в глубине души своей христианский, и непомерное развитие, которое получил в нем антихристианский принцип абсолютного государства, есть лишь обратная сторона принципа истинного, начала христианского государства, царской власти Христа. Это есть второе начало социальной троицы, и дабы проявить его в правде и истине, Россия должна прежде всего поставить это начало на то место, которое ему принадлежит, признать и утвердить его не как единственный принцип нашего обособленного существования, но как второй из трех главных деятелей вселенской социальной жизни, в неразрывной связи с которой мы должны пребывать. Христианская Россия, подражая самому Христу, должна подчинить власть государства (царственную власть Сына) авторитету Вселенской Церкви (священству Отца) и отвести подобающее место общественной свободе (действию Духа). Русская империя, отъединенная в своем абсолютизме, есть лишь угроза борьбы и бесконечных войн. Русская империя, пожелавшая служить Вселенской Церкви и делу общественной организации, взять их под свой покров, внесет в семейство народов мир и благословение.

«Не добро быть человеку одному». То же можно сказать и о всякой нации. Девятьсот лет тому назад мы были крещены Святым Владимиром во имя животворящей Троицы, а не во имя бесплодного единства. Русская идея не может заключаться в отречении от нашего крещения. Русская идея, исторический долг России требует от нас признания нашей неразрывной связи с вселенским семейством Христа и обращения всех наших национальных дарований, всей мощи нашей империи на окончательное осуществление социальной троичности, где каждое из трех главных органических единств, церковь, государство и общество, безусловно свободно и державно не в отъединении от двух других, поглощая или истребляя их, но в утверждении безусловной внутренней связи с ними. Восстановить на земле этот верный образ божественной Троицы — вот в чем русская идея. И в том, что эта идея не имеет в себе ничего исключительного и партикуляристического, что она представляет лишь новый аспект самой христианской идеи, что для осуществления этого национального призвания нам не нужно действовать против других наций, но с ними и для них — в этом лежит великое доказательство, что эта идея есть идея истинная. Ибо истина есть лишь форма Добра, а Добру неведома зависть...

Внешний образ раба, в котором находится наш народ, жалкое положение России в экономическом и других отношениях не только не может служить возражением против ее призвания, но скорее подтверждает его. Ибо та высшая сила, которую русский народ должен провести в человечество, есть сила не от мира сего, внешнее богатство и порядок относительно ее не имеют никакого значения. Великое историческое призвание России, от которого только получают значение и ее ближайшие задачи, есть призвание религиозное в высшем смысле этого слова. Когда воля и ум людей вступают в действительное общение с вечно и истинно существующим, тогда только получают свое положительное значение и цену все частные формы и элементы жизни и знания — все они будут необходимыми органами или средствами одного живого целого. Их противоречие, вражда, основанные на исключительном самоутверждении каждого, необходимо исчезнут, как только все вместе свободно подчинятся одному общему началу и средоточию.

Когда наступит час обнаружения для России ее исторического призвания — никто не может сказать, но все показывает, что час этот близок, даже несмотря на то, что в русском обществе не существует почти никакого действительного сознания своей высшей задачи. Но великие внешние события обыкновенно предшествуют великим пробуждениям общественного сознания. Так, даже крымская война, совершенно бесплодная в политическом отношении, сильно, однако, повлияла на сознание нашего общества. Отрицательному результату этой войны соответствовал и отрицательный характер пробужденного ею

сознания. Должно надеяться, что готовящаяся великая борьба послужит могущественным толчком для пробуждения положительного сознания русского народа. А до тех пор мы, имевшие несчастье принадлежать к русской интеллигенции, которая, вместо образа и подобия Божия, все еще продолжает носить образ и подобие обезьяны, — мы должны же, наконец, увидеть свое жалкое положение, должны постараться восстановить в себе русский народный характер, перестать творить себе кумира из всякой узкой ничтожной идейки, должны стать равнодушнее к ограниченным интересам этой жизни, свободно и разумно уверовать в другую высшую действительность. Конечно, эта вера не зависит от одного желания, но нельзя также думать, что она есть чистая случайность или падает прямо с неба. Эта вера есть необходимый результат внутреннего душевного процесса — процесса решительного освобождения от той житейской дряни, которая наполняет наше сердце, и от той мнимо научной школьной дряни, которая наполняет наши головы. Ибо отрицание низшего содержания есть тем самым утверждение высшего, и изгоняя из своей души ложных божков в кумиров, мы тем самым вводим в нее истинное божество.

II

С точки зрения национального эгоизма, донныне господствующего в политике, каждый народ есть особое, довлеющее себе целое, и свой интерес есть для него высший закон. Нравственный долг требует от народа прежде всего, чтобы он отрекся от этого национального эгоизма, преодолел свою природную ограниченность, вышел из своего обособления. Народ должен признать себя тем, чем он есть поистине, то есть лишь частью вселенского целого; он должен признать свою солидарность со всеми другими живыми частями этого целого — солидарность в высших всечеловеческих интересах — и служить не себе, а этим интересам в меру своих национальных сил и сообразно своим национальным качествам. Такое нравственное самоотречение народа ни в каком случае не может совершиться вдруг и зараз. В жизни нации, как и отдельного лица, мы находим постепенное углубление нравственного сознания. Так, прошедшее русского народа представляет два главных акта национального самоотречения — призвание варягов и реформа Петра Великого. Оба великие события, относясь к сфере материального государственного порядка и внешней культуры, имели лишь подготовительное значение, и нам еще предстоит решительный, вполне сознательный и свободный акт национального самоотречения...

Этому исполнению нашего нравственного долга препятствует лишь неразумный псевдопатриотизм, который под предлогом любви к народу желает удержать его на пути национального эгоизма, т. е. желает ему зла и гибели. Истинная любовь к народу желает ему действительного блага, которое достигается только исполнением нравственного закона, путем самоотречения. Такая истинная любовь к народу, такой настоящий патриотизм тем более для нас, русских, обязателен, что высший идеал самого русского народа (идеал «святой Руси») вполне согласен с нравственными требованиями и исключает всякое национальное самолюбие и самомнение...

Освобождение от национальной исключительности облегчается для России тем обстоятельством, что на пути народного эгоизма, отделяющего ее от западной культуры, Россия не может достигнуть ближайшей естественной цели своей политики — объединения славянских народов, собирания славянского мира. Большая половина наших единоплеменников (поляки, хорваты, чехи и моравы) по духовным началам своей народной жизни примыкают к западному миру, и при отрицательном отношении к Западу мы не можем стать для них настоящим центром единения...

Таким образом, и высшие нравственные соображения, и идеал Русского народа, и ближайшие нужды нашей политики побуждают нас отказаться от народного обособления и эгоизма, совершить акт национального самоотречения. Разумеется, таков акт возможен только при полной духовной свободе России, при свободе в ней мнения и мысли. Настоятельная потребность наша, существенное практическое условие для исполнения нашего высшего национального призвания есть духовное освобождение России — дело, несравненно более важное, нежели то гражданское освобождение крестьян, которое было величайшим подвигом прошлого царствования. Россия достигла ныне национального совершеннолетия, и пора снять опеку с ее веры в мысли...

Россия обладает, быть может, великими и самобытными духовными силами, но для проявления их ей во всяком случае нужно принять и деятельно усвоить те общечеловеческие формы жизни и знания, которые выработаны Западной Европой. Наша внеевропейская или противоевропейская преднамеренная и искусственная самобытность всегда была и есть лишь пустая претензия; отречься от этой претензии есть для нас первое и необходимое условие всякого успеха...

В исторической жизни человечества народность являлась доселе по преимуществу как сила дифференцирующая и разделяющая (так действовала она, например, во всех церковных разделах). Между тем, такое разделяющее и обособляющее действие народности противоречит всеединящим нравственным началам христианства, а также

истинному назначению самих христианских народов, которые призваны к всестороннему осуществлению богочеловеческого единства, а не к разделению человечества. И если христианский народ может поддаться духу национального эгоизма и в процессе обособления перейти божественные пределы, то тот же народ может сам начать обратный процесс интеграции или исцеления разделенного человечества. И по своему историческому положению, и по национальному характеру и мирозерцанию Россия должна бы сделать почин в этой новой положительной реформации. Исполнит ли она свою нравственную обязанность — мы предсказать не можем. Мы не признаем предопределения ни в личной, ни в народной жизни. Судьба людей и наций, пока они живы, в их доброй воле. Одно только мы знаем наверное: если Россия не исполнит своего нравственного долга, если она не отречется от национального эгоизма, если она не откажется от права силы и не поверит в силу права, если она не возжелает искренно и крепко духовной свободы и истины — она никогда не может иметь прочного успеха ни в каких делах своих, ни внешних, ни внутренних.

«Призываю ныне в свидетели небо и землю: жизнь и смерть положил ныне пред лицом вашим — благословение и проклятие. Избери жизнь, да живешь ты и семья твое»...

Склонность к розни и междоусобиям, неспособность к единству, порядку и организации были всегда, как известно, отличительным свойством славянского племени. Родоначальники нашей истории нашли и у нас это природное племенное свойство, но вместе с тем нашли, что в нем нет добра, и решились ему противодействовать. Не видя у себя дома никаких элементов единства и порядка, они решились призвать их извне и не побоялись подчиниться чужой власти. По-видимому, эти люди, призывая чужую власть, отрекались от своей родной земли, изменяли ей — на самом деле они создавали Россию, начинали русскую историю. Великое слово народного самосознания и самоотречения: «земля наша велика и обильна, но порядка в ней нет, придите владеть и княжить нами» — было творческим словом, впервые проявившим историческую силу русского народа и создавшим русское государство. Без этого слова восточные славяне испытали бы ту же участь, как и славяне западные: венды, оботриты и прочие. И те, так же как и мы, страдали от розни и беспорядка, но они не хотели или не умели отделаться от этого зла добровольным подчинением внешнему государственному строю. Они не призывали чужеземцев для порядка — чужеземцы сами пришли к ним для завоевания и поглотили их, и осталось от них одно лишь имя. И нас постигла бы та же судьба без того подвига нравственной силы, который выразился в призывании варягов и положил начало русскому государству. Мы должны помнить, что мы, как народ, спасены от гибели не национальным эгоизмом и самомнением, а национальным самоотречением.

Истинный патриотизм требует, чтобы мы верили в свой народ, а истинная вера соединена с бесстрашием: нельзя верить во что-нибудь и бояться за предмет своей веры. Родоначальники России, люди, призвавшие варягов, имели эту истинную веру, соединенную с бесстрашием; они не боялись, что чужая власть может подавить внешнею силою тот народ, у которого достало внутренней силы, чтобы добровольно подчиниться этой власти.

Далее патриотизм требует, чтобы мы любили свой народ, а истинная любовь сочувствует действительным потребностям, сострадает действительным бедствиям тех, кого мы любим. Эту истинную любовь имели наши предки, призвавшие варягов; они глубоко чувствовали настоятельную потребность своего народа в единстве и порядке, они страдали от розни и усобиц.

Наконец, патриотизм требует, чтобы мы хотели действительно практически помочь своему народу в его бедах, не дожидаясь, чтобы помощь пришла сама собою. И наши предки не дожидались, чтобы единство вышло само собою из розни, и порядок — из безначалия: они обратились к действительной силе единства и порядка и смело призвали чужую власть. Мы не думаем, чтобы Рюрик со своими братьями и дружиной представляли идеал правительства, но если бы наши предки искали идеального правительства, то русское государство не образовалось бы. Русская земля не была бы собрана, и мы сами теперь были бы такими же немцами, как жители Мекленбурга или Померании.

Мудрость и самоотвержение наших предков обеспечили самостоятельное бытие России, давши ей зачаток сильной государственности. Такая государственность была необходима для России, расположенной на большой дороге между Европой и Азией, без всяких природных защит, открытой для всех ударов. Без глубокого государственного смысла, без самоотверженной и непоколебимой покорности правительственному началу, Россия не могла бы устоять под двойным напором с Востока и Запада: подобно другим нашим единоплеменникам, мы были бы поработаны басурманами или же поглощены немцами.

Но в искушеньях долгой кары,
Перетерпев судеб удары.
Окрепла Русь: так тяжкий млат,
Дробя стекло, кует булат.

Принесенный варягами зачаток государственности вырос в крепкое и сплоченное тело Московского царства. С воссоединением Киева и Малороссии в XVII веке Московское царство становится всероссийским.

Но чтобы эта новая национально-политическая сила могла выступить на поприще всемирной истории для сознательного и плодотворного служения делу Божию на земле, ей

необходимо было вооружиться всеми средствами деятельности и путем постепенного просвещения дойти до сознания своей вселенской задачи.

Россия XVI века, крепкая религиозным чувством, богатая государственным смыслом, нуждалась до крайности и во внешней цивилизации, и в умственном просвещении. Религиозное чувство народа, лишенное ясного разума, смешивало истины веры с литургической буквой и порождало церковный раскол. Государственный смысл наших правителей, верно ставя политические задачи России, не имел средств для их успешного исполнения в борьбе с более цивилизованными, хотя и менее крепкими соседями.

И вот, как прежде приходилось искать чужого начала власти за неимением своего, так теперь пришлось искать чужой цивилизации и просвещения за неимением своих. И тут опять должен был проявиться у нас истинный патриотизм — бесстрашная вера и деятельная практическая любовь к родине. Такая вера в Россию, такая любовь к ней были у Петра Великого и его сподвижников. Для народного самолюбия идти в чужую школу могло казаться еще хуже, чем идти под чужое владычество. Но Петр Великий верил в Россию и не боялся за нее; он верил, что европейская школа не может лишить Россию ее духовной самобытности, а только даст ей возможность проявиться. И хотя полного проявления русского духа мы еще не видали, но все, что у нас было хорошего и оригинального в области мысли и творчества, могло явиться только благодаря Петровской реформе: без этой реформы, конечно, не было бы у нас ни Пушкина, ни Глинки, ни Гоголя, ни Достоевского, ни Тургенева и Толстого, ни западников, ни славянофилов...

Петр Великий действительно любил Россию, т. е. сострадал ее действительным нуждам и бедствиям, происходившим от невежества и дикости. Против этих действительных нужд и бедствий он обратился к действительным средствам — европейской цивилизации. Он не стал ждать, чтобы помощь явилась сама собою, чтобы Россия, погрязшая в невежестве, раздираемая ожесточенной усобицей из-за сугубой аллилуйя, вдруг сама собой из недр своего духа породила новую самобытную культуру, свое особое просвещение. Истинная любовь деятельна. И неужели же мы станем упрекать великого реформатора за то, что он был деятелем, а не мечтателем, за то, что, желая помочь России цивилизацией и наукой, он брал их там, где они были, а не ждал их оттуда, где их не было? И для Петра Великого цель реформы была, конечно, не в порабощении нас чужой культуре, а в усвоении нами ее общечеловеческих начал для успешного исполнения нашей задачи во всемирной истории. Но прежде чем мы могли усвоить себе европейское образование, мы должны были принять его в тех, чужих для нас, формах, в которых оно уже существовало в Европе. Странно было бы упрекать Петра Великого, зачем он ввел в Россию не общечеловеческую образованность, а

чужую образованность — немецкую или голландскую. Дело в том, что образовательные начала не существуют в отвлеченности, а всегда *in concreto* в той или другой национальной оболочке, и прежде, чем выработать для них свою национальную оболочку, нам приходилось принять их в той или другой из существующих уже чужих оболочек.

Это так же естественно и необходимо, как и то, что наши предки времен Гостомысла, желая дать России власть и порядок, не могли обратиться для этого к началу власти вообще или порядка вообще, а должны были призвать это начало в конкретном виде норманской дружины.

Когда восстают против Петровской реформы, как противной русскому народному духу, восстают во имя народной самобытности, то забывают, что Петр Великий и его сподвижники были прямым порождением русского народного духа. Если нас, теперешнюю русскую интеллигенцию, испортила и оторвала от народных корней реформа Петра Великого, то сами виновники этой реформы — чем могли они быть испорчены и оторваны от народных корней? На самом деле Петр Великий, его сподвижники и продолжатели его дела (Ломоносов) были настоящими носителями и выразителями русского народного духа. Они верили в Россию настоящею бесстрашною верою и любили ее настоящею деятельною любовью, и одушевленные этою верою и любовью, они совершили истинно русское дело.

Реформа Петра Великого была в высшей степени оригинальна именно этим смелым отречением от народной исключительности (от мнимой поверхностной оригинальности), этим благородным решением пойти в чужую школу, отказаться от народного самолюбия ради народного блага, порвать с прошедшим народа ради народной будущности.

Не национальное самолюбие, а национальное самоотречение в призвании варягов создало русское государство; не национальное самолюбие, а национальное самоотречение в реформе Петра Великого дало этому государству образовательные средства, необходимые для совершения его всемирно-исторической задачи. И неужели, приступая к этой задаче, мы должны изменить этому плодотворному пути самоотречения, и стать на явно негодную, явно бесплодную почву национального самолюбия и самомнения? — Явно негодную и бесплодную, ибо где же, в самом деле, плоды нашего национализма, кроме разве церковного раскола с русским Иисусом и осьмиконечным крестом? А плоды нашего национального самоотречения (в способности к которому и заключается наша истинная самобытность) — эти плоды налицо: во-первых, наша государственная сила, без которой мы и не существовали бы как самостоятельный народ, а во-вторых, наше какое ни на есть просвещение от Кантемира и Ломоносова через Жуковского, Пушкина и Гоголя до Достоевского и Тургенева.

Правда, эти плоды варяжской государственности и петербургской культуры не суть что-нибудь окончательное и безусловно ценное: ни государственная сила, ни словесное творчество не могут наполнить собою жизнь христианского народа. Цель России — не здесь, а в более прямой и всеобъемлющей службе христианскому делу, для которого и государственность, и мирское просвещение... суть только средства. Мы верим, что Россия имеет в мире религиозную задачу. В этом ее настоящее дело, к которому она готовилась и развитием своей государственности, и развитием своего сознания, и если для этих подготовительных мирских дел нужен был нравственный подвиг национального самоотречения, тем более он нужен для нашего окончательного духовного дела.

Государственный порядок и мирская образованность несомненно блага для народа, и те люди, которые доставили нам эти блага, были истинными патриотами, но также несомненно, что не в этом заключается высшее благо. И если национальное самолюбие и самомнение не могло нам дать тех низших благ, тем менее может оно быть для нас источником высшего блага. Для христианского народа высшее благо есть воплощение христианства в жизни, создание вселенской христианской культуры. Служить этому делу есть наша христианская и, вместе с тем, наша патриотическая обязанность, ибо истинный патриотизм обращается на то, в чем главная настоятельная нужда народа. Ныне главная настоятельная нужда нашего народа — это достаточная действенность христианского начала в жизни. Но может ли христианское начало быть действенным, когда сама его носительница в мире — христианская церковь — лишена внутреннего единства согласия?

Восстановление этого единства и согласия, положительная духовная реформа — вот наша главная нужда, столь же настоятельная, но гораздо более глубокая, чем нужда в государственной власти во времена Рюрика и Олега, или нужда в образовании и гражданской форме во времена Петра Великого.

Неподвижная народная масса для всякого дела, для всякого подвига нуждается в деятельно-личной силе, в подвижной дружине, дающей народу вождей и руководителей.

Призвание варягов дало нам государственную дружину. Реформа Петра Великого, выделившая из народа так называемую интеллигенцию, дала нам культурную дружину учителей и руководителей в области мирского просвещения. Та великая духовная реформа, которую мы желаем и предвидим (воссоединение церквей), должна дать нам церковную дружину, должна создать из нашего, во многих отношениях почтенного, но, к сожалению, недостаточно авторитетного и действенного духовенства деятельный, подвижный и властный союз духовных учителей и руководителей народной жизни, истинных

«показателей пути», которых желает, которых ищет наш народ, не удовлетворяемый ни мирской интеллигенцией, ни теперешним духовенством.

И как те два первые дела — введение государственного порядка и введение образованности — могли совершиться только через отречение от национальной исключительности и замкнутости, только через допущение свободного и открытого воздействия чужих сил, именно тех сил, которые были потребны для данного дела, — так и теперь для духовного обновления России необходимо отречение от церковной исключительности и замкнутости, необходимо свободное открытое общение с духовными силами церковного Запада.

Ни норманнские завоеватели, ни немецкие и голландские мастера не оказались для нас опасными, не подавили и не поглотили нашей народности: напротив, эти чужие элементы оплодотворили нашу народную почву, создали наше государство, создали наше просвещение. Ложный патриотизм боится чужих сил; истинный патриотизм пользуется ими, усваивает их и оплодотворяется ими. Мы воспользовались чужими силами в области государственной и гражданской культуры. Но для христианского народа внешняя мирская культура может дать только цвет, а не плод его жизни; этот последний должен быть выработан более глубокой и всеобъемлющей — духовной или религиозной культурой. Но именно в этой высшей области мы и остаемся доселе совершенно бесплодны...

Когда стараниями славянофильского кружка проявилось в нашем обществе национальное самоутверждение, ясно обнаружилось одно любопытное обстоятельство. В наших представлениях о народной самобытности именно самобытного-то оказывается очень немного, и наиболее горячие патриоты нередко являются жалкими подражателями в самых своих понятиях о патриотизме. Что думает насчет этого русский народ, в чем он видит себе добро и в чем худо, — об этом нам не нужно справляться. Мы знаем, как действуют патриоты разных европейских стран, приложим их взгляды и приемы к нашему отечеству, национальная политика готова.

Этот отвлеченный патриотизм, бессознательно веруя в свои образцы, не знает вопросов и сомнений и охотно возлагает на Россию самые странные задачи. Если бы наши соседи китайцы вместо индийского опиума вдруг пристрастились к мухоморам, обильно украшающим сибирские леса, то наверное нашлись бы такие патриоты, которые в своей ревности о пользах русской торговли стали бы громко требовать, чтобы Россия принудила

китайское правительство допустить беспрепятственный ввоз мухоморов в Небесную империю: ведь не задумывались же в подобных случаях англичане. А у кого, как не у них, искать настоящего патриотизма и здравого понимания национальных интересов? Но тут-то бы легко и обнаружилась разница между патриотизмом подражательным и самобытным. Ибо всякий простой человек из нашего народа хорошо понимает и при случае выскажет, что интерес интересом, но что и честь России чего-нибудь да стоит, эта честь (по русским понятиям) решительно не позволяет делать из мошеннической аферы предмет государственной политики. Тут же бы, кстати, обнаружилось и несогласие истинно русского ума с тою мыслью, которая сделалась повсюду как бы аксиомой, — а именно, будто нравственные требования относятся только к личной жизни, в политике все позволено. В противность этой мнимой аксиоме те самые русские купцы, которые в своей торговле не только что китайцев, но и собственных сограждан готовы отравлять за лишние гроши, — они же ни за что не допустят, чтобы Россия как целое, как нация и государство, стала действовать по тому же правилу. Согласно такому, действительно русскому патриотизму (который, впрочем, никогда еще не проявлялся с полной сознательностью и последовательностью), у целого народа не только есть совесть, но иногда эта совесть в делах национальной политики оказывается более чувствительною и требовательною, нежели личная совесть в житейских делах.

Если в нашем обществе образуется русская истинно-национальная партия, то она, несомненно, должна держаться того патриотизма, который свойствен всем простым русским людям, а никак не того, который переведен на русский язык с иностранного. Русская партия не только должна любить Россию и верить в ее великую будущность, что само собою разумеется, но, будучи сама частью России, и притом наиболее сознательно и активно, такая партия должна быть русскою в самом характере своих чувств и мыслей и в самых способах и приемах своего действия. Русская партия никак не может настаивать на том, чего русский народ не хочет и не умеет делать, что ему противно не по каким-нибудь временным предрассудкам, а по самому его нравственному существу.

Если пока еще, слава Богу, до обязательного отравления китайцев дело у нас не доходило, то есть действительные вопросы в нашей политике, при решении которых антирусский подражательный патриотизм, даже при полной искренности и благонамеренности, может оказать, однако, сомнительную услугу истинным интересам России. Было бы очень прискорбно, если бы, например, из подражания политике кн. Бисмарка мы поставили вопрос о наших окраинах на почву принудительного и прямолинейного обрусения...

Наш народ дорожит государственным единством и не допустил бы его нарушения. Но он никогда не смешивает государственного единства с национальным (как это делают на практике, а иногда и в теории, обрусители из школы «Московских Ведомостей»). Русский народный взгляд не признает государственность саму по себе за высшую и окончательную цель национальной жизни. Понимая всю важность государственного порядка, сильной власти и т. д., русский народ никогда не положит свою душу в эти политические идеи. Для него государство есть лишь необходимое средство, давшее народу возможность жить по-своему, ограждавшее его от насилия чужих исторических стихий и обеспечивающее ему известную степень материального благосостояния.

Так думает русский народ, и так должна думать русская партия. Если в Германии «откровение национального духа» в философии Гегеля признало государственность за окончательную цель всемирной истории и за высшее объективное проявление человечества; если в согласии с этим национальная патриотическая партия в Германии есть исключительно государственная, и знаменитый ее вождь считает все дозволенным для внешнего усиления и сплочения государства, то что же следует отсюда для России и для русской партии? Если мы непременно хотим быть подражателями, то, конечно, ничто не препятствует перенести к себе государственную идею и политические приемы кн. Бисмарка. Точно так же мы можем себе усвоить идеи и приемы немецкой социал-демократии, французского или испанского коммунизма, английской аристократии и т. д. Но где же во всем этом настоящее место для самостоятельной и своеобразной национальной политики, какую должна себе усвоить русская партия?

Эта последняя имеет значение лишь как носительница русских чувств и взглядов. Русская партия никак не может быть исключительно или даже преимущественно политическою партией: тогда она не будет русскою. Ибо у нашего народа политика всегда на втором месте. А что же для него на первом плане, чего собственно ему более всего нужно? Мы полагаем, что если бы у русской партии и не было вполне готового ответа на этот вопрос, то ее главная забота должна быть в том, чтобы помочь русскому народу сказать и показать, чего он хочет. В каком направлении идут главные желания русского народа, об этом, кажется, не может быть вопроса. Но чем вернее и лучше это направление русского народного пути, тем более требуется для него свободы и простора. Освобождение русских духовных сил от крепостной зависимости, доселе над ними тяготевшей, будет, мы уверены, единственным способом и для усиления русского элемента в наших окраинах. Как главною патриотическою заботой наших отцов было освобождение крестьян, так нам нужно прежде

всего заботиться о духовном освобождении России. А политическое могущество, влияние на славян и все прочее — само собою приложится.

Помимо внешних благ, о которых должно заботиться государство народ наш хочет еще совсем другого. Он хочет правды, т. е. согласия между действительной жизнью и тою истиной, в которую он верит. Истина, в которую верит русский народ, хранится в православной церкви. Но именно потому, что истина веры стала исключительно предметом благочестивого (а иногда и неблагочестивого) охранения, она потеряла живую и действенную силу, отделилась от действительности, перестала быть жизненной правдой. Народ наш не хочет одной отвлеченной истины, которая держится в памяти, хранится в предании, — он хочет истины, которая действует в жизни и этим действием себя оправдывает, становится правдою. Мы не говорим о безусловном соответствии между христианскою истиною и нашею действительностью, — ибо нет и не было в мире такой религии, такой церкви, такого общества, где бы внутренняя истина вполне воплощалась во всей жизни. Это было бы совершенство, которое не есть удел земного существования. Мы не говорим о совершенстве, а только о живом стремлении к нему, о той внутренней правде и правдивости, которая не позволяет человеку навсегда примириться с противоречием между истиною и жизнью. Именно это-то живое стремление, эта-то внутренняя правда и подрываются нашим злополучным охранительством. Они хотят охранить истину — и хоронят ее. Они решили, что истина не только дана человечеству, — что справедливо, — но что она дана в совершенно готовой и окончательной форме, и не только дана, но и сдана на хранение в подлежащее ведомство. И утвердили гроб, и запечатали камень, и поставили стражу.

И вот эта стража, эти хранители мертвой истины начинают словопрения с людьми, ищущими живой правды; эти люди не могут сами найти того, чего ищут, они блуждают, они вне истины. Все это так. Но зачем же давать им камень официального обличения вместо хлеба живой правды? Зачем забывать, что у одних есть власть, когда у других нет свободы? Да и свобода самих обличителей только против связанных, их сила — против безоружных. Духовные пастыри и учителя сами пасутся жезлом мирских надзирателей. А народ остается беспомощным в своих духовных нуждах.

Без свободной и открытой борьбы истина не может постоять за себя, не может овладеть действительностью, не может обнаружить своей жизненной силы и правды. Но истина нашей веры, под охраной уголовных законов и духовной цензуры, избавлена от свободной и открытой борьбы. Под тяжелой броней правительственной опеки наша церковь неуязвима для свободного слова. Капитал ее истины спрятан в надежном месте и если уже

давно не дает никакой прибыли, то зато ни пропасть, ни истратиться не может. Очевидно, наши самодовольные охранители, когда читают Евангелие, старательно пропускают притчу о талантах. Иначе им пришлось бы задуматься о судьбе того осторожного и предусмотрительного раба, который вопреки своей кажущейся благонамеренности не заслужил похвалы и награды от господина своего.

Если неподвижность нашей церкви есть не смерть, а усыпление, то нужна свобода, чтобы разбудить ее. Если в заблуждениях нашего народного раскола сказывается живое, хотя и темное стремление к религиозной правде, ему необходим свободный свет, чтобы выбиться на прямую дорогу. Если характер и мировоззрение нашего народа заставляют нас именно в духовной области ждать настоящего обнаружения русских сил, то прежде всего нам должно настаивать на освобождении этих сил от бездушной, неосмысленной и неумелой опеки. Открытое испытание и оправдание истины в живой борьбе духовных сил, и для этого полная свобода вероисповедания, свобода всенародного мнения и слова — вот первая духовная потребность русского народа, а следовательно, и первое требование русской партии. Пока оно не будет исполнено, русская жизнь не войдет в нормальные условия, и русские люди в области высших интересов будут принуждены выбирать между безжизненным преданием и произвольным умствованием, между легкомысленным индифферентизмом и злобствующим сектантством. Только свободное развитие может сохранить за религиозным преданием живую силу и примирить с ним умы, искренно ищущие правды.

Одно из двух: или Россия находится в духовном младенчестве, и тогда ни о каком сознательном общественном действии и ни о какой русской «партии» не может быть и разговора. Или же для России наступила пора духовной зрелости, и в таком случае русская партия должна прежде всего добиваться того, чтобы русский народ мог свободно идти своим путем. Не внешние враги и соперники, не поляки и немцы на наших окраинах составляют важную помеху для правильного хода русской жизни; настоящая наша беда — в той охранительной системе, которая всячески старается внутри самой России похоронить ее веру, угасить ее дух, заглушить ее слово...

III

Историческому народу, как и отдельному человеку, мало существовать — он должен стать достойным существования. В мире несовершенном достоин существования только тот, кто освобождается от своего несовершенства — кто совершенствуется. Византия погибла потому, что чуждалась самой мысли о совершенствовании. Всякое существо, единичное или

собирает, которое отказывается от этой мысли, неизбежно погибает. Ибо этот отказ от задачи совершенствования может иметь только два смысла. Или мы считаем себя уже совершенными — что есть безумие и богохульство; или же, зная свое дурное состояние, мы им довольствуемся, не желая ничего лучшего, — что есть отречение от самой сущности нравственной человека, или от образа и подобия Божией бесконечности в ней.

Россия в XVII веке избежала участи Византии: она сознала свою несостоятельность и решила совершенствоваться. Великий момент этого сознания и этого решения воплотился в лице Петра Великого. Если Бог хотел спасти Россию и мог это сделать только чрез свободную деятельность человека, то Петр Великий был несомненно таким человеком. При всех своих частных пороках и дикостях, он был историческим сотрудником Божиим, лицом истинно провиденциальным, или теократическим. Истинное значение человека определяется не его отдельными качествами и поступками, а преобладающим интересом его жизни. И едва ли во всемирной истории есть другой пример такого, как у Петра Великого, всецелого, решительного и неуклонного преобладания одного нравственного интереса общего блага. От ранних лет понявши, чего недостает России, чтобы стать на путь действительного совершенствования, он до последнего дня жизни заботился только о том, чтобы создать для нас эти необходимые условия. В лице Петра Великого Россия решительно обличила и отвергла византийское искажение христианской идеи — самодовольный квиетизм. Вместе с тем, Петр Великий был совершенно чужд навуходоносоровского идеала власти для власти. Его власть была для него обязанностью непрерывного труда на пользу общую, а для России — необходимым условием ее поворота на путь истинного прогресса. Без неограниченной власти Петра Великого преобразование нашего отечества и его приобщение к европейской культуре не могло бы совершиться, и он сам смотрел на свое самодержавие как на орудие этого провиденциального дела. Он никогда и не помышлял о своей власти отдельно от той задачи, для которой она служила, и не принимал никаких искусственных мер для ограждения этой власти в видах личного или династического интереса, к которому он, вследствие особых обстоятельств, относился даже враждебно. Для Петра Великого все, даже жизнь единственного его сына, зависело от интересов его дела, и у него не было ни одного врага, кроме врагов его дела.

А дело его состояло в том, чтобы дать России реальную возможность стать христианским царством — исполнить ту задачу, от которой отреклась Византия. Известное подложное завещание Петра Великого обязывало Россию завоевать Константинополь и потом весь мир. Действительное завещание Петра Великого, написанное его делами на лучших страницах русской истории, обязывало Россию, научившись уроком Византии,

приняться за то, что должна была, но чего не захотела делать империя Константина, вследствие чего она и погибла. Усвоивши себе значение третьего Рима, Россия, чтобы не разделить судьбу первых двух, должна была стать на путь действительного улучшения своей национальной жизни — не для того, чтобы завоевать весь мир, а для того, чтобы принести пользу всему миру.

По самой идее христианства, как религии богочеловеческой, христианское царство должно состоять из свободных человеческих лиц, как и во главе его должно стоять такое лицо. Понятие человеческой личности в ее безусловном значении было совершенно чуждо византийскому мирозерцанию, как это признается и его сторонниками. Развитие этого существенного для христианства начала, совершенно задавленного на Востоке, составляет смысл западной истории. Сближение с Европой, которым мы обязаны Петру Великому, принципиальную свою важность имеет именно в этом: чрез европейское просвещение русский ум раскрылся для таких понятий, как человеческое достоинство, права личности, свобода совести и т. д., без которых невозможно достойное существование, истинное совершенствование, а следовательно, невозможно и христианское царство. Об этой стороне своего дела сам Петр Великий прямо не думал, но это не уменьшает его значения.

Через полвека после Петра Великого люди, приобщенные благодаря его реформам к умственному движению Европы, стали ясно понимать и громко заявлять, что личное рабство — крепостное состояние, — в котором благочестивая Москва, как и благочестивая Византия, не подозревала ничего дурного, есть вопиющее нарушение неотъемлемых человеческих прав, несовместимое с достоинством просвещенного государства. Требования такой коренной перемены могли казаться материально опасными, но нравственная обязанность, вытекавшая из идеи христианского царства, овладела — вслед за немногими частными умами — и мыслями русских государей. Решительное исполнение этой обязанности блистательно оправдало дело Петра Великого и «петербургскую эпоху» русской истории.

В освобождении крестьян, как и в других реформах того же направления, Россия в лице своего государя еще раз после Петра Великого и на новой высшей ступени своего исторического развития отказалась от византийского искажения христианства и на деле признала то нравственное начало, которое обязывает к деятельному добру, к действительному исправлению и совершенствованию народной жизни.

Нельзя, однако, сказать, чтобы это было сделано с полной сознательностью. Такие вопиющие общественные грехи, как крепостное право, продажные судьи, квалифицированная смертная казнь, — были решительно осуждены совестью и упразднены; тем самым были исполнены некоторые условия для того, чтобы Россия стала христианским

царством, или — что то же — были устранены некоторые препятствия на пути к этой цели. Но сама цель не ставилась ясно и во всем своем объеме, а вследствие этого и многие важные условия для ее достижения не только не исполнялись, но и не сознавались.

Этим же недостатком сознательности в русском обществе объясняются еще особые странности в нашей новейшей истории. С одной стороны, люди, требовавшие нравственного перерождения и самоотверженных подвигов на благо народное, связывали эти требования с такими учениями, которыми упраздняется самое понятие о нравственности: «ничего не существует, кроме вещества и силы, человек есть только разновидность обезьяны, а потому мы должны думать только о благе народа и полагать душу свою за меньших братьев». С другой стороны, люди, исповедовавшие и даже с особым усердием христианские начала, вместе с тем проповедовали самую дикую антихристианскую политику насилия и истребления. Первое противоречие принадлежит прошедшему. Второе, более глубокое и пагубное, еще тяготеет над нами. Пора наконец освободиться от этого исторического яда, поражающего самые источники нашей жизни...

Широкая всепримиряющая политика — имперская и христианская — есть единственная национальная политика России, потому что только она соответствует лучшим отличительным сторонам русского народного характера. Оставшийся всецело русским, несмотря на свое поклонение Европе, Петр Великий и ставшая всецело русской, несмотря на свой природный европеизм, Екатерина II оставили нашему отечеству один завет. Их образ и их исторические дела говорят России: будь верна себе, своей национальной особенности и в силу ее будь универсальна.

Человек, который хочет быть вполне достойным этого звания, не может оставаться только человеком: в нем должна жить и разгораться искра высшей божественной природы, поднимающая его над средою людской повседневности; человек, который довольствуется своею человеческою ограниченностью и не стремится выше, неизбежно тяготеет и ниспадает до уровня животности. Точно так же исторический народ, если хочет жить полною национальною жизнью, не может оставаться только народом, только одною из наций, — ему неизбежно перерасти самого себя, почувствовать себя больше, чем народом, уйти в интересы сверхнациональные, в жизнь всемирноисторическую. Для народа, имеющего такие великие природные и исторические задатки, как русский, совсем не естественно обращаться на самого себя, замыкаться в себя, настаивать на своем национальном я, и еще хуже — навязывать его другим, — это значит отказаться от истинного величия и достоинства, отречься от себя и от своего исторического призвания....

То решение восточного вопроса, к какому привела наша победоносная война, обозначилось ныне как раздел Турции между европейскими державами. Англия получила Кипр и Египет, Франция — Тунис, Австрия, кроме Боснии и Герцеговины, приобрела господствующее положение на всем Балканском полуострове, так как Сербия, Румыния и обе Болгарии могут теперь считаться *de facto* вассальными австрийскими владениями. Такое явное и при данных условиях непоправимое крушение нашей восточной политики есть явление слишком крупное и тяжеловесное, чтобы можно было от него отделаться, сваливая все на мнимые или действительные ошибки нашей дипломатии, на мнимое или действительное отсутствие у нас способных политических деятелей. Ведь не фатум же это какой-то непостижимый и не бессмысленная случайность, что у России не оказывается достаточных политических сил именно в такую значительную историческую минуту, когда они были бы всего более необходимы. С начала времен не бывало и не слыхано, чтобы великий народ не мог исполнить своего исторического назначения или отстоять своих жизненных интересов за неимением пригодных людей. Никогда не было такого случая в истории, чтобы дело стало за людьми. Не оказалось у французского короля Карла VII надежных советников и полководцев — явилась вместо них крестьянская девочка из Дом-Реми; ослабели московские бояре в смутное время — выручил нижегородский мясник; не было в 1812 г. у нас Суворова — обошлись и с Кутузовым. А в 1878 г. могли ли мы пожаловаться на недостаток пригодных деятелей для национальной политики, когда у нас были в государстве и обществе люди такого направления и таких способностей, как Скобелев, Игнатьев, Аксаков, Катков? Но когда и при способных людях нация оказывается неспособною, когда у нее за военными победами следует внутренний упадок сил и великое историческое дело вываливается из рук, — тогда возможны только два предположения: или этот народ закончил круг своей исторической деятельности и вступил в эпоху упадка и разложения, или же он в чем-нибудь не верен своему истинному призванию, и в ближайших задачах, которые он себе ставит, есть какое-нибудь внутреннее противоречие, какая-нибудь фальшь. Одно из двух: или такой народ отжил свой век, или он несет наказание за какие-нибудь исторические грехи. Считать Россию нацией отжившей нет никакого основания, это явно противоречит всем вероятностям и аналогиям. Итак, остается предположить вторую причину наших неудач и недугов.

В последнее время, опять как перед Севастополем, как перед Плевной и Берлинским конгрессом, слышатся у нас праздные и вредные речи о необычайном могуществе России, о том, что ей стоит только сказать слово, и все сделается по-нашему, что весь мир с трепетом ожидает, что скажет и сделает Россия, и т. д. Если бы Россия проявляла на деле свое

могущество, то много говорить о нем не было бы надобности, а если она почему-нибудь проявить его не может, то такие речи лживы и опасны.

Впрочем, если многие у нас полагают патриотизм в национальном самохвальстве — это их дело. Нам же должно говорить не о могуществе и не об интересах, а о грехах и обязанностях России.

Когда несостоятельность крепостной и военно-бюрократической России так ярко обнаружилась под Севастополем, национальная совесть, олицетворенная в покойном государе, сразу поняла коренную причину наших бедствий, и Россия очистилась от крепостного права. Этот первый нравственный успех отразился и на внешних делах. Тогда как николаевский милитаризм привел Россию только к потерям, в эпоху гражданских реформ широко распространились пределы русской державы. И все шло хорошо, пока мы покоряли черкесов и туркмен или обуздывали рассвирепевших турок. Но как только предстала нам положительная задача воспитать к новой самостоятельной жизни освобожденные нами народы, Россия вдруг смутилась, разроняла свои трофеи, рассорилась со своими питомцами и осталась ни при чем. Если Севастополь был справедливым наказанием за крепостное право, за что наказанием был Берлинский конгресс с его нынешними последствиями?

Как можем мы решить восточный вопрос, когда нам нельзя с чистою совестью поднять своего знамени, на котором написано: национальная, гражданская и религиозная самостоятельность и свободное развитие всех народов христианского Востока. Никакие военные подвиги на пользу этих народов не могут закрыть наших собственных грехов: напротив, эти подвиги только ярче обличают глубокое внутреннее противоречие, в котором мы находимся. Мы говорим не об условиях политических, в тесном смысле этого слова. Существующие основы государственного строя в России мы принимаем как факт неизменный. Дело не в этом. Но при всяком политическом строе, при республике, при монархии и при самодержавии, государство может и должно удовлетворять внутри своих пределов тем требованиям национальной, гражданской и религиозной свободы, которые наши же официальные и официозные патриоты предъявляли и предъявляют к Турции и Австрии. Это дело не политических соображений, а народной и государственной совести. Великая нация не может спокойно жить и преуспевать, нарушая нравственные требования. И пока в России из фальшивых политических соображений будет продолжаться система насильственного обрусения на окраинах, пока, с другой стороны, миллионы русских подданных будут насильственно обособляемы от прочего народа и подвергаемы новому виду крепостного права, пока система уголовных кар будет тяготеть над религиозным убеждением

и система принудительной цензуры над религиозной мыслью, — до тех пор Россия во всех своих делах останется нравственно связанною, духовно парализованною, и ничего, кроме неудач, не увидит...

Современный человек в охоте за беглыми минутными благами и летучими фантазиями потерял правый путь жизни. Перед ним темный и неудержимый поток жизни. Время, как дятел, беспощадно отсчитывает потерянные мгновения. Тоска и одиночество, а впереди — мрак и гибель. Но за ним стоит священная старина предания — о! в каких непривлекательных формах, — но что же из этого? Пусть он только подумает о том, чем он ей обязан, пусть внутренним сердечным движением почтит ее седину, пусть пожалеет о ее немощах, пусть постыдится отвергнуть ее из-за этой видимости. Вместо того чтобы праздно высматривать призрачных фей за облаками, пусть он потрудится перенести это священное бремя прошедшего через действительный поток истории. Ведь это единственный для него исход из его блужданий — единственный, потому что всякий другой был бы недостаточным, недобрый, нечестивым: не пропадать же древнему человеку!

Не верит сказке современный человек; не верит, что дряхлая старуха превратится в царь-девицу. Не верит — тем лучше! Зачем вера в будущую награду, когда требуется заслужить ее настоящим усилием и самоотверженным подвигом? Кто не верит в будущность строй святыни, должен все-таки помнить ее прошедшее. Отчего не понесет он ее из почтения к ее древности, из жалости к ее упадку, из стыда быть неблагодарным. Блаженны верующие: еще стоя на этом берегу, они уже видят из-за морщин дряхлости блеск нетленной красоты. Но и не верящие в будущее превращение имеют тоже выгоду — нечаянной радости. И для тех, и для других дело одно: идти вперед, взяв на себя всю тяжесть старины.

Если ты хочешь быть человеком будущего, современный человек, не забывай в дымящихся развалинах Анхиза и родных богов. Им был нужен благочестивый герой, чтобы перенести их в Италию, но только они могли дать ему и роду его и Италию, и владычество мира. А наша святыня могущественнее Троянской, и путь наш с нею дальше Италии и всего земного мира. Спасаящий спасется. Вот тайна прогресса — другой нет и не будет.

1878–1899 гг.

(Соловьев В.С. Сочинения. В 9 т. СПб., 1901–1910. — Т. 1. С. 238–289. — Т. 3. С. 206–218. — Т. 5. С. 3–6; 31–37; 75–87; Т. 8. С. 309–311; 319–331; 434–446. — Т. 10 (второе издание). С. 12–14; 74–75. Русская идея. — Париж, 1888)

ХОД РУССКОЙ ИСТОРИИ

С. Соловьев

История первоначально есть наука народного самопознания. Но самый лучший способ для народа познать самого себя — это познать другие народы и сравнить себя с ними; познать же другие народы можно только посредством познания их истории. Познание это тем обширнее и яснее, чем большее число народов становится предметом познания, — и естественно рождается потребность достигнуть полноты знания, изучить историю всех народов, сошедших с исторической сцены и продолжающих на ней действовать, изучить историю всего человечества, и, таким образом, история становится наукою самопознания для целого человечества. Изучение истории отдельного народа и целого человечества, или так называемой всеобщей истории, представляет одинаковые общие трудности. Внешний, окружающий нас мир легко поддается нашему изучению: вооруженные могущественными орудиями, мы проникаем и в небо, и в море, и в недра земли, посредством телескопа приближаем к себе тела, отстоящие от нас на громадное расстояние, посредством микроскопа наблюдаем за жизнью существ, невидимых простым глазом; но существо человека для нас темно, завеса, скрывающая тайны его жизни, едва приподнята, а история имеет дело с человеком, с его жизнью во всех ее проявлениях. Притом в истории мы не можем наблюдать явлений непосредственно: мы смотрим здесь чужими глазами, слушаем чужими ушами. Внимательное изучение внешней природы уяснило для нас многое относительно влияния этой природы на жизнь человека, на жизнь человеческих обществ; но это только одна сторона дела, ограничиваться которою и увлекаться опасно для науки. Другая причина трудности при изучении истории заключается в близости ее к нашим существенным интересам. Не будучи в состоянии отрешиться от сознания, что история есть объяснительница настоящего и потому наставница жизни (*magistra vitae*), человек, однако, хлопочет часто изо всех сил, чтоб высвободиться из-под руководства этой наставницы. Покорствуя интересам настоящей минуты, он старается исказить исторические явления, затемнить, извратить законы их. Понимая важность истории, он хочет ее указаниями освятить свои мнения, свои стремления, и потому видит, ищет в истории только того, что ему нужно, не обращая внимания на многое другое: отсюда односторонность взгляда, часто ненамеренная; но когда ему указывают на другую сторону дела, неприятную для него, он начинает всеми силами отвергать или, по крайней мере, ослаблять ее: здесь уже искажение истины намеренное. История — это свидетель, от которого зависит решение дела. Понятно

стремление подкупить этого свидетеля, заставить его говорить только то, что нам нужно. Таким образом, из самого стремления исказить историю всего яснее видна ее важность, необходимость; но от этого науке не легче...

История цивилизованной страны есть история интеллектуального развития, которое правительства более замедляют, чем ускоряют: вот основное положение Бокля. Но прежде чем следить за интеллектуальным развитием в стране, надобно уяснить, что сделало эту страну способною к интеллектуальному развитию? какие условия приготовили известную почву для интеллектуального развития, вследствие чего интеллектуальное развитие приняло то или другое направление? Так, например, у нас интеллектуальное развитие начинается с Петра Великого, но почему оно начинается так поздно и именно с этого времени? почему оно принимает такие формы при Петре и его преемниках? почему Россия теперь находится на известной степени интеллектуального, государственного и общественного развития? Все это останется для нас тайною и поведет к бесчисленным ошибкам в теории и практике, если мы не изучим подробно нашей древней, допетровской истории. Но оставим Россию и посмотрим, как Бокль обращается с историею своих западных государств, с историею своей Англии, в цивилизации которой видит самое правильное развитие. В истории Англии он точно так же отзывается о времени до XVI века, как у нас еще недавно отзывались о допетровском времени, именно как о времени варварства, мрака, господства слепой, безусловной веры, как о времени, в которое еще не рождалось сомнение, а пока нет сомнения — прогресс невозможен, по мнению Бокля; следовательно, что же такое была история Англии до XVI века? А между тем, до XVI века здесь положено было крепкое основание тому, что составляет отличительную черту английской истории, английского государственного и народного быта, тому, что условило и развитие интеллектуальное. Сам Бокль, желая объяснить застой Испании, начинает сначала, с V-го века. Значит, история цивилизованного народа имеет важное значение и тогда, когда интеллектуальное развитие еще не начиналось, когда еще не рождалось сомнение; значит, важное значение имеют известные отношения и без интеллектуального развития; значит, и после появления интеллектуального развития эти отношения не могут утратить своей важности; интеллектуальное развитие приходит к ним, как новая сила, с могущественным влиянием на все другие отношения, но, как обыкновенно бывает в истории, и само подчиняется влиянию других отношений.

Обратимся к другому вопросу: что такое правительство? Правительство в той или другой форме своей есть произведение исторической жизни известного народа, есть самая лучшая проверка этой жизни. Как скоро известная форма правительственная не удовлетворяет

более потребностям народной жизни в известное время, она изменяется с большим или меньшим потрясением всего организма народного. В ином народе, по-видимому, возбуждено сильное неудовольствие против правительства, против его формы; но если, несмотря на это, правительство держится, то это значит, что народ, в своей истории, выработал известные условия, которые требуют именно такой формы правительственной. Правительство, какая бы ни была его форма, представляет свой народ, в нем народ олицетворяется, и потому оно было, есть и будет всегда на первом плане для историка. История имеет дело только с тем, что движется, видно, действует, заявляет о себе, и потому для истории нет возможности иметь дел с народными массами, она имеет дело только о представителями народа, в какой бы форме ни выражалось это представительство; даже и тогда, когда народные массы приходят в движение, и тогда на первом плане являются вожди, направители этого движения, с которыми история преимущественно и должна иметь дело. Действия этих лиц, а в спокойное время распоряжения правильного правительства, его удачные меры или ошибки могущественно действуют на народ, содействуют развитию народной жизни или препятствуют ей, принося благоденствие большинству или меньшинству, или навлекают на них бедствия. Вот почему характеры правительственных лиц так важны для историка, так внимательно им изучаются, будь то неограниченный монарх, будь то любимец этого монарха, будь то ораторы, вожди партий в представительных собраниях, министры, поставленные во главе управления перевесом той или другой партии в народном представительстве, будь то президент республики. Вот почему подробности, анекдоты о государях, о дворах, известия о том, что было сказано одним министром, что думал другой, сохраняют навсегда свою важность, потому что от этих слов, от этих мыслей зависит судьба целого народа и очень часто судьба многих народов...

Характеры лиц, выдающихся вперед, лиц правительственных, служат также для проверки внутреннего состояния народа, степени его развития. Вопрос состоит в том, как характер правительственного лица и зависящая от этого характера деятельность его относится к народной жизни? Мы очень хорошо знаем, что известная деятельность, зависящая от известного характера, обнаруживается таким образом в одном народе, иным образом в другом, бывает совершенно невозможна в третьем; внутренние условия народной жизни, в известное время, отливают форму для деятельности правительственного лица как всякого исторического деятеля вообще, во всех сферах; следовательно, эта форма служит самою лучшею проверкою народной жизни. Здесь уже случайность явления исчезает. Таким образом, опять выходит, что мы должны изучать деятельность правительственных лиц, ибо в ней находится самый лучший, самый богатый материал для изучения народной жизни, и

правительственные лица являются представителями народа вовсе не случайными. С другой стороны, деятельность правительственных лиц, обуславливаясь известным состоянием общества, производит могущественное влияние на дальнейшее развитие жизни этого общества и потому должна обращать на себя особенное внимание историка. Какая возможность изучить характер времени, не изучив деятельности лиц, выдающихся на первый план, и прежде всего, лиц правительственных? Не Цезарь разрушил римскую республику; эта республика во времена Цезаря заключала в себе такие условия народной жизни, при которых Цезарю возможно было сделать то, что он сделал. Но как мы изучим эти условия, как поймем характер времени, не изучив деятельности Цезаря, его отношений к лицам, учреждениям, различным частям народонаселения? Как мы изучим характер первых времен римской империи, не изучив характера отношений первых императоров к сенату?

Бокль жалуется на историков также за то, что они наполняют свои сочинения длинными известиями о войнах, сражениях, осадах, вовсе бесполезными для нас, потому что они не сообщают нам новых истин и не дают средств к открытию новых истин. Мы думаем, что история должна открыть нам истину о жизни одного или нескольких народов. Впрочем, по поводу вопроса о значении истории войн мы должны сказать несколько слов о значении так называемой внешней истории вообще, ибо некоторые унижают это значение перед значением истории внутренней. В жизни отдельного человека мы различаем жизнь домашнюю и жизнь общественную; мы знаем хорошо, что человек немислим без общества, что только при столкновении с другими людьми, в общей деятельности определяются его понятия, развиваются его умственные и нравственные силы. То же самое и в жизни целых народов: они также живут жизнью домашней, или внутренней, и жизнью общественной. Известно, что такое народ, живущий вне общества других народов. Застой — удел народов, особо живущих; только в обществе других народов народ может развивать свои силы, может познать самого себя. Известно, что европейские народы обязаны своим великим значением именно тому, что живут общею жизнью. Но после этого как же можно отнимать значение у этой общественной жизни народа в пользу внутренней или домашней жизни, которая подчиняется такому сильному влиянию жизни общественной? И внутренняя жизнь народа, в свою очередь, обнаруживает сильное влияние на степень и характер его участия в общей жизни народов, точно так как домашний круг человека, его домашнее воспитание имеет важное влияние на характер, с каким он является в общество, на его общественную деятельность; но из признания тесной связи между внешнею и внутреннею жизнью народа и взаимного влияния их друг на друга не следует, что одной надобно отдавать преимущество перед другою. Историк не может не останавливаться долго на дипломатических сношениях,

потому что в них выражается общественная жизнь народа, в них народы являются перед нами каждый со своими интересами, вынесенными из истории, со своими историческими правами, со своими особенностями; наконец, от характера ведения их зависит усиление или упадок значения народа, зависит война или мир. А война? Это мерило сил народных, материальных и нравственных. Вспомним, какое значение в жизни народной имеет та или другая степень внешней безопасности. Толкуя о народе, не будем удаляться от него, но взглянемся внимательнее, что значит для него война или мир. Толкуя о прошедшем, не будем забывать настоящего, которое так помогает объяснению прошедшего, не будем забывать, как мы теперь волнуемся вопросом о войне или мире, как важные внутренние дела останавливаются в ожидании решения этого страшного вопроса внешнего. Повторяют, что известный ход английской истории зависит от островного положения страны, дающего ей большую внешнюю безопасность, сравнительно с государствами континентальными. И после этого мы не дадим важного значения истории войн, которые или истощают, или возбуждают народные силы, отнимают у народа важное место, занимаемое им в обществе других народов, или ему дают его, расширяют сферу его деятельности, поворачивают ход его истории! Другое дело подробности военных действий: они не должны входить в общую историю одного или всех народов, они составляют содержание специальной военной истории и могут быть доступны, полезны и занимательны только для специалистов.

Незаконный развод народа с государством, происшедший в головах некоторых наших исторических писателей и преподавателей, породил довольно недоразумений. Забыв, что государство есть необходимая форма для народа, который немислим без государства, объявляли, что не станут останавливаться на каком-нибудь громком государственном событии более того, сколько этого будет требовать уразумение воздействия его на народный быт и воспитание, что не станут преклоняться пред биографией лиц, выходящих из массы; что эти лица будут важны единственно потому, что они принесли с собою из массы, и что сообщили массе их дарования; что не будет важен никакой закон, никакое учреждение сами по себе, а только по приложению их к народному быту; что не будут останавливаться ни на каком литературном памятнике, если не будут видеть в нем ни выражения народной мысли, ни той силы, которая пробуждает эту мысль; в таком случае, гораздо важнее будет народная песня, даже полная анахронизмов в изложении внешнего события; предметом первой важности будут повествования летописцев о неурожаях, наводнениях, пожарах и разных бедствиях, заставлявших народ страдать, о затмениях и кометах, пугавших его воображение явлениях, которые для историка, имеющего на первом плане государственную жизнь, составляют неважные черты.

В приведенных мнениях видно непонимание тесной связи между государством и народом, связи формы с содержанием. Что значит, например, рассматривать громкое государственное событие со стороны воздействия его на народный быт и воспитание? Но почему же это событие громко? Историк при встрече с таким событием прежде всего должен показать, как оно возникло в жизни известного народа, разумея под жизнью народа жизнь внутреннюю и внешнюю. Что касается до значения лиц, выходящих из массы, то понятно, что всякий оценивает их по степени того добра, какое оказали они своим общественным служением; об этом никто никогда не спорил. Но здесь должно заметить, что историк не имеет возможности непосредственно сноситься с массой, он сносится с нею посредством ее представителей, исторических деятелей, ибо масса сама ничего о себе не скажет; и в то время, когда она двинется, волнуется, — на первом плане ее вожди, представители, они говорят и действуют, и этим самым становятся доступны для историка. Если известный закон или учреждение, каковы бы ни были сами по себе, не имеют приложения к народному быту, то во всяком случае они заслуживают внимания; если закон или учреждение действуют и в то же время неприложимы к народному быту, то они причиняют вред, затруднения, неудобства в отправлении народной жизни; это очень важно, и историк обязан вникнуть в причины такого явления, ибо здесь поверка народной жизни. Историк обязан останавливаться на важных литературных памятниках, ибо такие памятники не могут пройти бесследно для жизни общества. Историк, имеющий на первом плане государственную жизнь, на том же плане имеет и народную жизнь, ибо отделять их нельзя: народные бедствия не могут быть для него неважными чертами уже потому, что они имеют решительное влияние на государственные отправления, затрудняют их, бывают причинами расстройств в государственной машине, что вредным образом действует на народную жизнь. Но, конечно, историк, уважающий народ, не поставит наряду с народными бедствиями затмений и комет, пугавших народное воображение, хотя и не оставит их без внимания, когда будет говорить, как народ в известное время представлял себе известные явления...

История России, подобно истории других государств, начинается или героическим периодом, т. е. вследствие известного движения, у нас вследствие появления варяго-русских князей и дружин их, темная, безразличная масса народонаселения потрясается, и происходит выдел из нее лучших людей по тогдашним понятиям, т. е. храбрейших, одаренных большою материальною силою и чувствующих потребность упражнять ее. Старая русская песня очень хорошо определяет нам лучшего человека, богатыря, или героя: «Сила-то по жилочкам так живчиком и переливается, грузно от силушки, как от тяжелого бремени». Это мужи, люди по преимуществу, тогда как остальные в глазах их остаются полулюдьми, маленькими людьми,

мужиками. Мужики, или богатыри, своими подвигами начинают историю, этими подвигами их народ становится известен у чужих народов; эти же подвиги у своего народа становятся предметом песен, первого материала исторического. Воображение народа поражено подвигами богатырей, их победами над внешними врагами, переменами, которые произведены их движениями внутри; все это, разумеется, преувеличивается, представляется в гигантских размерах. Все выходящее из ряда обычных, ежедневных явлений младенчеству народ приписывает влиянию высших сил, и богатыри необходимо являются существами выше простых людей, им приписывается божественное происхождение; у нас же при неразвитости мифологии и скором влиянии христианства богатырь хотя и не божественного происхождения, однако, по крайней мере, чародей: князь Олег, поразивший народное воображение удачным походом на Константинополь и богатствами, оттуда привезенными, является необходимо чародеем, вещим. Самый рассказ о подвигах богатыря-чародея приобретает чудодейственную силу, море утихает, когда раздается песня о богатыре: «Тут век про Добрыню старину скажут, синему морю на тишину, вам всем, добрым людям, на послушанье»...

Вообще движение русской истории с юго-запада на северо-восток было движение из стран лучших в худшие, в условия более неблагоприятные. История выступила из страны, выгодной по своему природному положению, из страны, которая представляла путь из северной Европы в южную, из страны, которая поэтому находилась в постоянном общении с европейско-христианскими народами, посредничала между ними в торговом отношении. Но как скоро историческая жизнь отливает на восток в области верхней Волги, то связь с Европой, с Западом, необходимо ослабевает и порывается не вследствие мнимого влияния татарского ига, а вследствие могущественных природных влияний: куда течет Волга, главная река новой государственной области, туда, следовательно, на восток, обращено все. Но западная Россия, что же с нею сделалось? Она осталась на своем месте, не могла передвинуться на восток? Западная Россия, потеряв свое значение, потеряла способы к дальнейшему материальному, государственному и нравственному развитию, способы иметь влияние на восточную Россию результатами своего общения с европейскими народами. Мы видели, чему подвергалась она вследствие соседства своего со степью, с хищными кочевниками, половцами. Татары и Литва разорили ее вконец. Киев, в старину вторая Византия, являлся путешественнику в виде ничтожного городка, с окрестностями, похожими на кладбище. Запустелая, лишенная сил, раздробленная, юго-западная Русь подпала под власть князей литовских. Галич, счастливый уголок, где было сосредоточились последние силы юго-западной Руси, быстро поднялся и процвел, но скоро и пал вследствие своего

уединения от остальной, живой Руси, т. е. Великой, ибо Малую Русь в описываемое время нельзя было назвать живою. Политическая связь между восточной и западною Русью рушилась; мало того, возникла вражда вследствие соперничества правителей, которые постарались разрушить церковное единство: явилось два особых митрополита, в Киеве и Москве.

Кровный союз был нарушен, родные братья разделились, разошлись; сколько от этого разделения потеряно было материальных сил, об этом говорить нечего. Деньги — дело нажитое, говорит пословица; так и вообще материальные силы; но сколько от этого раздела, от этой долгой жизни особняком потеряно было нравственного духовного богатства! Русский человек явился в северо-восточных пустынях бессемеен во всем печальном значении, какое это слово имело у нас в старину. Одинокий, заброшенный в мир варваров, последний, крайний из европейско-христианской семьи, забытый своими и забывший о своих по отдаленности, разрознившийся и от родных братьев — вот положение русского человека на северо-востоке, и целые века предназначено было ему двигаться все далее в пустыни востока, жить в отчуждении от западных собратий. Но если для развития сил как отдельного человека, так и целого народа необходимо общество других людей, других народов, только при этом условии возможно движение мысли, расширение сферы деятельности, то понятно, какие следствия для русского народа должно было иметь отсутствие этого условия.

Другие благоприятные условия могли бы, хотя отчасти, восполнить недостаток главного условия, необходимого для успешного развития народной жизни, например, благоприятный климат, плодородные почвы, многочисленное народонаселение в обширной и разнообразной стране, что делает возможным разделение занятий, обширную внутреннюю торговлю, непрерывные сообщения различных местностей друг с другой, процветание больших городов. Ничего подобного не могло быть в северо-восточной России. Печальная, суровая, однообразная природа не могла живительно действовать на дух человека, развивать в нем чувство красоты, стремление к украшению жизни, поднимать его выше ежедневного, будничного однообразия, приводить в праздничное состояние, столь необходимое для восстановления сил. Малочисленное народонаселение было разбросано на огромных пустынных пространствах, которые беспрестанно увеличивались без соответственного умножения народонаселения. Все это было бедно и слабо без возможности к самостоятельной жизни, без возможности защиты при встрече с какою бы то ни было силою...

Раздачею земельных участков во временное владение за службу великий князь создает себе свое многочисленное войско, вполне от него зависящее, от него получающее содержание. У князей и бояр нет во владении больших областей, городов, даже укрепленных замков, где бы они могли жить более или менее независимо; издавна дружинники, не получившие на Руси значения землевладельцев, привыкли жить около князя...

Мы видим, что Россия с явного начала образования Московского государства является страной земледельческою по преимуществу, и города здесь носят характер сел, горожане занимаются земледелием, и, таким образом, города московские XVII века напоминают города древлянские, о которых говорится в сказании о мести Ольгиной. Но от господства земледельческих занятий никак нельзя заключать к сознанию общества о важном значении этих занятий, об особенном покровительстве, каким пользовались земледельческая промышленность и люди, ею занимавшиеся. Наоборот, государство земледельческое предполагает неразвитость, первоначальность отношений. Эти первоначальные отношения суть отношения вооруженной части народонаселения, войска, и невооруженной, которая должна содержать войско, непосредственно работать на него, если в то же время не развивается город, промышленность и торговля, которые дают движимое богатство стране, ведут к широте деятельности, просвещению, дают средства к новому, более правильному определению отношений между частями народонаселения. Мы видели, что в Московском государстве, кроме членов старой дружины и родов княжеских, войсковая масса была создана великими князьями с первоначальною формою содержания, т. е. посредством земельных участков, с которых служилые люди кормились, пока служили; в дополнение к этим земельным средствам служилые люди кормились также с городов и волостей в качестве их правителей. Следовательно, в древней России мы видим эту первоначальную форму отношений между вооруженною и невооруженною частью народонаселения, между мужами и мужиками: мужи непосредственно кормятся на счет мужиков. Вопрос о содержании войсковой массы, на которой основывалась сила внутренняя, которую необходимо было охранять и увеличивать при беспрестанных войнах на востоке и западе, этот вопрос, разумеется, становится на первом плане, а вместе на первом плане становится вопрос о земельном владении и пользовании. Чтоб иметь возможность сохранять и увеличивать войско, государство должно иметь в своем распоряжении как можно больше земель, которые должны находиться не в дальнем расстоянии ни от столицы, ни от тех границ, которым особенно грозят враги, т. е. от южных и западных, поэтому обширные земельные пространства, которыми могло располагать государство на севере и востоке, не могли

служить ему в поместном отношении по отдаленности и малочисленности народонаселения...

И в XVII веке, как в X, из общества продолжали выделяться люди, у которых «сила по жилочкам так живчиком и переливалась, которым было грузно от силушки, как от тяжелого бремени», и которые шли гулять в поле, в степь. Эти богатыри древности в новейшее время носят название казаков; быт, подвиги богатырей древних сходны с бытом, подвигами казаков, и народное представление верно отождествляет эти два явления, различающиеся только именем, но и здесь народная песня уничтожает различие, называя, например, Илью Муромца старым казаком. Мы знаем, что в эпохи образования государств выделение подобных людей и образование из них военных братств, дружин с избранным вождем, ведет обыкновенно к образованию государства, к началу исторической жизни, исторического движения для народа; из подобных людей образуется высшее, вооруженное, народонаселение, которое так или иначе определяет свои отношения к остальной, невооруженной, массе народа. Но если государство уже образовалось и, несмотря на то, по особенным условиям, преимущественно местным, продолжается еще выделение подобных людей и образование из них военных обществ подле государства, то это сопоставление ведет, разумеется, к важным отношениям. Прежде всего страна, народ, ослабляется выделением этих людей, особенно ослаблялась Россия, и без того бедная населением, рассыпавшимся на громадных пространствах; с другой стороны, выделением беспокойных сил условливалась беспрепятственная деятельность правительства, беспрепятственная централизация. Но если правительственная деятельность облегчилась внутри уходом богатырей на гулянье в степь, то образование из этих богатырей военных братств подле государства, разумеется, не могло не беспокоить последнее. Ушедши в степь для воли, казаки могли подчиняться государству только номинально, исполняли приказания правительства только тогда, когда это им было выгодно; но при первом разладе их интересов с интересами государства казаки давали резко чувствовать, что они люди вольные. Покойно они жить не могли, они должны были упражнять свою силу, от которой им было грузно, они должны были добывать себе средства к жизни, добывать зипуны, по их выражению. Казаки старые, начальные люди, казаки старинные обыкновенно более стояли за связь с государством, за исполнение требований правительства; но казачество представляло постоянный прилив новых, молодых людей, которым хотелось широко разгуляться и добыть себе зипунов; осторожность стариков, старшин, им не нравилась, и вот иногда, независимо от общей старшины, для самых рьяных искателей зипунов является новый, свой вождь, известный своей удалью (*dux ex vertute*), и ведет дружину на чужих или на своих. Понятно, что образование подобных обществ на границах государства должно было вести к

постоянной борьбе. Если государство слабо, то напор дружин на него увенчивается успехом; мы знаем, чем кончилась судьба Римской империи вследствие напора германских дружин: они вошли в области империи и образовали здесь высшее, т. е. военное, сословие. В XVII веке на востоке Европы произошло подобное же явление: воспользовавшись слабостью Польского государства, гонениями на русскую веру, казачество после долгой борьбы успело взять верх, истребить, вытеснить прежних землевладельцев на Украине и из своей старшины образовать новое высшее сословие в стране. Борьба кончилась иначе для казачества с другим государством восточной равнины, Русским, или Московским, но борьба шла сильная, отчаянная. В XVI веке русский царь взял Казань и Астрахань; вся Волга находилась теперь в русских руках, и пустынные пространства по западным ее притокам и переплетающимся с ними притокам Дона стали безопасны. Но вместо татар немедленно же поднимается здесь казачество. Его гулянье по Волге не давало безопасности ни своим, ни чужим. Грозный принял сильные меры против богатырей; как обыкновенно бывало, когда казачеству преграждались привычные пути для гулянья, оно бросалось в какую-нибудь другую сторону, в какое-нибудь отдаленное предприятие: так и тут на первый раз, прогнанные с Волги, казацкие шайки бросились на Каму и оттуда проложили дорогу за Уральские горы, погромили улус Кучумов, или так называемое Сибирское царство. При сыне Грозного казачество снова усиливается на Дону, и отношения его к государству несколько не обещают последнему спокойствия со стороны степи. При Годунове государство снова готовится к решительным мерам против казачества; но является самозванец, наступает Смутное время, т. е. казацкое царство; борьба скоро принимает настоящий свой характер, характер борьбы земских людей Московского государства с казаками, которые являются грубнее литвы и немцев и стремятся утвердить свое господство, возведши на московский престол своего вождя, своего царя. Вопрос ставится ясно: бояре и все лучшие люди московские присягают польскому королевичу, чтоб не быть в рабстве у своих прежних холопей-казаков при торжестве калужского царика. Возбуждение религиозного интереса вследствие замыслов Сигизмундовых, давшее знамя, средоточие для жителей Московского государства, давшее им возможность высвободиться из прежней разрозненности для общего дела, указавшее им единство не народное, не государственное, но религиозное — общую купель, в которой они крестились в православную веру, — это религиозное одушевление, разумеется, главным образом послужило против казаков. Очищение земли от поляков было вместе очищением от казаков. Таким образом, казакам не удалось воспользоваться благоприятными для них условиями, государство восторжествовало; но казачество не отказалось от борьбы. Запертое турками с устьев Дока, оно ждало отважного и счастливого вождя для проложения себе

другой дороги. Богатырь-чародей явился, Разин; толпы его перебросились на Волгу, на Яик, в Каспийское море, погромили персидские берега; но Персия была покрепче сибирского юрта Кучумова, и Разин не мог поклониться царю Алексею Михайловичу Персидою, как Ермак Тимофеевич поклонился Грозному Сибирию. Принужденные возвратиться с Каспийского моря, не имея надежды, чтоб Московское государство беспрепятственно стало пропускать их в устья Волги, толпы Разина опрокинулись на государство, поднимая низшие слои народонаселения против властей, как было в Смутное время; но государство, несмотря на все свое истощение, было сильнее казаков, Разин погиб на плахе в Москве. Впрочем, разинское возмущение не было последним действием борьбы государства с казаками: в новой русской истории увидим Булавина и Пугачева...

В Московском государстве название дружины исчезает, ибо исчезает понятие. Чем же оно постепенно заменяется? Из-за дружины сначала выступает двор и производное от него дворянин и приобретает все более и более силы. Сначала бояре и дети боярские сохраняют относительно дворян свое самостоятельное первенствующее положение, положение дружинников; но потом, с возвышением значения государя и его двора, название дворянин берет верх над названием сын боярский, и последним означает низший класс военных людей; с исчезновением понятия о товариществе вождю выступает во всей силе понятие службы государю, и является для военных людей название служилые люди в противоположность всему остальному народонаселению, которое не поднимается, сохраняет по-прежнему относительно военных людей значение мужиков; но и военные люди уже более не мужи, а служилые люди, холопы государя; название служилый, служащий живет до сих пор, до сих пор в народе говорят, это служащий, в противоположность купцу, мещанину. Но было еще другое название, которое обозначало вознаграждение за службу, название помещик. Если название служилый человек определяло отношение к государю, то название помещик определяло отношение к земле, к народонаселению, которое должно было содержать военного человека. Если в древности переходной дружине соответствовало содержание, получаемое прямо от князя в виде денег, то образованию из дружины служилого сословия на севере, в Московском государстве соответствовала система испомещения на земельных участках, зависевшая от того, что великий князь стал государем, уселся и определил точно свои отношения к земле, сделался ее хозяином, распорядителем. Легко понять, какое впечатление в стране произвело помещение военных людей на землях, впечатление, подобное тому, какое произвело испомещение германцев в областях Римской империи; в стране подле немногочисленных вотчинников явился многочисленный класс людей, пользующихся землею, полновластных хозяев ее во время этого пользования;

вотчинники стали также брать поместья, земля явилась предназначенною для испомещения военных людей, помещики явились главными землевладельцами, служилый человек для остального народонаселения стал немислим без поместья, и название помещик для землевладельца укоренилось в народе крепко, осталось и тогда, когда поместья исчезли.

Превращение дружинников в помещиков необходимо должно было иметь сильное влияние на перемену в характере военного русского сословия, независимо уже от различия в характере южного и северного народонаселения, в характере князей и деятельности их. В членах подвижной дружины, перебежавшей с князем своим из одной области в другую, беспрестанно готовой переведаться с дружинами враждебных князей, необходимо сохранялась отвага, храбрость. Это были люди, не покидавшие оружия в постоянной борьбе со степными варварами, в постоянных усобицах княжеских; в немногочисленных, находившихся постоянно на виду дружинах преимущественно в мелких схватках храбрость каждого члена была явна, и возбуждалось соревнование; война была главным и постоянным занятием, одним словом, военный характер сохранялся вполне. Кроме побуждения повсюду, у себя на Руси и в чужих странах, честь свою взять, присоединялись и другие побуждения к оказанию храбрости: материальное благосостояние дружины зависело от богатства князя, а это богатство мог доставить или поддержать только меч дружинника: «С дружиною приобрету серебро и золото», — говорил св. Владимир и приказывал подавать серебряные ложки дружине, которая роптала, что князь кормит ее с деревянных ложек. Но характер должен был необходимо измениться, когда военному человеку дано было поместье, куда он уезжал на все мирное время, до первого призыва. Он становился землевладельцем, хозяином, терял военное значение, входил в мир иных отношений и интересов и привыкал к своему мирному положению, которое становилось для него естественным, постоянным, а военное время случайным, чрезвычайным, нарушающим обычное течение жизни; это нарушение не могло нравиться. Если бы еще можно было сейчас же встретить неприятеля, побиться и назад, домой; а то надобно собираться в долгий путь, покидать семью, хозяйство на неопределенное время, в отсутствие хозяина семье может быть очень плохо, все пойдет не так; живется обыкновенно в поместье со дня на день, на черный день не припасено, а для похода надобно делать чрезвычайные издержки, занимать деньги — разоренье! Хорошо, если кто от природы храбр, любит подражаться; но с течением времени служилое сословие превратилось в касту; сыновья служилого человека, храбры они или нет, чтоб не потерять своего значения и средств пропитания, получивши поместья, должны являться по первому призыву на службу. Таким образом, испомещение служилых людей уничтожило характер древней дружины: вместо постоянного войска, каким была дружина, с военным духом, с

сознанием военных обязанностей, с побуждениями воинской чести оно создало класс мирных граждан, хозяев, которые только случайно на время войны несли уже тяжкую для них службу. С каждым призывом в поход в семействах помещиков должны были повторяться сцены, подобные тем, какие теперь происходят в семействах перед отпуском рекрут: сколько нужд и лишений должен претерпеть! Был сам, жил хозяином полновластным, окруженный покорною семьею, холопами и крестьянами, а теперь надобно идти под начальство; какой то попадетя воевода? Попадались притеснители страшные! Хорошо, если есть связи, родственники побьют челом и воевода возьмет к себе в заведовчики (в свиту), а то беда! И возвратится ли? А попадетя в плен к татарам, в литву или к немцам-люторам безбожным! Вспомним также, что войны XVII века, неуспех которых зависел от дурного устройства русского войска, в свою очередь, не могли содействовать возвышению духа в служилых людях, внушению уверенности. Вспомним о совершенной неприготовленности русского служилого человека к ратному делу, о неумении владеть оружием, которое к тому же было очень плохо, и не удивимся свидетельству современника, русского же человека, который сравнивает полк служивых людей с стадом: «У пехоты ружье было плохо и владеть им не умели, только боронились ручным боем, копьями и бердышами, и то тупыми, и на боях меняли своих голов по три, по четыре и больше на одну неприятельскую голову. На конницу смотреть стыдно: лошади негодные, сабли тупые, сами скудны, безодежны, ружьем владеть не умеют; иной дворянин и зарядить пищаля не умеет, не только что выстрелить в цель; убьют двоих или троих татар и дивятся, ставят большим успехом, а своих хотя сотню положили — ничего! Нет попечения о том, чтоб неприятеля убить, одна забота — как бы домой поскорей! Молятся: дай, боже, рану нажать легкую, чтоб немного от нее поболеть и от великого государя получить за нее пожалование. Во время бою того и смотрят, где бы за кустом спрятаться; иные целыми ротами прячутся в лесу или в долине, выжидают, как пойдут ратные люди с бою, и они с ними, будто также с бою едут в стан. Многие говорили: дай, бог, великому государю служить, а саблю из ножен не вынимать!»

Несостоятельность русских служилых людей-помещиков при встрече с неприятелем уже давно стала заметна и необходимо повела к мысли о преобразованиях. Везде в Европе эти преобразования шли одинаковым путем. И на Западе, когда члены первоначального войска, дружины испоместились на земельных участках, зажили своими домами, своими землями, то, несмотря на большую самостоятельность их положения, чем у нас, в России, несмотря на то, что отсутствие государственного порядка, отсутствие безопасности заставляло каждого землевладельца, каждого благородного быть постоянно вооруженным,

постоянно стоять настороже, что, разумеется, сильно поддерживало воинский дух, вело к явлению рыцарства как учреждения, вызванного первоначально необходимостью защиты слабого от сильного, — несмотря на все это, однако, войны феодального периода отличаются своею мелкостью и непродолжительностью: вассалы такие же неохотники надолго отлучаться от своих домов, как и наши помещики; при большей самостоятельности их положения у них выговорен срок, и далее этого срока они не останутся в походе. Западноевропейским правительствам с феодальными войсками нельзя было далеко уйти, и они должны были обратиться опять к дружине! Дружины в разных странах не переставали выделяться, как у нас казаки; но там, на Западе, не было степей, поля, где бы богатыри могли свободно казаковать, поляковать; там, на Западе, дружины составляют наемные войска. Таковы арминаки во Франции, ландскнехты в Германии, брабантцы в Нидерландах, таковы швейцарские компании, итальянские кондотьери. В некоторых странах, наиболее слабых государственным единством, дружины вели к тем же явлениям, какие мы видели в начале средних веков, во время самого сильного движения дружин: вожди итальянских кондотьери основывают государства. Правительства других стран более сильные употребляют дружины как наемные войска, как наемную стражу, именно как употребляли их некогда западные и восточные римские императоры. От наемных дружин сделан был уже переход к национальному постоянному войску. Но от сбродных дружин, искавших службы у разных государей и менявших эту службу при первом случае, не скоро очистилась Европа. В России они появились с начала XVII века, с царствования Годунова, особенно стало их много при царе Михаиле, когда вследствие тяжелых опытов ясно была признана несостоятельность русского военного строя. Но тут же начинается с помощью иностранных офицеров и обучение русских ратных людей иноземному строю, появление разных видов войска с иностранными названиями, что было переходом к постоянному войску...

Подле этих служилых людей с новыми, иноземными названиями солдат, рейтар, драгун — сохранялись старые — городские казаки, которым в мирное время правительство давало дворы и землю пахотную, не брало с них оброка и никаких податей, а во время службы давало им жалованье. Не тронуты были и стрельцы, войско, отправлявшееся в походы в военное время, составлявшее гарнизоны, также полицейскую и пожарную команду в городах. Стрельцы жили отдельными слободами в городах, каждый своим домом, промышляли и торговали и вместе служили государеву службу. В одной Москве их было больше 20 приказов, в приказе от 800 до 1000 человек. Один из них был приказ выборный, стремянный, потому что бывал всегда у царского стремени, оберегал государя и государыню во всех походах. Начальные люди у стрельцов — головы (полковники), полуголовы,

сотники, пятидесятники и десятники; в головы, полуголовы и сотники берут из дворян и детей боярских, в пятидесятники и десятники — из стрельцов. Стрельцам давалось постоянное ценное жалованье, сукно на платье и соль.

Таковы были военные силы Московского государства пред эпохою преобразования. Эта эпоха приготавлилась тем, что, не трогая старого, приставляли к нему новое. Необходимость нового, несостоятельность старого были признаны; но, как обыкновенно бывает, первые шаги нерешительны были; на первых порах новое являлось еще робко, без официального признания его преимущества. Старая дворянская конница сохраняла свое первенствующее положение; никто из значительных дворян не хотел служить в рейтарах или солдатах; потомки старых дружинников с презрением смотрели на войска нового строя, точно так как и на стрельцов. По-прежнему единственным постоянным войском остаются стрельцы. Как только оканчивалась война, все ратные люди разъезжались по домам; распускались по домам и служилые люди нового строя, рейтары, солдаты...

Мы видели, что во второй половине XVII века русский народ явственно тронулся на новый путь, после многовекового движения на восток он начал поворачивать на запад, поворот, которой должен был необходимо вести к страшному перевороту, болезненному перелому в жизни народной, в существе народа, ибо здесь было сближение с народами цивилизованными, у которых надобно было учиться, которым надобно было подражать. Вопрос о том, могло ли сближение с европейскими народами и восприятие их цивилизации совершиться в России спокойно, постепенно, без увлечений, решается легко при внимательном наблюдении общих законов исторических явлений. Когда мы говорим о просвещении, о цивилизации, то разумеем громадную силу, которая бесконечно поднимает народ, ею обладающий, над народом, у которого ее нет; как же теперь с понятием о слабости соединять понятие силы? Как предположить, что широта и ясность взгляда, сдержанность, самостоятельность, плоды цивилизации давней и крепкой должны быть достоянием народа нецивилизованного? С другой стороны, в жизни народов мы замечаем известные периоды, в которые они проводят известное начало, живут им, подчиняются ему вполне; наступает другое время, на очереди становится новое начало, и народ предается ему; новое начало начинает господствовать на счет старого, обнаруживается обыкновенно сильная вражда к последнему, отрицание того, что было при его господстве, дурные отзывы о времени этого господства; народы в этом отношении не любят, не могут работать двум господам: если одного возлюбят, другого непременно возненавидят. Здесь возможна только злая между

двумя началами, старым и новым, борьба, необходимо раздражающая, ведущая к увлечению, к крайностям. Можно ли себе представить, чтоб молодой, исполненный жизненных сил народ, сблизившись с другими, превосходящими его народами, понявши чрез сравнение недостатки своего быта, не бросился вдруг на все то, что казалось ему лучшим у других? Да и можно ли было медлить, когда несостоятельность во всем, несостоятельность материальная и нравственная, была так явна? Когда нельзя было начать ни одного дела, не начавши вместе с тем и многих других, этому делу способствующих, для него необходимых? Западные европейские народы в описываемое время относительно цивилизации своей стояли высоко над русским, который должен был идти к ним в ученье; но для этих самых западных народов не прошло еще тогда время рабства чуждому, нерадения о своем, презрения к нему; ослепленные блеском античной цивилизации, с неодолимою силою потянулись они к ней, доходя иногда вначале до диких увлечений, отдались в науку грекам, римлянам, даже итальянцам, прежде других познакомившимся с греками и римлянами; свое было в опале, к своему относились, как к варварскому, значения, величия своей истории в сравнении с историею греков и римлян не понимали. Очередь поработать чуждому началу дошла и до русского народа, дошла по известным условиям позднее, чем до других, и в этом огромная невыгода, но причины этой невыгоды лежали в условиях хода всей предшествовавшей истории, в условиях, при которых явился наш народ, основалось наше государство. Долговременное пребывание в удалении от Западной Европы и ее цивилизации, крайность, исключительность одного направления необходимо условливали крайность противоположного направления, необходимость удовлетворить вдруг всему должна была неминуемо сообщить нашему так называемому преобразованию характер революционный. Наша революция начала XVIII века уяснится чрез сравнение ее с политической революцией, последовавшею во Франции в конце этого века. Как здесь, так и там болезни накопились вследствие застоя, односторонности, исключительности одного известного направления; новые начала не были переработаны народом на практической почве; необходимость их чувствовалась всеми, но переработались они теоретически в головах передовых людей, и вдруг приступлено было к преобразованиям; разумеется, следствием было — страшное потрясение: во Франции слабое правительство не устояло и произошли известные печальные явления, которые до сих пор отзываются в стране; в России один человек, одаренный небывалою силою, взял в свои руки направление революционного движения, и этот человек был прирожденный глава государства. Французские историки считают себя вправе плакаться на такой ход дела у себя и с завистью посматривают на соседний остров, где фундамент здания складывался издавна, постепенно и прочно; но пусть же они плачутся на весь

предшествовавший ход французской истории, которого революция была необходимым следствием; что не было сделано исподволь, постепенно, и потому легко и спокойно, то приходится делать потом вдруг, с болезненными напряжениями, которые мы называем революциями. И мы имеем право плакаться на нашу революцию, но опять с обязанностью плакаться также на всю предшествовавшую историю, которая привела к той революции, ибо условия здоровья не производят болезни.

Если таков общий закон, если наша революция в начале XVIII века была необходимым следствием всей предшествовавшей нашей истории, то из этого вполне уясняется значение главного деятеля в перевороте, Петра Великого; он является вождем в деле, а не создателем дела, которое потому есть народное, а не личное, принадлежащее одному Петру. Великий человек есть всегда и везде представитель своего народа, удовлетворяющий своею деятельностью известным потребностям народа в известное время. Формы деятельности великого человека обусловлены историей, бытом народа, среди которого он действует. Чингисхан и Александр Македонский — оба завоеватели, но какая разница между ними! Эта разница происходит от различия народов, которых они были представителями. Деятельность великого человека есть всегда результат всей предшествовавшей истории народа; великий человек не насилует свой народ, не создает того, что не потребно и невозможно для народа. При настоящих успехах исторической науки великий человек теряет свое божественное значение, не является существом, разрушающим и создающим по своему произволу: но он получает великое значение как представитель народа в известное время, как произведение и поверка народной жизни, народной истории. Великий человек не утрачивает своего значения; народ не низводится до степени стада, бессознательно идущего туда, куда его гонит чуждая воля.

Но переворот сопровождался страшною борьбою, преобразователь встретил сильное сопротивление в народе, следовательно, дело преобразования было делом насилия со стороны верховной власти. Иностранцы не без некоторого, понятного, впрочем, удовольствия, повторяли и повторяют, что Петр насильно и преждевременно цивилизовал русских, что и не могло повести и даже никогда не поведет ни к какому толку. Вооружаются вообще против преобразований, идущих сверху. Мы не знаем будущего и потому не станем говорить о нем; не будем преждевременно говорить того, что должны будем сказать впоследствии, проследив судьбы дел Петровых по его смерти. Но для устранения бесплодных толков опять обратимся к сравнениям из прошедшего. В настоящее время ни один из европейских писателей, верующий он или неверующий, не станет отрицать цивилизующего значения христианства; каждый европеец гордится тем, что христианство

пустило глубокие корни преимущественно в Европе, что доказывает высшее развитие, большую зрелость племен, населяющих эту часть света. Но пусть же припомнят историю принятия христианства европейскими народами, пусть припомнят, что обыкновенно дело шло сверху, принимали христианство князь и дружина его, ближние люди, потом уже новая вера распространялась в массе, причем не обходилось без ожесточенной борьбы, без страшного сопротивления со стороны народа, отстаивавшего свою старину, веру отцовскую; да и после принятия крещения масса в продолжение веков оставалась двуверною, не могла забыть старых богов своих. Что же из этого следует? То, что европейские народы были обращены в христианство насильно своими правительствами! Еще пример ближайший: в Англии король Генрих XIII вздумал отложиться от римской церкви; но известно, какое сильное сопротивление встретил он своему делу, какие сильные восстания вельмож и народа должен был он побороть: значит, английский народ был насильственно отторгнут от папы и реформа, которую так гордятся англичане, была личным делом Генриха XIII. В Риме будут очень довольны таким мнением.

Петр был представителем, вождем своего народа в деле народном: отсюда обязанность историка при описании великого переворота не отрывать главного деятеля, вождя, от народа, от общества, с самого начала следить, как образовывалось его существо под влиянием условий, приготовленных историею народа, ибо явления, по-видимому, самые случайные, имевшие влияние на характер исторического деятеля, окрашиваются цветами, господствующими в обществе, и чрез это-то окрашивание общество и проводит свое влияние на исторического деятеля.

Мы видели, как вследствие известных условий русское общество к концу XVII века выработало мало своих сил, сдерживающих личную силу, которой было так много простору. Вот почему девственная страна представляла такое обширное поприще для богатырей всякого рода, для людей, которым, по выражению песни, было грузно от сил, которые стремилась разминать свое плечо богатырское и, когда расходятся, не знала удержу. Богатырский, геройский период прекращается в народе вместе с цивилизациею, с развитием общественных сил; цивилизованное, развитое общество сжимает личную силу, вгоняет ее в известные пределы, ограничивает специализированием занятий; отсюда понятно, что в обществе цивилизованном сильные люди являются не в таких богатырских размерах, как в обществах юных. Мы очень хорошо знаем, как упражнение развивает всякого рода силы, и потому нечего удивляться, что старинные сильные люди были сильнее наших, ибо имели более простору упражнять свои силы во всех направлениях. В России более, чем в каком-нибудь другом европейско-христианском государстве, общество, вследствие своей истории,

предоставило простора для деятельности верховной власти, и потому неудивительно, что в России XVIII века мы встречаем двоих государей с неимоверною деятельностью — Петра I и Екатерину II. Общество юное, неразвитое не допускает разделения занятий: отсюда сильному человеку возможность и необходимость браться за все, упражнять свои силы в многообразных родах занятий, отсюда многообразная деятельность Петра; вследствие тех же общественных условий увидим впоследствии на другом поприще многообразную деятельность Ломоносова.

Петр со своими сподвижниками заканчивает, собственно говоря, древний, богатырский отдел русской истории. Это последний и величайший из богатырей; только христианство и близость к нашему времени избавили нас (и то не совсем) от культа этому полубогу и от мифических представлений о подвигах этого геркулеса.

Общество юное, кипящее неустroенными силами, произвело исполина, как юная земля в допотопное время производила громадные существа, скелеты которых приводят в изумление наш мелкий род. Но становится страшно: куда будут направлены эти силы при таком отсутствии умеряющих, образовательных начал? Какие нравственные пленки приготовило общество для Петра, как оно воспитает, образует исполина?

Мы видели неудовлетворительность нравственного состояния древнего русского общества; но видели также, что движение, начавшееся в обществе во второй половине XVII века, и борьба, вследствие того происшедшая, могли только ухудшить нравственное состояние. Как ни печально бывает нравственное состояние в известном обществе, но если последнее живет, не рушится, значит, существуют известные нравственные сдержки и связи, которые не дают ему окончательно распасться. Но если это общество двинется, взволнуется в сильном перевороте, то старые связи необходимо ослабевают, иногда совершенно рушатся, и общество подвергается сильному нравственному колебанию, шаткости, смуте, пока нравственные связи снова окрепнут или заменятся новыми. Поэтому справедливо говорят, что переходное время есть самое печальное для общественной нравственности. Прежде, до второй половины XVII века, был неоспоримым авторитет отцов духовных; теперь, с одной стороны, раскольники, с другой — новые учителя, православные и неправославные, подкапывают этот авторитет; архиереи, священники оказываются несостоятельными, как учителя; молодое поколение и вождь его воспитываются в убеждении, что этих учителей нечего слушать, говорят они бог знает что, потому что невежды, учителей этих прежде всего надобно учить.

Древнее русское общество находило нравственные сдержки в родовом быте; член рода чтит своего старшего, находился под его надзором и властью, которая, как знаем, была

очень обширна и при случае давала себя тяжело чувствовать послушнику; член рода уважал мнение рода, боялся своим поведением нанести бесчестие ему. Теперь и родовая связь ослабела, а других сдержек на ее место общество еще не выработало...

Мы уже говорили в свое время о том, как приготовлена была деятельность Петра всею предшествовавшей историей, как необходимо истекла из нее, как требовалась народом, который должен был путем страшного переворота, посредством необычайного напряжения сил выйти из отчаянного положения на новую дорогу, к новой жизни. Но это несколько не уменьшает величия человека, который при совершении такого трудного подвига подал мощную руку великому народу, необычайною силою своей воли напряг все его силы, дал направление движению. История ни одного народа не представляет нам такого великого, многостороннего преобразования, сопровождавшегося такими великими последствиями как для внутренней жизни народа, так и для его значения в общей жизни народов и во всемирной истории. Западные народы, западные историки, при вкоренившемся у них предрассудке об исключительном господстве в новой истории германского племени, при очень понятном страхе потерять монополию исторической деятельности, при трудности, невозможности спокойно и беспристрастно изучить Россию, ее настоящее и прошедшее, не могут, не хотят оценить по достоинству всемирно-исторического значения явлений, происшедших в Восточной Европе в первую четверть XVIII века. Несмотря на то, однако, они принуждены обращаться к результатам этих явлений, т. е. к решительному влиянию России на судьбы Европы, на судьбы, следовательно, всего мира, и в России должны признать представительницу славянского племени, чем и уничтожается монополия племени германского. Отсюда весь гнев, отсюда стремление умалить значение и славянского племени и русского народа, внушить страх перед честолюбием нового деятеля, пред грозою, которая собирается с Востока над цивилизацией Запада. Но эти нелюбезные отношения Запада и представителей его науки к России всего лучше показывают нам ее значение и вместе значение деятельности Петра, виновника соединения обеих половин Европы в общей деятельности.

Но оставим чужих и обратимся к своим. В сознании русского народа петровский переворот, разумеется, представляет самое важное явление, около которого сосредоточивается возбужденная наукою мысль. Благоговейное, религиозное отношение к деятельности преобразователя, господствовавшее долгое время после его смерти, вызвало во второй половине XVIII века противодействие. В этом противодействии высказывалось поступательное движение, духовное развитие русского народа. При известных условиях явились новые потребности, новые взгляды на средства, которыми поддерживается

историческая жизнь народа; религиозное отношение к деятельности Петра Великого, освящение, которое лежало на результатах этой деятельности, естественно препятствовало поступательному движению, отрицая всякое изменение как незаконное; обыкновенно считают необходимым для придания законности новому отрицать правильность старого, стремятся снять с него освящение, умалить его значение и, встречая сопротивление со стороны поклонников старого, стремятся поругать, разбить кумир, разрушить жертвенник и храм, чтобы воздвигнуть на их месте другой храм, поставить другой кумир. Не довольствовались приведением в соотношение деятельности Петра с новой деятельностью своего времени, не довольствовались тем, что говорили: «Петр Великий сотворил тело, Екатерина II влагает в него душу». Начали укорять Петра, что он и для своего времени действовал неправильно, незаконно, изменял старое лучшее на новое худшее. Эта крайность противодействия не имела сильного отзвука, XVIII век завещал XIX-му многотомный панегирик деятельности отца отечества, и книга Голикова заслонила собою книгу Болтина, заключавшую резкие выходки против деятельности преобразователя; однако самое направление труда Голикова, старание автора постоянно оправдывать во всем своего героя показывает нам, что во второй половине XVIII века русская мысль работала над великим явлением и противоположные взгляды сталкивались.

В XIX веке опять новые условия, которые вызвали враждебный взгляд на деятельность Петра. Крайности французской революции, потрясения государств и насилия над народами, произведенные Французской империей, результатом революции, страх перед возобновлением революционных движений заставили относиться враждебно вообще ко всем быстрым нарушениям старого, усилили охранительное направление, которым отличался и автор «Истории государства Российского», давший деятельности Ивана III предпочтение перед деятельностью Петра Великого. Скоро явились другие причины, поведшие в литературе к враждебным выходкам против деятельности преобразователя. Мыслители XVIII века имели в виду преимущественно человека, отвлеченно взятого, его отвлеченные права; в XIX веке обнаружилось противодействие этому направлению, оказавшемуся односторонним; гнет, испытанный народами от Французской империи, пробудил национальное чувство, и народы бросились к изучению своего прошедшего с целью выяснить и укрепить свою национальность, что и повело к господству принципа национальности, во имя которого совершались и совершаются важные события нашего времени. Направление, в сущности, высокое и благодетельное, в крайностях своих породило на Западе германофильство; в России — славянофильство; переворот, совершенный Петром, который провозгласил несостоятельность древнерусского, чисто национального быта и

потребовал от своего народа, чтоб он заимствовал учреждения и обычаи у народов чужих, — такой переворот не мог возбудить сочувствия в людях, служивших господствующему принципу времени с крайним увлечением. Сюда присоединился доведенный также до крайности взгляд на значение народных масс, без должного определения отношения их к своим историческим представителям. Петр явился страшным деспотом, который, руководясь своим произволом, своим личным взглядом, заставил насильно часть своего народа, высшие слои общества, переменить древние прадедовские нравы и обычаи на новые, чуждые, тогда как низшие слои народонаселения сослужили перед отечеством великую, святую службу, оставшись верны старине; таким образом, произошло раздвоение между высшими и низшими слоями народонаселения, что и составляет главное зло русской земли, начиная с царствования Петра.

И этот второй протест деятельности Петра, протест XIX века, не может быть принят в науке. Мы имеем полное право не сочувствовать крутым переворотам в направлениях народной жизни. Бури очищают воздух, но опустошения, которые они по себе оставляют, показывают, что это очищение куплено дорогою ценою. Сильные лекарства усложняются сильными болезнями, и мы знаем, что допетровская Россия накопила в себе много болезней, и явления преобразовательной эпохи всего лучше указывают на них. Политическое тело оздоровело, получило средства к продолжению жизни, и жизни, богатой сильными проявлениями; но историк впал бы в непозволительную односторонность, если бы не заметил, что сильные средства обыкновенно оставляют по себе и неблагоприятные для организма последствия. Эпоха преобразования не представляет в этом случае исключения. Не дело историка безусловно восхищаться всеми явлениями этой эпохи, безусловно оправдывать все средства, употреблявшиеся преобразователем для лечения застарелых недугов России; но, изображая деятельность человеческую с необходимою в ней темною стороною, историк имеет право изображать деятельность Петра как деятельность великого человека, послужившего более других для своего народа и для человечества.

Время переворотов есть время тяжкое для народов; такова была и эпоха преобразования. Жалобы на тягости великие слышались со всех сторон, и не напрасно. Русский человек не знал покоя от наборов; набор в тяжелую непрерывную военную службу пехотную, в новую службу морскую, набор в работники для новых трудных работ в местах отдаленных и непривлекательных, набор в школы свои, набор для отсылки в учение за границу. Для войска и флота, для работ, школ и больниц, для содержания дипломатов и для дипломатических подкупов нужны деньги, а денег нет в бедном государстве: тяжкие подати деньгами и натурою ложатся на всех; в нужных случаях вычитают из жалованья; люди

достаточные разоряются постройкою домов в Петербурге; взято все, что можно было только взять, все отдано на откуп; у бедного народа нашелся предмет роскоши, дубовые гробы, и те отобрала казна и продает дорогою ценою; раскольники платят двойной оклад; бородачи окупают свои бороды. Предписание за предписанием: ищите руды, ищите красок, доставляйте монстров, ухаживайте за овцами не так, как прежде, выделывайте кожи, стройте суда по-новому, не смейте ткать узких полотен, возите товары не на север, а на запад. Правительственные места, суды новые: не знают, куда обратиться; члены этих мест и судов не умеют обходиться с новым делом, отсылают бумаги из одного учреждения в другое, волокита страшная; новое бедствие: постоянная вооруженная сила легла на безоружное народонаселение. Укрываются от тяжелой службы, но не всем это удается; жестокое наказание грозит послушникам указа, и нельзя жениться дворянину неграмотному. А между тем под новыми французскими кафтанами и париками старая грубость нравов; то же неуважение к человеческому достоинству в себе и других, самые безобразные явления в шуму (в пьянстве), которыми должен оканчиваться каждый пир; женщина введена в общество мужчин, но она не окружена должным уважением к ее полу, к ее обязанностям, беременную, ее заставляют пить через меру. Члены высших учреждений ссорятся, бранятся друг с другом самым грубым образом; взяточничество сильно по-прежнему, по-прежнему слабый подвержен всем насилиям от сильного, по-прежнему муж позволяет себе все над мужиком, благородные над подлым народом.

Но это только одна сторона, есть другая. Народ проходит трудную школу. Строгий учитель не щадит наказаний ленивым и нарушителям уставов, но дело не ограничивается одними угрозами и наказаниями. Народ действительно учится, учится не одной цифири и геометрии, не в одних школах, русских и заграничных; народ учится гражданским обязанностям, гражданской деятельности. При издании каждого важного постановления, при введении важного преобразования законодатель объясняет, почему он так делает, почему новое лучше старого. Русский человек впервые получает наставление подобного рода. Что нам кажется теперь столь простым и всем доступным, то предки наши узнали впервые из указов к манифестов Петровых. Впервые мысль русского человека была возбуждена, его внимание обречено на важные вопросы государственного и общественного строя; сочувственно или несочувственно обращались к словам и делам царя, все равно над этими словами и делами думали; эти слова и дела постоянно будили русского человека. Что могло погубить общество одряхлевшее, народ, неспособный к развитию, — треволения преобразовательной эпохи, незнание покоя, — то развило силу молодого и крепкого народа, долго спавшего и нуждающегося в сильном толчке для пробуждения. Поучиться было чему.

Наверху правительствующий Сенат, Синод, всюду коллегиальное устройство, преимущества которого подробно изложены в духовном регламенте; повсюду выборное начало; промышленное сословие изъято из ведения воевод, ему дано самоуправление. Вся система Петра была направлена против главных зол, которыми страдала древняя Россия: против разрозненности сил, непривычки к общему делу, против отсутствия самодеятельности, отсутствия способности начинать дело. Эти-то недостатки и обуславливали возможность всякой силе легко пробиваться сквозь неплотно сомкнутые ряды, расти не в меру, переходить должные границы и теснить все вокруг. Указанными недостатками страдала прежняя царская дума; Петр учреждает Сенат, которому присягали, которого указов должны были слушаться, как указов царских. Петр не ревновал к созданной им власти, не ограничивал ее, наоборот, он постоянно и беспеременно требовал, чтоб Сенат пользовался своим значением, чтоб был именно правительствующим; упреки, выговоры Петра Сенату были за медленность, вялость, за отсутствие распорядительности, за неумение заставить привести свои приговоры немедленно в исполнение. Прежде русский человек, принимавший поручение правительства, ходил на помочах; ему не верили, боялись его малейшего движения и потому спеленывали, как ребенка, в длинный, подробный наказ, и при каждом новом случае, не определенном в наказе, взрослый ребенок требовал наставления. Эта привычка требовать указов сильно сердила Петра, как мы видели: «Делайте по своим соображениям: как я могу вам указывать из-за такой дали?» — писал Петр просящим указов. Коллегиальное устройство, встретил ли он его на Западе, присоветовано ли оно было ему Лейбницем — все равно. — Петр употреблял его всюду как могущественное средство приучить русских людей к общему, нестесненному действию. Из-за отдельных лиц выдвинулись учреждения, и над всеми ими поднялось государство, о настоящем значении которого русские люди услышали в первый раз теперь, когда должны были присягать государству. Мы не остановимся на этой картине, как на оконченной; мы очень хорошо знаем, что при Петре и после него было сильное противодействие его системе, что привычка служить лицам при известных благоприятных обстоятельствах брала верх, что выражение «господа Сенат» немедленно же стало заменяться выражением «господа сенаты»; но идеи, раз введенные в жизнь и закрепленные учреждениями, целою системою государственного строя, не исчезают, несмотря на все желанья отделаться от них; формы, не лишенные содержания, напоминают о нем, побуждают требовать его возвращения, храм и без богослужения призывает к молитве, все введенное великим человеком освящается его именем и надолго дает направление последующей деятельности. Не нужно иного говорить о несостоятельности мнения, будто привычка к деятельности сообща была сильна в древней

России и начала исчезать вследствие преобразования. Сильные привычки не скоро уступают самым сильным противодействиям и никак, разумеется, не могут ослабеть от условий самых благоприятных. Если бы русские промышленные люди привыкли к общему действию в древней России, то они не представили бы таких печальных явлений в петровских ратушах и магистратах, где богатые разоряли бедных, а выборные брали взятки и не исполняли своих обязанностей; объяснение этому явлению найдем в древней России, из которой идут жалобы на такие же явления, в города идут просьбы, чтоб правительство защитило от мужиков-горланов обидчиков. Шли жалобы на воеводские притеснения; правительство сделало все, что могло, освободило от воевод, дало самоуправление; правительство могло дать другие, лучшие формы и дало; но вдохнуть вдруг способность к самоуправлению оно не было в состоянии, такую способность можно было приобрести только постепенно, если ее не было прежде, а что прежде ее не было, это обнаружилось немедленно. Если же спросят, зачем промышленные люди были выделены из общей деятельности с другими сословиями относительно города, то на это пусть отвечают коломенские бургомистры, с которыми так хорошо обходились люди другого сословия. Возможность общего действия людям из разных общественных кругов условилась постепенным и постоянным движением в духе системы Петра Великого; эта возможность могла бы явиться и скорее, если бы его системе следовали неуклонно.

Выставив значение государства, заставив, по-видимому, приносить этому новому божеству тяжелые жертвы и сам подавая пример, Петр, однако, принял меры, чтоб личность не была подавлена, получила должное, уравнивающее развитие. На первом месте здесь, разумеется, должно быть поставлено образование, введенное Петром, знакомство с другими народами, опередившими наш народ в развитии. Мы знаем, что в допетровской России был силен родовой союз; продолжительность его существования объясняется легко из положения общества, которое не могло дать своим членам должного обеспечения, и они должны были искать его в частных союзах. Таков был прежде всего естественный кровный союз членов одного рода. Старшие, как мы знаем, защищали младших, и за то имели над ними власть, ибо отвечали за них перед правительством. Так было везде, во всех слоях общества, нигде самостоятельный русский человек не представлялся один, но всегда с братьями и племянниками; безродность и бессемейность до последнего времени являлись выражениями крайне бедственного положения. Понятно, что родовой союз стеснял развитие личности; государство не могло дать личной заслуге силы над родовыми правами; ревнивый до крайности к порухе родовой чести, старинный русский человек был равнодушен к чести личной. Но к концу XVII века государственные требования так усилились, что род со своим

единством не мог устоять, и уничтожение местничества нанесло сильный удар родовому союзу в высшем слое общества, в служилых людях. Преобразование нанесло удар окончательный решительным, исключительным вниманием к личной заслуге, выдвижением наверх людей, которые стали бесконечно выше своих «старых родителей» (т. е. родственников), введением в службу большого числа иностранцев; для людей новых стало выгодно являться безродными, и многие из них охотно начали выводить свое происхождение из чужих стран. Относительно низших слоев народонаселения удар родовому союзу был нанесен подушным окладом; стало исчезать прежнее выражение «такой-то с братьями и племянниками», ибо брат и племянник каждый стал платить за себя, явился отдельным, самостоятельным человеком. Не только прежние родовые отношения должны были исчезать; но и в самой семье, требуя глубокого уважения от детей к родителям, Петр признавал права личности, предписывая, чтоб браки совершались с согласия детей, без произвола родителей; право личности признано было и в крепостном, ибо помещик должен был присягать, что не принуждает своих крестьян к невольному браку. Мы слышали беспристрастный отзыв современника, русского человека об испорченности наших служилых людей в XVII и начале XVIII века, о их равнодушии к чести; между ними существовала позорная поговорка: «Бегство хоть нечестно, да здорово». При Петре вывелась эта поговорка, и он сам свидетельствовал, что во второй половине Северной войны бегство с поля сражения прекратилось. Наконец, получила признание личность женщины вследствие освобождения ее из терема.

Так воспитывались русские люди в суровой школе преобразования! Страшные труды и лишения не пропали даром. Начертана была обширная программа на много и много лет вперед, начертана была не на бумаге — она начертана была на земле, которая должна была открыть свои богатства перед русским человеком, получившим посредством науки полное право владеть ею; на море, где явился русский флот; на реках, соединенных каналами; начертана была в государстве новыми учреждениями и постановлениями; начертана была в народе посредством образования, расширения его умственной сферы, богатых запасов умственной пищи, которую доставил ему открытый Запад и новый мир, созданный внутри самой России. Большая часть сделанного была только в начале, иное в грубых очерках, для многого приготовлены были только материалы, сделаны были только указания; поэтому мы и назвали деятельность преобразовательной эпохи программой, которую Россия выполняет до сих пор и будет выполнять, уклонение от которой сопровождалось всегда печальными последствиями. Различные толки и суждения за и против, толки о том, как быть с тем или другим делом, оставшимся от эпохи преобразования, были именно тем благодетельным

последствием умственного возбуждения, которое дало русскому народу возможность жить новою жизнью и выполнять программу преобразователя. Возможность такого возбуждения обуславливалась именно всесторонним движением, всесторонним преобразованием, необходимым при том состоянии, в каком находился русский государственный организм, страдавший застоєм, отсутствием средств к развитию; но все это был организм, в котором нельзя было, начавши преобразование в одном органе, не начать его в другом. Это было бы крайне вредно, если было и возможно. Историк не позволит себе утверждать, что не было никакого вреда в этой всесторонности преобразования: вред был необходим вследствие неприготовленности средств к всестороннему преобразованию, неприготовленности как в руководимых, так и в руководителях, начиная с главного руководителя, самого Петра, в котором, при всем уважении к его гению, мы должны видеть человека, существо, ограниченное в своих средствах. Но мы должны признать, что России в описываемое время послан был человек, способный из двух зол выбрать гораздо меньшее, именно преобразование всестороннее и деятельное, которое не поставило русского человека только в положение ученика относительно Западной Европы, но в то же время поставило его и в положение взрослого, сильного деятеля в общей политической жизни и этим обеспечило ему самостоятельное внутреннее развитие, ибо внешняя безопасность, важное политическое значение, широкая историческая сцена действия оставляют для народа необходимые условия его внутреннего развития. Русскому человеку легко было принять значение ученика при виде столь быстрого успеха в учении, при виде величия и славы, окружавших Россию и ее великого царя, которым так могли гордиться русские люди и который так верил в свой народ, так любил его, никогда не променявая своих на чужих.

Никогда ни один народ не совершал такого подвига, какой был совершен русским народом в первую четверть XVIII века. На исторической сцене явился народ малоизвестный, бедный, слабый, не принимавший участия в общей европейской жизни; невероятными усилиями, страшными пожертвованиями он дал законность своим требованиям, явился народом могущественным, но без завоевательных стремлений, успокоившийся, как только приобретено было необходимое для его внутренней жизни. Человека, руководившего народом в этом подвиге, мы имеем полное право назвать величайшим историческим деятелем, ибо никто не может иметь большего значения в истории цивилизации. Петр не был вовсе славолюбцем-завоевателем и в этом явился полным представителем своего народа, не завоевательного по природе племени и по условиям своей исторической жизни. Гений Петра высказался в ясном уразумении положения своего народа и своего собственного как вождя этого народа, он сознал, что его обязанность вывести слабый, бедный, почти неизвестный

народ из этого печального положения посредством цивилизации. Трудность дела представилась ему во всей полноте по возвращении из-за границы, когда он мог сравнить виденное на Западе с тем, что он нашел в России, которая встретила его стрелецким бунтом. Он испытал страшное искушение, сомнение, но вышел из него вполне уверовавши в нравственные силы своего народа и не замедлил призвать его к великому подвигу, к жертвованиям и лишениям всякого рода, показывая сам пример во всем этом. Ясно сознавши, что русский народ должен пройти трудную школу, Петр не усомнился подвергнуть его страдательному, унижительному положению ученика; но в то же время он успел уравновесить невыгоды этого положения славою и величием, превратить его в деятельное, успел создать политическое значение России и средства для его поддержания. Петру предстояла трудная задача: для образования русских людей необходимо было вызвать иностранных наставников, руководителей, которые, естественно, стремились подчинить учеников своему влиянию, стать выше их; но это унижало учеников, которых Петр хотел сделать как можно скорее мастерами; Петр не поддавался искушению, не принял предложения вести дело успешно с людьми выученными, вполне приготовленными, но иностранцами, хотел, чтоб свои, русские, проходили деятельную школу, хотя бы это стоило и больших потерь, сопровождалось большими неудобствами. Мы видели, как он поспешил отделаться от иностранного фельдмаршала, видели, как на всех высших местах поставил русских людей, а иностранцам дал только второстепенные, и мы видели, как Петр был награжден за веру в свой народ, за преданность ему. Также с необыкновенною осторожностью, умением не перейти должные границы разрешена была Петром трудная задача церковного преобразования. Он уничтожил одноличное управление и заменил его коллегиальным соборным, что вполне соответствовало духу восточной церкви; мы видели, что одною из главных забот Петра было поднятие русского духовенства посредством образования; несмотря на сильное и понятное нерасположение к монашеству, он не уничтожил этого учреждения подобно Генриху XIII английскому, только старался дать ему более соответствующую его характеру деятельность.

С какой бы точки зрения мы ни изучали эпоху преобразования, мы должны прийти в изумление перед нравственными и физическими силами преобразователя. Силы развиваются упражнением, и мы не знаем ни одного исторического деятеля, сфера деятельности которого была бы так обширна. Родившись с умом необыкновенно возбужденным, чутким ко всему, Петр изощрил эту чуткость до высшей степени, с малолетства прислушиваясь и приглядываясь сам ко всему, не направляемый, не ограничиваемый никем, а возбуждаемый обществом, уже стоявшим на повороте, колебавшимся между двумя направлениями,

волнуемым уже вопросами о старом и новом, когда подле старой Москвы уже виднелся авангард Запада, Немецкая слобода. У Петра была старинная русская богатырская природа, он любил широту и простор; отсюда объясняется, что кроме сознательного влечения к морю он имел еще и бессознательное; богатыри старой Руси стремились в широкую степь, богатырь новой стремился в широкое море; местности, сжатые горами, были для него неприятны, тяжелы; так он жаловался жене на местоположение Карлсбада: «Место здешнее так весело, что можно честною тюрьмою его назвать, понеже между таких гор сидит, что солнца почитай не видать». В другом письме он называет Карлсбад ямою.

Богатырским силам соответствовали страсти, не умеренные правильным, искусным воспитанием. Мы знаем, как мог разнудываться сильный человек в древнем русском обществе, не выработавшем должных границ каждой силе; могло ли такое общество сдерживать страсти человека, стоявшего на самом верху? Но одна наблюдательная женщина-современница отозвалась совершенно справедливо о Петре, что это был очень хороший и вместе очень дурной человек. Не отвергая и не умаляя черной стороны характера Петра Великого, не забудем стороны светлой, которая перевешивала черную и могла так сильно привязывать к нему людей. Если гнев Петра раздражался иногда так страшно над людьми, которых он считал врагами отечества, врагами общего блага, то сильно привязывался он и сильно привязывал к себе людей с наклонностями противоположными. Дело, совершенное Петром, было совершено им с помощью людей способных, которых он умел отыскать всюду и сохранить. В этом отыскивании способных людей нельзя видеть одного личного дела Петра: ему стоило только дать своим приближенным почувствовать, что ничем нельзя угодить ему так, как приисканием способных людей, и началась действительная гоньба за способностями...

Сознание обязанностей своих к богу, глубокое религиозное чувство высказывалось постоянно у Петра, поднимало дух его в бедах и не давало заноситься в счастья. В последний год своей жизни, 16 августа 1724 г., составляя программу для торжества Ништадтского мира, Петр писал: «Надлежит в первом стихе помянуть о победах, а потом силу писать во всем празднике следующую: 1) Неискусство наше во всех делах. 2) А наипаче в начатии войны, которую, не ведая противных силы и своего состояния, начали как слепые. 3) Бывшие неприятели всегда не только в словах, но и в гисториях писали, дабы никогда не протягать войны, дабы не научить тем нас. 4) Какие имели внутренние заметания, также и дела сына моего, також и турков подвигли на вас. 5) Все прочие народы политику имеют, дабы баланс в силах держать меж соседев, а особливо чтобы нас не допускать до света разума во всех дела и наипаче в воинских; но то в дело не произвели, но яко бы закрыто

было сие пред их очесами. Сие поистине чудо божие; тут возможно видеть, что все умы человеческие ничто есть против воли божией. Сие пространно развести надлежит, а сенсу довольно».

Нужно мне рассказать состояние русского общества под державою Николая I и характер сего державца. Известно, что добрый и благонамеренный Александр I подписал самодержавное: «Быть по сему» под манифестом, в котором в неопределенных выражениях приказывалось всем народам, кроме русского, быть свободными и счастливыми. Благословенный ждал благословений за свой подвиг и сильно оскорбился, когда увидел, что народы вместо того, чтоб довольствоваться манифестом, начали хлопотать об определении форм, под которыми они должны быть свободны и счастливы, и начали хлопотать об этом, не спросясь манифестодателей. Известно, в каком колеблющемся положении находилась Европа во время смерти Александровой; известно, каким несчастным событием в России сопровождалось восшествие на престол преемника Александра. Это событие — великой важности, ибо оно объясняет многое в жизни русского общества. Крайне небольшое число образованных, и то большею частью поверхностно, с постоянным обращением внимания на Запад, на чужое; все сочувствие — туда, к Западу, ибо там — жизнь, там — движение, там — деятельность; но все это сочувствие и должно было оставаться сочувствием только, единственным выражением которого было слово, и то не публичное, а домашнее, кабинетная или гостиная болтовня; у себя в России нет ничего, где бы можно было действовать тою действительностью, которую привыкли видеть на Западе, о которой привыкли читать и рассуждать. Отсюда — отрицательное отношение к своему, привычка к бесплодному порицанию, к бесплодному протесту, к бесплодной насмешке. Вот откуда насмешливость, сатирическое направление русского человека, — жалкое, страшное настроение! Отсюда же этим образованным, мыслящим русским людям Россия представлялась «*tabulam rasam*», на которой можно было начертать все, что угодно, начертать обдуманное или даже еще необдуманное в кабинете, в кружке, после обеда или ужина.

Движение в пользу народностей, происшедшее вследствие высокого развития западноевропейских обществ и вызванное внешним материальным сжатием Наполеоновской системы, — это движение не могло не отозваться и у нас, русских, и у славян вообще, и обнаружилось сначала, разумеется, младенческим лепетом еще у декабристов; но это был именно только младенческий лепет; славянского у декабристов было только незрелость,

распущенность, рознь. Да не сочтет кто-либо слов моих словами укора: сохрани боже! Грустный опыт, грустный взгляд на настоящее не позволяет мне укорять моих несчастных предшественников; прошло более тридцати лет после их попытки, и мы находимся (в 1858 г.) в совершенно таком же положении, как и они. Их участь поразительно сходна с участью последних из римлян; если бы им удалось их начальное дело, как удалось оно Бруту и Кассию, то следствия были бы одни и те же; будем утешать себя только тою мыслью, что дело римских заговорщиков было произведением обветшалости римского общества, дело же наших декабристов было произведением незрелости русского общества. Попытки не удались в самом начале; Цезарь восторжествовал, Бруты и Кассии погибли позорною смертью.

Но кто же был этот Цезарь? Это была воплощенная реакция всему, что шевелилось в Европе с конца прошлого века; на лице Николая всякий легко мог прочесть страшные «мани, факел, фарес» для России: «остановись, плесневей, разрушайся!» Эта колоссальная фигура Николая олицетворяла в себе ту бездну материализма, которая ныне давит духовное развитие России в его царствование. Деспот по природе, имея инстинктивное отвращение от всякого движения, от всякого выражения индивидуальной свободы и самостоятельности, Николай любил только бездушное движение войсковых масс по команде. Это был страшный нивелировщик: все люди были пред ним равны и он один имел право раздавать им по произволу способности, ум, все, что мы называем дарами божиими; нужды нет, что в этом нечестивом посягновении на права бога он беспрестанно ошибался: он не отставал до конца от своего взгляда и направления, до конца не переставал ненавидеть и гнать людей, выдававшихся из общего уровня по милости божией, до конца не переставал окружать себя посредственностями и совершенными бездарностями, произведенными в великие люди по воле начальства, по милости императора. Не зная, у какого другого деспота в такой степени выражалась ненависть к личным достоинствам, природным и трудом приобретенным, как у Николая; он не желал, подобно известному безумному императору, чтоб народ имел одну голову, которую можно было бы отрубить одним ударом; он хотел бы другого — возможности одним ударом отрубить все головы, которые поднимались над общим уровнем...

В таком-то господине воплотилась реакция тому движению, которое знаменует русскую историю во все продолжение XVIII и в первую четверть XIX века. Начиная с Петра до Николая, просвещение народа было целью правительства, все государи сознательно и бессознательно высказывали это; век с четвертью толковали только о благодетельных плодах просвещения, указывали на вредные следствия невежества в раскольниковстве, в суевериях. Самодержцы и самодержицы, разумеется, смотрели односторонне на дело, именно смотрели

на него с одной материальной стороны: им нужно было просвещение для материальных успехов, для материальной силы; они покровительствовали просвещению, заводили академии и университеты, ласкали ученых и поэтов, давали права образованным молодым людям, преследовали невежество, ибо представителями последнего был для них буйный, строптивый раскольник, смотрящий на их герб, как на печать антихристову; представителем же просвещения был профессор, говорящий на актах похвальные слова им, или поэт, подносящий торжественную оду. Так, некоторые родители очень довольны просвещением и не жалеют денег для образования детей своих, когда эти дети ловко танцуют и возбуждают удивление родных и знакомых, лепечут на иностранных, языках и в день именин подносят папаше и мамаше сочинение в стихах и прозе, где величают их виновниками своего блаженства и проч. Но ведь эти милые дети вырастают, и для пожилых родителей начинается горькое разочарование; милые дети начинают считать себя образованнее, умнее родителей, не хотят сообразоваться с их желаниями и обычаями, которые называют дикими, устарелыми, требуют себе самостоятельности, средств к свободной жизни; тут-то папаша и мамаша начинают горькие жалобы на просвещение, на молодых учителей-развратителей: воспитатели выучили детушек на свою голову, а теперь яйца и начали учить кур! То же самое случилось и с русскими благочестивейшими самодержавнейшими папашами и мамашами. Уже мудрая мамаша Екатерина II, которая писала такие прекрасные правила для воспитания граждан, на старости лет заметила вредные следствия своих уроков и сильно гневалась на непокорных детей, заразившихся правилами так любимых ею прежде учителей. Благодушный Александр I всю свою жизнь тосковал и жаловался на непокорность и неблагодарность детей, о благе которых он так заботился и даже хотел их выпустить на волю — под надзором Аракчеева. Но Николай I не имел такого благодушия. Он инстинктивно ненавидел просвещение, как поднимающее голову людям, дающее им возможность думать и судить, тогда как он был воплощенное: «не рассуждать!» При самом вступлении его на престол враждебно встретили его на площади люди, и эти люди принадлежали к самым просвещенным и даровитым, они все думали, рассуждали, критиковали, и следствием этого было 14-е декабря...

Что же было следствием? Все остановилось, заглохло, загнало. Русское просвещение, которое еще надобно было продолжать возвращать в теплицах, вынесенное на мороз, свернулось. День, стремление получать как можно больше, деля как можно меньше, стремление делать все кое-как, на шерамыгу, — все эти стремления, так свойственные нашему народу вследствие неразвитости его, начали усваиваться, поощряемые развращающим правительством; гимназий упали; университеты упали вследствие падения

гимназий; ибо в них качали поступать вместо студентов все недоученные школьники, отученные в гимназиях от серьезного труда, старающихся хватать вершки и заноситься, ищущие на профессорской лекции легкого развлечения, а не умственной пищи, для переваривания кетовой нужно собственное большое усилие. Таким образом, невежественное правительство, считая просвещение опасным и сжимая его, испортило целое поколение, сделало из него не покорных слуг себе, но вздорную толпу ленивцев, неспособных к серьезному, усиленному занятию ничем, совершенно неспособных к зиждательной деятельности и, следовательно, способных к деятельности отрицательной, как самой легкой. Мальчик, отученный еще в гимназии от серьезного труда, чрез это вовсе не становился на точку зрения правительства; он сохранил и развил в себе все либеральные замашки; он только привык отрицательно относиться ко всему, и, прежде всего, разумеется, к правительству...

Первое время нового царствования умы были заняты печальным исходом восточной войны. Александр II прежде других распоряжений по громадному наследству должен был заплатить страшный долг, заключить постыдный мир, какого не заключали русские государи после Прута. Новый император чувствовал всю тяжесть этого дела, весь позор его. Не знаю, оправдывал ли он себя внутренне, складывая всю вину на родителя, но историк, не оправдывая и не обвиняя, должен объяснить дело. В этом первом акте выразился характер нового властителя и его положение, его окружение. Рожденный без выдающихся способностей, без энергии, он получил образование самое одностороннее и, при умственной лени, не подумал употребить долгое время наследничества на пополнение недостатков образования чтением и обращением с людьми живыми и знающими; последнее, впрочем, если и не невозможно, то крайне трудно для наследников русского престола. Кроме обычных военных упражнений, Николай поручил своему наследнику начальство над военно-учебными заведениями, что могло иметь одну пользу — закрепить в памяти будущего государя предметы общего образования по учебникам кадетских корпусов, ибо наследник усердно посещал экзамены. В римской империи императоры восходили на престол из разных званий; в Российской империи Александр II взошел на престол из начальников военно-учебных заведений. При восшествии Александра II на престол внешние дела были вовсе не в таком отчаянном положении, чтоб энергическому государю нельзя было выйти из войны с сохранением достоинства и существенных выгод. Внутри не было изнеможения, крайней

нужды; новый государь, которого все хотели любить как нового, обратясь к этой любви и к патриотизму, непременно вызвал бы громадные силы; война была тяжка для союзников, они жаждали ее прекращения, и решительный тон русского государя, намерение продолжать войну до честного мира непременно заставили бы их попятиться назад. Для отнятия предлога к продолжению войны нужно было уступить Европе совокупное право распоряжаться турецкими делами, но не уступать ничего более — ни Дунайского устья, ни черноморского флота...

Несмотря на то, что новый император исполнял свято сыновние обязанности, относясь благоговейно к памяти Николая, которого всюду величал незабвенным, — с первого же раза почувствовалась реакция, перегибание дуги. Сам император, естественно, желал быть популярным, как добрый, хороший человек; кроме того, внутренними популярными преобразованиями желал заставить забыть позор внешних отношений. В природе его не лежало столько твердости, чтобы самому умерять эти два сильные стремления, и, главное, недоставало широты взгляда, а этот недостаток проистекал от незнания России, ее настоящего и прошлого, незнания умоначертания своего народа и положения различных общественных слоев; он действовал в потемках, часто шел не туда, спотыкался, озадачивался и трусил там, где нечего было бояться, и шел прямо, бодро туда, где была действительная опасность. Из окружающих не было никого, кто бы осветил для него эту тьму; все это были слепые; некоторые из них могли не одобрять стремлений императора, желали остаться при старом, Николаевском; некоторые желали идти потише, поосторожнее, но они обнаруживали свое неодобрение тайным или явным ворчанием, и никто не смел, а главное, не умел, высказать свое мнение пред императором: все это были лакеи, привыкшие пред господином только льстить и поддакивать, говорить одно приятное, для заискивания доброго расположения и ласки барина. Но, что хуже всего, эти господа, воспитанные в николаевском рабстве, не имели никакого гражданского мужества; они привыкли преклоняться пред всякою силою, и когда Александр II, по своей внутренней слабости и отсутствию внешней подпоры, не мог сдержать реакции, ослабил пружины власти и этим дал простор так называемому отрицательному направлению, когда снизу раздались громкие крики, — царская дворня, привыкшая только к крикам команды, приняла и эти крики за крики команды, смутилась, не знала, что делать, попавши между двух огней, — и началось постыдное двоедушие, двоеверие, начали ставить свечи обоим богам, несмотря на их противоположность; и кто чем более подличал, льстил, заявлял свою преданность пред представителями новой силы, всех больше либеральничал, и все это — в одно и то же время.

У всех, начиная с самого императора и его семейства, было стремление вырваться из николаевской тюрьмы; но тюрьма не воспитывает для свободы, и потому легко себе представить, как будут куролесить люди, выпущенные из тюрьмы на свет, сколько будет обмороков у людей от непривычки к свежему воздуху. Первым делом было бежать как можно дальше от тюрьмы, проклиная ее; следовательно, первое проявление деятельности интеллигенции должно было состоять в ругательстве, отрицании, обличении, и все, что говорило, и писало, бросилось взапуски обличать, отрицать, ругать; а где же созидание, что поставить вместо разрушенного? На это не было ответа, ибо некогда было подумать, некому было подумать, не было привычки думать, относиться критически к явлению, сказать самим себе и другим: «Куда же мы бежим, где цель движения, где остановка?» Для подобных вопросов требовалась твердость, гражданское мужество; но на эти качества давным-давно спроса не было, их давно перестали поэтому предлагать, они вывелись; была мода — молчать и не думать, и все хотевшие жить по моде молчали и не думали; теперь пришла мода — кричать и отрицать, бранить все существующее, и желавшие жить по моде принялись кричать, бранить, отрицать существующее. В конце концов должны были прийти к одному решению: создать мы не умеем, нас этому не учили, а существующее скверно, и потому надобно разрушить сплошь все — вот наше дело, а там новое, лучшее, создастся само собою.

Хотя было мало, очень мало, но все же были люди с авторитетом, люди науки, люди мысли и опыта, которым было не под стать бежать, как угорелым, неведомо куда, которые могли поднять голос против такого бегства, пригласить остановиться, подумать, поусумниться в пользе и необходимости бесцельной беготни. Таких людей было мало, и, главное, для укрепления их авторитета не было почвы, ибо в николаевское время все стремилось уничтожить эту почву; человек мысли и знания был гоним. Если он имел влияние в небольшом кружке, то вследствие оппозиции правительству, существующему порядку, вследствие того, что он необходимо относился отрицательно к существующему. Беда была в том, что в это несчастное время самый положительный человек был отрицателем и своим авторитетом приучал к отрицанию. Да и таких людей, повторяю, было очень мало, а большинство людей, стоящих наверху и долженствующих быть авторитетами, было таково, что подрывало всякий авторитет: это были глупцы, или, по крайней мере, невежды и некрасивые в нравственном отношении; над ними смеялись, их презирали, пред ними преклонялись только физически, служебно, с ненавистью в сердце, с проклятием на устах: где же тут могла быть привычка к авторитету, нравственная дисциплина?

Я сказал, что все, начиная с самого верха, стремилось выйти из положения, созданного Николаем. Прежде всех стремился император, который хотел быть популярным,

хотел громкими делами внутреннего преобразования загладить позор Парижского мира. Мир был заключен, чтоб поскорее иметь возможность заняться внутренними делами, расстройству которых приписывалась военная неудача; следовательно, восстановлением народных сил через перемену системы, посредством внутренних преобразований дать возможность России подняться опять и во внешнем значении, и утвердить его прочно. Этот естественный, правильный, необходимый вывод повторялся всюду и должен был торопить государя. Но как, с чего начать? Сначала ничего определенного не было. Необходимость освобождения крестьян вовсе не сознавалась, тем более, что Александр II был связан с наследнической стариной: будучи наследником, он высказывался решительно против освобождения; вот почему, ставши императором, из самолюбия, желания быть последовательным, он, в обращении к дворянству, также высказывался против освобождения. При неимении системы, определенных целей, как обыкновенно бывает, начали распускать, ослаблять вообще, пошла на это мода, началось либеральничанье. Но ясное дело, что как скоро почувствовали отсутствие целей, так начались движение и шум, странные телодвижения с целью размять члены, дать крови правильное обращение, слышались разные речи, которых прежде не слышно было. Стали бранить прошедшее и настоящее, требовать лучшего будущего. Начались либеральные речи; но было бы странно, если б первым же главным содержанием этих речей не стало освобождение крестьян. О каком другом освобождении можно было подумать, не вспомнивши, что в России огромное количество людей есть собственность других людей (причем рабы одинакового происхождения с господами, а иногда и высшего: крестьяне — славянского происхождения, а господа — татарского, черемисского, мордовского, не говоря уже о немцах). Какую либеральную речь можно было повести, не вспомнивши об этом пятне, о позоре, лежавшем на России, исключавшем ее из общества европейских, цивилизованных народов? Таким образом, при первом либеральном движении, при первом веянии либерального духа крестьянский вопрос становился на очередь...

В экономическом отношении, особенно в северной России, народонаселение в сто лет не увеличилось до такой степени, чтоб обязательный труд мог быть заменен вольнонаемным; северные землевладельцы должны были пострадать и сильно пострадать. Но дело в том, что в сто лет западное давление чрезвычайно усилилось; русский человек, по отношениям к остальной Европе, стал похож на человека с маленькими средствами, но случайно попавшего в высшее, богатейшее общество, и для поддержания себя в нем он должен тянуться, жить не по средствам, должен отказывать себе во многом, лишь бы быть прилично одетым, не ударить лицом в грязь в этом блестящем, дорогом ему обществе. Голоса помещиков были

заглушены либеральными криками литературы, сосредоточенной в столицах. Дело было произведено революционным образом: употреблен был нравственный террор; человек, осмелившийся поднять голос за интересы помещиков, подвергался насмешкам, клеймился позорным именем крепостника, — а разве у него была привычка поддерживать свое мнение? Пошла мода на либеральничание: люди, не сочувствовавшие моде, видевшие, что нарушаются их самые близкие интересы, пожимали плечами или втайне яростно скрежетали зубами, но противиться потому не могли, не смели и молчали. Как бы то ни было, переворот был совершен, с обходом самого трудного дела — земельного. Крестьян наделили землей, заплативши за нее помещикам. Красные торжествовали: у прежних землевладельцев отняли собственность и поделили между народом, замазавши дело выкупом, но выкуп был насильственный! Глупые славянофилы торжествовали, не понимая, на чью мельницу они подлили воды: им нужно было провести общинное землевладение! Во многих местах с самого начала уже крестьяне не были довольны наделом, что же будет с увеличением народонаселения? Для простого практического смысла крестьян естественное и необходимое решение вопроса представлялось в новом наделе, и они стали его дожидаться как чего-то непременно долженствующего последовать. Стали дожидаться.

Сначала дело обошлось спокойно, хотя наверху струсил, боялись народного восстания; в Петропавловской крепости приготовлены были средства к защите; положили обмануть ожидание: манифест был обнародован не 19-го числа февраля, а позднее, в последнее воскресенье к посту. Меры напрасные, происходившие от незнания состояния народа вообще и русского в то время в особенности. Крестьяне приняли дело спокойно, хладнокровно, тупо, как принимается массою всякая мера, исходящая сверху и не касающаяся ближайших интересов — бога и хлеба. Интеллигенция по недостатку внимания, изучения умоначертания низшего класса, изумлялась этому равнодушию, приписывала его великим качествам народа, или его тупости, кипятилась своим собственным жаром, подзадоривая себя опьяняющим словом «свобода»; а мужичок оставался спокойным, не обращая внимания на происходившее около него беснование. Простого человека свободой опьянить нельзя, ему надобно показать осязательно, что выгоднее; но этого вдруг показать было нельзя; целого установления, сколько-нибудь сложного, он не поймет, он не приготовлен к этому привычкою обращения мысли в широких сферах, школьным и книжным образованием; он озадачит вас вопросом, который покажется вам странным и мелким, но этот вопрос его прежде всего занимает, он об нем думал, а вы не думали, и не хотите призвать за мужиком права мысли, думания, только не о тех предметах и отношениях, о каких вы думаете. У вас, например, толкуют о том, что англичане привязаны к

свободе, французы к равенству; но простой человек всегда привязан к равенству, а не к свободе, потому что свобода отвлеченнее равенства. Скажите простому человеку: «Ты свободен», и он станет в тупик; что он будет такой же, как его барин, — это он поймет, но сейчас спросит: «А имение-то как же? Попролам, или все мне?» — и тут не теоретический коммунизм, которого он не понимает и никогда не поймет, ему нет дела до барина; тот может получить от царя (который, по мнению мужика, может все сделать) богатейшее вознаграждение; он ему завидовать не станет, ему нужно только обеспечить себя насчет ближайших земельных отношений...

Как бы то ни было, дело первой важности было совершено, и совершено на первых порах спокойно. Теперь должно было обратить внимание на следствия переворота, на переход от обязательного труда к вольному в стране, где при этом должно было встретиться сильнейшее препятствие — недостаток рабочих рук. До сих пор работник находился в опеке; опекун принуждал его работать и, разумеется, иногда принуждал более, чем сколько следовало. Это зло опеки, зло крепостничества теперь уничтожилось; но надобно было иметь в виду другое зло, зло свободы, — когда человек, свободный от принуждения, станет работать меньше, чем сколько следует, предоставленный одному принуждению, идущему от стремления поддержать свое благосостояние. Но чтоб это стремление было сильно, надобно известное развитие, знакомство с потребностями, которые очень желательно удовлетворить, привычка к свободному и правильному труду, нравственное влияние семейства и общества и т. д. Но в какой степени всего этого можно было ожидать от русского крестьянина, вступившего в самое опасное положение, переходное положение из неволи к свободе, когда является невидимое стремление воспользоваться отсутствием принуждения и работать как можно меньше. Всего важнее было, что при таком опасном положении, при возможности сделать самые дурные привычки крестьянин мог сохранять в целости свои умственные, нравственные, физические силы, чтоб он был трезв, — и тут, как нарочно, дают возможность пьянствовать. С полным бессмыслием, при отсутствии всякого внимательного отнесения к делу, литература пошла и против откупов, с требованием удешевления хорошей водки для простого народа, требуя легчайшей и действительнейшей отравы для него.

Откупа представляли большие злоупотребления; нужно было уничтожить злоупотребления, уничтожить самое учреждение, за которое никто не стал заступаться, хотя легко было заметить, в основе яростных нападок на откупа и откупщиков лежали зависть и ненависть к людям, обыкновенно быстро наживающим огромные состояния. Нужно было уничтожить злоупотребления; можно было уничтожить учреждение, заменив его лучшим, и при этом поддержать значительно высокую цену водки, чтоб не дать крестьянину быть

пьяным очень часто, чтоб по-прежнему ограничить случаи пьянства особенными днями, праздниками. Вместо того вдруг удешевили водку, которая чрез это приобрела название скверной памяти в истории русского общества, название дешевки. Тяжело сказать: появление дешевки было принято простым народом гораздо с большею радостью, чем освобождение; интерес был ближе; являлась возможность дешево добыть наслаждение опьянения и пользоваться им часто. И вот пьянство быстро распространилось в ужасающих размерах...

Но сейчас же явилась и другая причина дороговизны в стране, где относительно так мало рабочих рук, — явилась судорожная промышленная деятельность, стремление к освобождению капиталов, к приобретению на них как можно больших барышей, процентов. До сих пор сбережения сохранялись в правительственных кредитных учреждениях; с них получались очень умеренные проценты, но при дешевизне они были достаточны; с другой стороны, эти учреждения поддерживали сословие землевладельцев, дворян, доставляя им возможность выгодного закладывания имений. Теперь землевладельцы, в самую критическую для них минуту, потеряли поддержку знаменитого опекунского совета, который был опекуном не сиротским, а общедворянским; капиталы были вытеснены из государственных кредитных учреждений ничтожностью процента — надобно было, волею-неволею, помещать их в более выгодные предприятия. Первое из таких предприятий было построение железных дорог, предприятие, необходимое для страны, где надобно искусственно противоборствовать вредному влиянию неизмеримых пространств, препятствующих страшно общественному развитию. Последняя война показала ясно необходимость железных дорог для защиты государства от внешнего врага. Следовательно, против усиленного строения железных дорог не могло быть возражения. Но и здесь скоро перейдена была граница. Предприятие найдено выгодным, посредством него можно было легко обогатиться, и вот явилась мания железнодорожная. Для приобретения концессий стали употребляться разные неблагоприятные средства наверху. Стали проводиться железные дороги там, где были не нужны или где можно было с ними пообождать; обогащение посредством железных дорог заменило обогащение посредством откупов; явились железнодорожные тузы, возбудившие своим богатством сильную зависть и соревнование; материальный интерес выдвинулся, горячка обогащения начала овладевать; после железных дорог пошли промышленные предприятия, явились банки, платившие огромное жалованье служившим в них; началась биржевая игра, распалившая особенно страсть к обогащению, утвердившая господство материального множества людей обоого пола — в распаленном лихорадочном состоянии вследствие возможности обогатиться вдруг, без всякого труда,

усилия со своей стороны, по воле бессмысленной судьбы; страшный нравственный и даже физический вред от нервного напряжения, от бессонных ночей.

Крестьянин пьянствует и терпит нужду, не имеет, чем уплатить податей; он уже испытал правительственный или революционный способ действия для перемены своей судьбы и надеется, что таким же способом произойдет и новая перемена: правительство, царь нарежет крестьянам еще земли. А между тем для многих из них под руками — способ кормиться: отовсюду требования работника — на железную дорогу, на фабрику, в кабак; крестьянин, крестьянка — покидают деревню, семью; но этого рода заработки не способствуют к улучшению нравственному крестьянина: возвращаясь в деревню, если он и приносит несколько денег, зато приносит и сильнейшую привычку к пьянству, кутежу, разврату, приносит сифилис и распространяет его в деревне, где, по недостатку средств, народ гниет от гнусной болезни; приносит роскошь: до сих пор крестьяне носили то, что сами дешево приготавливали дома, — теперь пошли люди носить фабричные произведения. На фабрике, в заведении, на каких-нибудь постройках крестьянин входит в зависимость от хозяина или подрядчика, своего брата, разбогатевшего всеми неправдами и стремящегося всякими средствами выжать из работника лишнюю копейку. При злоупотреблениях крепостного права, в дурном помещике крестьянин видел барина, человека, высоко над ним стоящего, начальника, имеющего право управлять, владеть крестьянином; это была внешняя сила, гнет, который удручает, но не озлобляет, разве в крайних случаях. Но хозяин — это свой брат мужик, богатый мужик, притесняющий бедного мужика, притесняющий мелкими средствами; тут права никакого, кроме права сильного, и это право основано на деньгах. Такие отношения могли возбуждать только озлобление, ненависть.

Землевладелец, особенно в северных губерниях, разорился вследствие уничтожения крепостного права. Ему оставалось или продать все имение, или, по крайней мере, лес. Охотников покупать много, потому что дрова нужны на усиленную промышленность, особенно на железные дороги, — и вот началась страшная вырубка лесов, которая скоро возбудила вопли, вопли бесполезные, ибо причину устранить не могли.

С одной стороны — дороговизна, нужда в деньгах, уменьшение доходов, неудобство положения, даже разорение людей, которые, в какой бы то ни было степени, были представителями духовного развития в народе; с другой — примеры быстрого обогащения людей, которые успели, обдуманно или случайно, употребить выгодно свои капиталы; с третьей — шум, суетня преобразовательного движения, крик печати, — все это должно было произвести страшную смуту между людьми нисколько не приготовленными, сжатыми в своей деятельности царствованием Николая, или затянувшимися в это царствование в

мелких интересах, покорно повиновавшимся команде: «Не рассуждать!» или между развитыми, рассуждавшими, но в этих рассуждениях развившими только отрицательное направление, отрицательное отношение к деятельности нравственной; в болтовне, в словопрепирательствах они нисколько не приучили себя к деятельности положительной, способность к которой приобретается не на словах, а на деле. К тому же, вследствие привычки дрожать пред Николаем и его орудиями, русские люди дрожали пред каждою силою, пред каждым окриком, громким словом, и потому не были способны мужественно высказывать свои убеждения, упираться; при виде начавшейся кутерьмы многие поняли опасность положения и втихомолку сетовали на неправильность, революционность движения, но не могли громко заявить своего мнения, чтоб не прослыть ретроgrадами, жалеющими о крепостном праве и т. п. Да и в трудном положении они находились.

Крайности — дело легкое; легко было завинчивать при Николае, легко было ваять противоположное направление и поспешно-судорожно развинчивать при Александре II; но тормозить экипаж при этом спешном судорожном спуске было дело чрезвычайно трудное. Оно было бы легко при правительственной мудрости, но ее-то и не было. Преобразования проводятся успешно Петрами Великими; но беда, если за них принимаются Людовики XVI-е и Александры II-е. Преобразователь, вроде Петра Великого, при самом крутом спуске держит лошадей в сильной руке — и экипаж безопасен; но преобразователи второго рода пустят лошадей во всю прыть с горы, а силы сдерживать их не имеют, и потому экипажу предстоит гибель.

Сумятица, шум, возня в обществе, нисколько не приготовленном к повороту на новую дорогу, жившем долгое время одними ожиданиями перемены, но не определившем своих желаний, в чем именно должна состоять перемена, причем в сфере, которой принадлежало и руководство и которая упорно удерживала его в своих руках, — совершенная неспособность к руководству, совершенное непонимание самых первых вопросов: что, куда и откуда? Сильные энергиею, способностями, самостоятельностью люди были уничтожены системою Николая. Отыскать таких людей для новой деятельности был совершенно неспособен преемник Николая, по своей необразованности, лени, по страху пред новыми людьми, по сознанию своего неумения извлечь из них пользу, обсудить их мнения, разобраться в том разнообразном материале, который бы они предложили, откуда проистекало стремление вращаться только в привычном кружке людей издавна известных, посредственностей, не представлявших никакой опасности для самолюбия, людей, пред которыми не нужно было держать себя застегнутым, охорашиваться умственно и нравственно. Судьба не послала ему Ришелье или Бисмарка, но дело в том, что он не был

способен воспользоваться Ришелье и Бисмарком; у него были претензии, страх слабого человека казаться слабым, несамостоятельным; под внушениями этого страха он в одно прекрасное утро прогнал бы Ришелье и Бисмарка. Отсюда — страшная бездарность наверху, один выбор хуже другого; каждый выбор возбуждал неприятные толки, насмешки; уважение ко власти рушилось в самодержавном государстве: никакой системы, никакого общего плана действий, каждый министр самодержавствовал по-своему, — совершенная смута, — вместо того, чтоб править, судорожно задерживали, выводили из терпения; но как же выражалось это нетерпение? Для уяснения этого вопроса надобно обратиться к воспитанию, которое стали получать новые поколения с 1855 года...

1863–1878 гг.

(Соловьев С. К. Сочинения. — СПб., 1882. С. 339–348. Соловьев С.М. Избранные труды. Записки. М.:МГУ, 1983. С. 308–346.

Соловьев С. М. История России с древнейших времен. В 15 кн. — М., 1962–1963: Кн. VII. С. 11, 25–30, 41–113; Кн. IX. С. 439–553).

ЧЕМУ УЧИТ ИСТОРИЯ РОССИИ?

В. Ключевский

Народ и история. Наше поколение дряхлеет в мечтаниях и самообольщениях. Оно точно молодое дерево, застигнутое холодом во время весны: летнее солнце только сушит его тощие, худосочные листья. Известные учения, всем надоевшие измы выдохлись и брошены; высокообразованные и гуманно развитые люди, впрочем, сохранили немногие капли этих духов в виде благородных, гуманных убеждений и идей; но жизнь безжалостно докалывает эти пузырьки, сберегаемые для освежения и подкрепления слабых голов. Это похоже на игру черта с младенцем, и было бы чрезвычайно жестоко, если бы одно недоразумение не делало этой игры смешной и нелепой. Между тем, как дух времени, общество избивает этих младенцев, гниющих в более или менее возвышенных мечтах о будущих лучших временах,

...Когда народы, распри позабыв,
В великую семью соединятся.

Оно не хочет подумать о том, что эти младенцы — его же дети и живая улика отцов. В чем сущность и последний результат этих не только социально-коммунистических, но и тех благонамеренных, так называемых научных, мечтаний о человеке и обществе, которые наши сентиментальные педагоги-институтки внушают при всяком случае своим гимназическим отрокам? В полном предании себя на заклятие обществу, в сквозном проникновении себя идеями о благе людей, о поголовном братстве и равноправности всех на одинаковое развитие, на одинаковые наслаждения и удобства, в совершенном обезличении человека. Зачем же наше общественное сознание брезгливо отворачивается от этих бредней, как противных духу и строю нашей жизни, как подрывающих основы ее? Разве не тем же пропитан дух и строй нашей жизни? Разве не этим же протухшим салом смазываются все ее колеса?..

Благоговение пред народом, массой, пред чрезмерной нашей почвой, пред ее глубокой и широкой нетронутой натурой! Но ведь благоговение возможно только пред сознательной, духовной силой.

Имеет ли смысл преклонение пред громадой Мон-Блана? Наш народ свершил много великого, еще не признанного, не оцененного ни им самим, ни благоговеющими пред ним народопоклонниками. Но в создании этого великого действовали силы, подобные тем могучим и слепым силам, которые подняли громадные горы. Им можно изумляться, их можно страшиться; всего лучше спокойно изучать их действие и создание; но поклоняться им есть детская нелепость; подозревать в них таинственный глубокий разум есть

самообольщение; это значит прилагать к ним, как к стене горох, свои собственные идеи или измышления, рядить их в свои наряды, как дети рядят куклы, и потом вести с ними умные беседы, слышанные от папеньки и маменьки. Что материальнее, бессознательнее чувства самосохранения? А ведь только эта одна могучая сила двигала нашим народом в его великих, гигантских деяниях. Все его мало замечаемые пока историей создания запечатлены резкой печатью борьбы за жизнь. Слава народу, который выдержал эту борьбу; поучительна история этой борьбы для будущих веков; но этим еще не завершается его призвание; надо еще подождать, пока он оправдает свое право на жизнь, столь мужественно завоеванное; надо подождать, было ли за чем огород городить, — и тогда уже с благоговейным вниманием и надеждой искать в глубине его народности, его духа той глубоко поучительной разумной сути, которая даст нам чудесные истины для будущего. Эта разумная суть развивается и обнаруживается сама для разумно ищущего глаза только тогда, когда народ, совершив с победой материальную борьбу за жизнь, начинает жить на счет свободных, разумных сил, запасается свободными, разумными интересами. А эта предварительная черная работа, закладка материальных основ жизни, пусть продолжается она тысячелетие, проста и понятна, ибо в сущности везде и всегда одинакова; изучать ее ход надобно внимательно и долго, ибо это все же работа человека, человеческого общества; и в формах, какие она принимала, могущих разнообразиться до бесконечности, легла не одна черта оригинальная, характеризующая природу человеческого общества в известном положении или прознаменующая имеющий сложиться впоследствии, в другом периоде жизни, характер народа, его мирозерцание; но в массе, вышедшей из этой приговорительной работы, подозревать чудеса, искать необыкновенных уже образовавшихся свойств и явлений духа значит отведывать неиспеченное тесто. Эта масса всегда и везде одинакова в сущности; ее особенности внешние имеют только временное или местное значение, и было бы напрасно искать в ней свойств духа человеческого, имеющих вечное и общее значение, дополняющих развитие его неисчерпаемого содержания. Такое искание может только навредить тому более простому изучению, которого ждет совершившаяся приговорительная работа народа...

Самая строгая наука не обязывает быть равнодушным к интересам настоящего. Если история способна научить чему-нибудь, то прежде всего сознанию себя самих, ясному взгляду на настоящее. В этом отношении интересы текущей жизни, уроки ее, могут служить надежной руководящей нитью, готовым указанием на то, что наиболее требует разъяснения в своих началах и развитии, а равно готовой проверкой этого развития. Наше развитие совершалось под тяжелыми влияниями эпохи, когда изменялись не одни внешние отношения, когда переделывались и самые понятия...

Поколение людей, переживающих теперь третий десяток своей жизни, должно хорошенько вдуматься в свое прошлое, чтобы разумно определить свое положение и отношение к отечеству. Мы выросли под гнетом политического и нравственного унижения. Мы начали мнить себя среди глубокого затишья, когда никто ни о чем не думал серьезно и никто ничего не говорил нам серьезного. Затем последовали военные бури; с ними совпали первые минуты нашей сознательной жизни, но нам не были известны ни их причины, ни смысл, — да и не нам одним. Восточная война, падение Севастополя, Парижский мир — таковы были первые полученные нами самые свежие и сильные впечатления исторической жизни России, тяжкими камнями повисшие на нашей шее за грех отцов. Под бременем этих впечатлений мы принагнулись и присмирели.

В душе человеческой есть дивное спасительное свойство реакционной экспансивности. Достигнув высшей степени напряжения сузившись до крайности и здесь натолкнувшись на препятствие, не пускающее дальше, душа необъятно расширяется в прошедшее. Житейский толчок способен был бы привести в отчаяние, если бы эта расширяемость в прошедшее не являлась на помощь. Чем уже и тернистее становится путь человека, чем безнадежнее уходит он в себя, тем шире и глаже разворачивается в его воображении пройденная дорога. С прелестью теплого, насиженного гнезда восстает пред ним минувшее, восстает не в реальной смуте и холоде, а в той волшебной переделке, какую способно производить с прошедшим только пережившее его сердце. Опять поднимаются песни, когда-то звучавшие, оживают биения, когда-то бившие в сердце. Так всякий раз, когда останавливается движение жизни в будущее, является возможность вновь пережить прожитое, но пережить в другой, идеальной редакции, ибо здесь хозяйничает уже творческий дух, а не внешние силы. Вот где смысл тех камней, которыми и усеян путь человека и о которые он так часто спотыкается в своем вечном суетливом стремлении вперед.

История учит даже тех, кто у нее не учится; она их проучивает за невежество и пренебрежение. Кто действует помимо ее или вопреки ее, тот всегда в конце жалеет о своем отношении к ней. Она пока учит не тому, как жить по ней, а как учиться у нее, она пока только сечет своих непонятливых или ленивых учеников, как желудок наказывает жадных или неосторожных гастрономов, не сообщая им правил здорового питания, а только давая им чувствовать ошибки их в физиологии и увлечения их аппетита. История — что власть; когда людям хорошо, они забывают о ней и свое благоденствие приписывают себе самим; когда им становится плохо, они начинают чувствовать ее необходимость и ценить ее благодеяния...

Обычные явления в жизни народов, отсталых и почему-либо ускоренно бросившихся вдогонку за передовыми: 1) возникновение множества новых занятий, требующих наскоро

набранных сведений, полуобразования, и появление интеллигенции; 2) удаление этих новых классов от народной массы, неспособной так быстро усвоить новые знания и понятия, и 3) разрушение старых идеалов и устоев жизни вследствие невозможности сформировать из наскоро схваченных понятий новое миросозерцание, из не связанных с вековыми преданиями и привычками новых занятий сложить новые бытовые основы. А пока не закончится эта трудная работа, несколько поколений будут прозябать и метаться в том межеумочном, сумрачном состоянии, когда миросозерцание подменяется настроением, а нравственность разменивается на приличие и эстетику.

Изучение нашего прошлого бесполезно — с отрицательной стороны. Оно оставило нам мало пригодных идеалов, но много поучительных уроков, мало умственных приобретений и нравственных заветов, но такой обильный запас ошибок и пороков, что нам достаточно не думать и не поступать как наши предки, чтобы стать умнее и порядочнее, чем мы теперь.

Государство и правительство. Появление государства вовсе было прогрессом ни в естественном, ни в нравственном смысле. Я не понимаю, почему лицо, отказавшееся от самостоятельности, выше того, которое продолжает ею пользоваться, — почему первое совершеннее, развитие второго в общественном отношении. Говорят, прогресс в том, что приняты меры против злоупотребления личной свободой и эти меры основаны на идее общего блага, идее, лежавшей в основе государства и неведомой в прежней личной отдельности людей. Но опять непонятно, почему солдат, не умеющий пользоваться оружием и бросивший его, стал оттого более вооруженный. Притом теперь можно довольно самоуверенно утверждать, что государство вовсе не было выходом из состояния войны против всех. И до государства существовали общественные союзы, кровные, религиозные, которые ограничивали личную свободу во имя лучших побуждений, чем государство. Последнее заменило добровольное и естественное подчинение первых условным и принудительным. В смысле нравственном появление государства было полным падением. Существование государства возможно только при известных нравственных понятиях и обязанностях, признаваемых его членами. Эти обязанности и понятия очень резко отличаются от правил обыкновенной людской нравственности. Ничего не стоит заметить, что эта последняя гораздо нравственнее политической морали. Уже то, что политическая нравственность бесконечно разнообразится по времени и месту, ставит ее ниже частной, которая устояла почти в одинаковом виде от первого грешника до последнего, от Адама до

Наполеона III или Бисмарка. Между тем несомненно, что государство являлось плодом очень насущных потребностей общества. Остается точнее сообщить характер и происхождение этих потребностей. Вывод, впрочем, ясен сам по себе: потребности эти создавались различными неправильностями и затруднениями, развивающимися между людьми. Но едва ли здесь можно усмотреть какой-нибудь прогресс. Если человек сломает себе ногу, едва ли костыль его воротит ему прежнюю быстроту движения; если же этот костыль ослабит деятельность и здоровой ноги, то здесь едва ли что можно видеть, кроме печального падения. Известно, что безнравственная политическая мораль иногда искажала понятия естественной человеческой нравственности. Все можно и должно объяснять; но оправдывать и считать прогрессом — едва ли...

У нас нет ничего настоящего, а все суррогаты, подобия, пародии: quasi-министры, quasi-просвещение, quasi-общество, quasi-конституция, и вся наша жизнь есть только quasi una fantasia.

Павел, Александр I и Николай I владели, а не правили Россией, проводили в ней свой династический, а не государственный интерес, упражняли на ней свою волю; не желая и не умея понять нужд народа, истощили в своих видах его силы и средства, не обновляя и не направляя их к целям народного блага.

Закон жизни отсталых государств или народов среди опередивших: нужда реформ назревает раньше, чем народ созревает для реформы. Необходимость ускоренного движения вдогонку ведет к перениманию чужого наскоро.

1. Наша история XVIII и XIX вв. Коренная аномалия нашей политической жизни этих веков в том, что для поддержания силы и даже существования своего государства мы должны были брать со стороны не только материальные, но для их успеха и духовные средства, которые подрывали самые основы этого государства. Люди, командированные правительством для усвоения надобных ему знаний, привозили с собой образ мыслей, совсем ему ненужный и даже опасный. Отсюда двойная забота внутренней политики: 1) поставить народное образование так, чтобы наука не шла дальше указанных ей пределов и не перерабатывалась в убеждения, 2) нанять духовные силы на свою службу, заводя дома и за границей просвещенных борцов против просвещения. Трагизм положения в XIX в. — против правительства, борющегося со своей страной, стал просвещенный на правительственный кошт патриот, не верящий ни в силу просвещения, ни в будущее своего отечества.

2. Павел погиб от матерней придворной знати подобно азиатским деспотам. Либерализм его старшего сына — азиатская трусость, старавшаяся заслониться от этой старой екатерининской знати английской воспитанной либеральной знатной молодежью,

потом сволочью вроде Аракчеева. Но о связи нравственной с русским обществом он, может быть, думал только в первые годы. 14 декабря показало и случайному царю, и придворной знати их общего врага — дворянскую европейски образованную и пропитавшуюся в походах освободительными влияниями Запада гвардейскую офицерскую молодежь. Отсюда две тенденции нового царствования. Первая — обезвредить гвардию политически, сделав из нее со всей армией автоматический прибор для подавления внутренних массовых движений; здесь, а не в военно-балетном увлечении источник скотски бессмысленной фрунтовой выправки. Другая тенденция — вывести вольный дух в классах, доступных западным веяниям. С достижением обеих целей — возможность эксплуатировать непонятного и потому страшного зверя — народ. Двойной страх вольного духа и народа объединял династию и придворную знать в молчаливый заговор против России. На Сенатской площади голштинцы живо почувствовали свое нравственное отчуждение от страны, куда занес их политический ветер, и они искали опоры в придворном кругу, в который Николай старался напихать как можно больше немцев. С вольным духом в обществе надеялись справиться жандармскими умами, а с крестьянским народом — приставленными к нему пиявками в виде помещиков с их выборными предводителями и судебно-полицейскими агентами. Александр I относился к России как чуждый ей трусливый и хитрый дипломат, Николай I — как тоже чуждый и тоже напуганный, но от испуга более решительный сыщик.

В продолжение всего XIX века с 1801 г., со вступления на престол Александра I, русское правительство вело чисто провокационную деятельность; оно давало обществу ровно столько свободы, сколько было нужно, чтобы вызвать в нем первые ее проявления, и потом накрывало и карало неосторожных простаков. Так было при Александре I: Сперанский со своими конституционными проектами стал таким невольным провокатором, чтобы вывести на свежую воду декабристов и потом в составе следственной комиссии иметь несчастье плакать при допросе своих попавшихся политических воспитанников. При императоре Николае I правительственная провокация изменила тактику. Если нахальная аракеевщина, сменившая стыдливую, совестливую сперанщину, стремилась заговор вытолкнуть на вооруженное восстание, то Николай I своей предательской бенкендорфщиной старался вогнать общественное недовольство в заговор. Удачный исход опыта такой стратеми, испробованный над поляками, надолго парализовал русские конспиративные силы, разбил их на бессильные кружки, и дело петрашевцев ярко обличило их бессилие. Были негодующие люди, как Герцен, Грановский, Белинский, но не было угрожающих, и постыдное царствование императора Николая I благополучно кончилось севастопольским поражением и Парижским миром. Настоящим питомником русской конспирации было

правительство императора Александра II. Все его великие реформы, непростительно запоздалые, были великодушно задуманы, спешно разработаны и недобросовестно исполнены, кроме разве реформы судебной и воинской. Монарх мудро соизволял, призванные работники, как братья Милютины, Самарин, самоотверженно проектировали, а ввязавшиеся в дело министры камарильи вроде Ланского, Толстого, Валуева, Тимашева разделявали циркулярами высочайше утвержденные проекты в насмешки над народными ожиданиями. Царю-реформатору грозила роль самодержавного провокатора: Александр II вступал на путь первого Александра. Одной рукой он дарил реформы, возбуждавшие в обществе саше отважные ожидания, а другой выдвигал и поддерживал слуг, которые их разрушали. Полиция, не довольствуясь преследованием нелегальных поступков и чуя глухой ропот, хотела читать в умах и сердцах посредством доносов и обысков, отставками, арестами и ссылками карала предполагаемые помыслы и намерения и незаметно превратилась из стражи общественного порядка в организованный правительственный заговор против общества. Граф Толстой с Катковым создали целую систему школьно-полицейского классицизма с целью наделать из учащейся молодежи манекенов казенно-мундирной мысли, нравственно и умственно оскопленных слуг царя и отечества. Этими глубоко продуманными мерами преподаны были обществу, особенно подраставшему поколению, прекрасные уроки противоправительственной конспирации, плодотворно и быстро разросшейся на возделанной правительством почве общественного озлобления. Покушения участились и завершились делом 1 марта. Наступило царствование Александра III. Этот тяжелый на подъем царь не желал зла своей империи и не хотел играть с ней просто потому, что не понимал ее положения, да и вообще не любил сложных умственных комбинаций, каких требует игра политическая не менее, чем карточная. Сметливые лакеи самодержавного двора без труда заметили это и еще с меньшим трудом успели убедить благодушного барина, что все зло происходит от преждевременного либерализма реформ благородного, но слишком доверчивого родителя, что Россия еще не созрела до свободы и ее рано пускать в воду, потому что она еще не выучилась плавать. Все это показалось очень убедительно, и было решено раздавить подпольную крамолу, заменив сельских мировых судей отцами-благодетелями земскими начальниками, а выборных профессоров — назначаемыми прямо из передней министра народного просвещения. Логика петербургских канцелярий вскрылась догола, как в бане. Общественное недовольство поддерживалось неполнотой реформ или недобросовестным, притворным их исполнением. Решено было окорнать реформы и добросовестно, открыто признаться в этом. Правительство прямо издевалось над обществом, говорило ему: вы требовали новых реформ — у вас отнимут и старые; вы негодовали на

недобросовестное искажение высочайше даруемых реформ — вот вам добросовестное исполнение высочайше искаженных реформ. Так правительственная провокация получила новый облик. Прежде она подстерегала общество, чтобы заставить его обнаружиться; теперь она дразнила общество, чтобы заставить его потерять терпение. Результаты соответствовали изменению провокаторской тактики: прежде так или этак вылавливали подпольных крамольников, теперь и так и этак загоняли открытую оппозицию в подпольную крамолу.

Перестраиваются не политические понятия и общественные интересы, а политические чувства и социальные отношения; думают не о том, что делать и как устроиться, а о том, что можно сделать и захватить и чего нельзя, кто враг и кого потому надо побить и кого опасно бить. Политическая революция разделяется в социальную усобицу, и само правительство превращается в одну из социальных партий, только маскируясь в личину государственного органа...

После Крымской войны русское правительство поняло, что оно никуда не годится; после болгарской войны и русская интеллигенция поняла, что ее правительство никуда не годится; теперь в японскую войну русский народ начинает понимать, что и его правительство, и его интеллигенция равно никуда не годятся. Остается заключить такой мир с Японией, чтобы и правительство, и интеллигенция, и народ поняли, что все они одинаково никуда не годятся, и тогда прогрессивный паралич русского национального самосознания завершит последнюю фазу своей эволюции...

Древняя и новая Россия. Образованный русский человек знал русскую действительность, как она есть, но не догадывался, что ей нужно и что ей делать, т. е. не понимал ее, а не понимал потому, что ничего не признавал кроме нее, как своего единственного идеала, пока сама же она не раскрыла ему своих недостатков и не закричала о своих нуждах. Тогда впервые почувствовал русский интеллигент, что можно знать родную жизнь, не понимая ее, и что для понимания нужно знать еще нечто кроме нее; но как нужно знать, чтобы понимать, и что еще нужно знать — этого он не мог уяснить себе. В этом и состояло его недоразумение.

Вместе с великими благами, какие принесло нам византийское влияние, мы вынесли из него и один большой недостаток. Источником этого недостатка было одно — излишество самого влияния. Целые века греческие, а за ними и русские пастыри и книги приучали нас верить, во все верить и всему верить. Это было очень хорошо, потому что в том

возрасте, какой мы переживали в те века, вера — единственная сила, которая могла создать сносное нравственное общежитие. Но не хорошо было то, что при этом нам запрещали размышлять, — и это было нехорошо больше всего потому, что мы тогда и без того не имели охоты к этому занятию. Нам указывали на соблазны мысли прежде, чем она стала соблазнять нас, предостерегали от злоупотребления ею, когда мы еще не знали, как следует употреблять ее. Греки поступали точь-в-точь, как сказочный индийский царь со своим богобоязненным сыном, которому он для сбережения его целомудрия с детства внушал, что черти — это девицы, и который, увидев девиц, сказал чересчур осторожному папаше напрямки, что черти понравились ему больше ангелов. Когда нас предостерегают от злоупотребления тем, чего мы еще правильно употреблять не умеем, всегда можно опасаться того, что при встрече с опасным предметом мы прямо начнем злоупотреблением. Так случилось и с нами. Нам твердили: веруй, но не умствуй. Мы стали бояться мысли, как греха, пытливого разума, как соблазнитель, раньше чем умели мыслить, чем пробудилась у нас пыливость. Потому, когда мы встретились с чужой мыслью, мы ее принимали на веру. Вышло, что научные истины мы превращали в догматы, научные авторитеты становились для нас фетишами, храм наук сделался для нас капищем научных суеверий и предрассудков. Мы вольнодумничали постарообрядчески, вольтерьянствовали по-аввакумовски. Как старообрядцы из-за церковного обряда разорвали с церковью, так мы из-за непонятого научного тезиса готовы были разрывать с наукой. Менялось содержание мысли, но метод мышления оставался прежний.

Под византийским влиянием мы были холопы чужой веры, под западноевропейским стали холопами чужой мысли. (Мысль без морали — недомыслие; мораль без мысли — фанатизм)...

Вопрос о древней и новой России, как его ставили люди второй половины прошлого века, был только новой фазой в развитии старого и более общего вопроса об отношении России к Западной Европе. Этот общий вопрос, как известно, был возбужден людьми XVII в. как только началось у нас западное влияние. По характеру господствовавшего у нас тогда мирозерцания этот вопрос перенесли на религиозную почву и превратили его в шумный спор о религиозной опасности или безвредности общения с католическим и лютеранским, вообще еретическим Западом. То была неправильная постановка дела: западное влияние тогда не касалось религиозной жизни, а должно было удовлетворять нуждам государства, несло к нам не всю культуру Западной Европы, а только плоды ее технического знания, нужные для внешней обороны государства и для обогащения народа. Следствием неправильной постановки вопроса было неправильное его решение, сказавшееся в разделении русского церковного общества. Реформа Петра изменила дело; вопрос о

западном влиянии преобразился в оценку преобразовательной деятельности Петра, в суждение о том, что он сделал с Россией и как относится преобразованная им Россия к прежней дореформенной. Староверы XVII в. говорили: западное влияние вредно, потому что есть дело папы римского, «дяди антихристового», уготовляющего путь в православную Россию своему племяннику. Стародумы XVIII в. говорили: западное влияние полезно в пределах русских потребностей, но Петр, расширяя его, переступил эти пределы и вместе с полезным и необходимым заимствовал много лишнего и вредного, привил интересы, вкусы и привычки, которые испортили наши нравы, извратили понятия, сделали нас непохожими на себя. Этим предсказывалось сопоставление испорченной по-западноевропейски новой России с древней, чуждавшейся Западной Европы, Значит, вопрос был перенесен с религиозной почвы на нравственную. Для уяснения дела скажу наперед, что наш век дал вопросу еще новую, третью постановку. Дело не в реформе Петра и даже не в антихристе, а в общих законах исторического развития. Нам пришлось жить общей жизнью с Западной Европой; общение с ней — факт исторической необходимости; ее культура есть высшая форма человеческого развития; быть культурным человеком или народом значит усвоить культуру Западной Европы. Положим, все это так. Но нужно ли при этом культивируемому не западноевропейскому народу усвоить самые формы западноевропейского культурного общежития и для этого повторять все процессы и переломы политические, социальные, умственные и нравственные, какие пережила и переживает Западная Европа, вырабатывая свою культуру? Жить общей жизнью, значит ли жить одной жизнью? Вот в чем вопрос, на который одни отвечают да, другие нет. Как видите, дело пересаживается на новую почву. Как назвать ее? Очевидно, речь идет об историческом процессе, об общих условиях исторического развития, о законах исторического движения, а изучение этих законов, науку о свойствах и условиях действия исторических сил, строящих и движущих людское общежитие, мы уговорились называть социологией. Итак, вопрос о нашем отношении к Западной Европе в наш век перенесен с почвы нравственной на социологическую или, если угодно, философско-историческую.

Сам по себе вопрос о нашем отношении к Западной Европе и в этой, третьей, постановке не имеет ни научного, ни практического интереса, как не имел его и в прежней. Решение его ничего не уяснило и не уяснит нам в историческом процессе, не внесет в историческую науку нового тезиса. С другой стороны, наше отношение к Западной Европе установится, независимо от нашего решения вопроса о ней, силой условий, действующих помимо наших соображений и даже без нашего ведома. Однако этот вопрос, праздный сам по себе, по своему содержанию и цели, не был бесплодным по своим следствиям или

действию: он не направлял нашего отношения к Западной Европе, но будил нашу мысль, поддерживал охоту к историческому размышлению, оттачивал наше сознание и, таким образом, имел воспитательное или образовательное значение. Он был своего рода гимнастикой для наших умов: в жизни не придется лазить и кувыркаться по гимнастическим веревкам, но мускульная выправка, здесь получаемая, очень понадобится в тысяче житейских случаев. Наше отношение к Западной Европе определится не качеством соображений, какие мы внесем в вопрос об этом отношении, а количеством культурных средств, какие мы внесем в самое отношение, степенью нашего самосознания и самообладания, и не нашего только, но и западноевропейского, что уже нисколько от нас не зависит, но чем мы можем воспользоваться или не воспользоваться, а это, как и самая степень нашего самосознания и самообладания, будет зависеть от нашей привычки обдумывать какие-либо вопросы, задаваемые жизнью, от общего запаса пережитого и передуманного нами. Следовательно, в вопросе об отношении к Западной Европе важно не то, как мы решим его, а то, что мы его решили. Отношение установится, как мы сумеем, а не как решим или пожелаем это сделать, и — кто знает? — может быть, мы сумеем это сделать даже лучше, чем желали. Положим, мы решим подражать Западной Европе. А что если дела пойдут так, что там решат подражать нам? Что тогда станем мы делать с нашим решением? Ведь бывали же случаи, что у поселявшихся среди нас иностранцев мы перенимали то, что они сами бросали, меняя на наше: француженка замой надевала основательную русскую шаль в то время, когда русские дамы начинали щеголять в легкомысленных французских шляпках, вызывая заслуженный смех в своих догадливых подражательницах.

Сущность вопроса в тогдашней постановке: реформа принесла что-то лишнее, не дав нужного. Это нравы, обычаи, понятия, вместо материальных средств и научных знаний...

Условия влияния высших культур на низшие (размеры влияния и способы усвоения).

Состав цивилизации: 1) элементы общечеловеческие и 2) местные, национальные.

Элементы 1-го рода в их привычной связи и исторической последовательности: 1) знания (наука), 2) мастерства (искусство, техника, прикладные знания), 3) житейские удобства, результаты тех и других.

Элементы 2-го рода, вырабатываются на основе первых, но специально приуроченные к местным и временным условиям, нуждам и потребностям: 1) склад общежития политического и частного (законы, учреждения, экономические и юридические отношения, нравы, обычаи); 2) национальные привычки (домашняя обстановка, пища, одежда, ежедневный обиход), 3) народный темперамент или характер (способ мышления и

чувствования и манера выражать то и другое), как результат склада общежития и национальных привычек.

Первого рода элементы — общее достояние человечества, потому что создаются общими свойствами и потребностями человеческой природы, хотя и облакаются в местные национальные формы; вторые — исключительная принадлежность создавшего их народа, недоступная и ненужная для других.

Схема в простейшем виде: что один человек может заимствовать у другого (звания, умения, удобства и правила жизни, внешние манеры) и что заимствовать невозможно или не нужно (походка, покрой платья, вкусы, привычки, чувства, способности, жесты, гримасы — физиономия)...

Русская историография. Русская история в составе умственных интересов образованного русского общества не занимает особенно видного места. Интерес к ней непосредственный, живой, но сдержанный, ближе к недоумению, чем к равнодушию. Такое отношение объясняется с обеих сторон, со стороны как историков, так и самого общества, даже с некоторых других сторон, независимых ни от историков, ни от общества.

Людям надобится прошедшее, когда они уяснят себе связь и характер текущих явлений и начнут спрашивать, откуда эти явления пошли и к чему могут привести. Когда, например, в обществе почувствуется, что обычный ход дел, составляющих ежедневное содержание жизни, начинает колебаться и расстраиваться, обнаруживать противоречия и создавать затруднения, каких прежде не ощущали, это значит, что условия жизни начинают приходить в новые сцепления, наступает перемена, складывается новое положение. Тогда рождается потребность овладеть ходом дел, возникших как-то нечаянно, самопроизвольно, «в силу вещей», как принято выражаться о явлениях, возникавших без участия чьей-либо сознательной воли. Чтобы освободить свою жизнь от такого стихийного характера и дать разумное направление складывающейся новой комбинации отношений, люди стараются выяснить цель, к которой ее желательно было бы направить, а эта цель обыкновенно составляется из совокупности интересов, господствующих в данную минуту. Эта естественная потребность в целесообразности и обращает умы к прошедшему, где ищут исторического оправдания этим интересам и практических указаний на средства к достижению желаемой цели. В усилении исторической любознательности всегда можно видеть признак пробудившейся потребности общественного сознания ориентироваться в новом положении, создавшемся помимо его воли или при слабом его участии, и это

пробуждение в свою очередь свидетельствует, что новое положение уже достаточно упрочилось и раскрылось, чтобы дать почувствовать свои последствия. Общественное сознание тем и отличается от личного, что последнее обыкновенно идет от установленных причин к возможным последствиям, а первое, наоборот, расположено восходить к искомым причинам от данных последствий.

Последние четыре десятилетия минувшего века нельзя признать особенно благоприятным временем для правильного и деятельного развития в нашем обществе склонности к историческому размышлению, особенно об отечественном прошлом. Во все это время обществу было не до прошлого: общее внимание было слишком поглощено важностью настоящего и надеждами на ближайшее будущее. Это не значит, что положение, создавшееся реформами, являлось неожиданно, независимо от общественного сознания. Напротив, оно давно ожидалось и требовалось мыслящим обществом, как вполне созревшая народная потребность, даже как историческая необходимость, и значительно запоздало явиться. Чувство этой просрочки давало реформам несколько ускоренный, торопливый ход, неудобства которого не могли не отразиться на их успехе. Но реформы предпринимались по обдуманному плану, строились на началах, признанных наилучшими, обсуждались в учреждениях, в печати и в обществе, соображались с наличными условиями. Правда, проекты реформ страдали иногда недостатком точных и полных исторических справок. Но готовых исторических указаний, практически пригодных, преобразователи не находили ни в общественном сознании, ни в исторической литературе, а сами они не могли же стать и историками-исследователями. Затруднение состояло не в самих реформах, а во взгляде общества на их возможные последствия. Здесь допущена была некоторая благодушная непредусмотрительность, создавшая два момента, одинаково неблагоприятных для исторического сознания. Вначале господствовало убеждение, что начинания, истекающие из столь благих намерений и благонадежных соображений, сами собой, естественно принесут плоды, соответствующие своим источникам. Дела и дали идти своим естественным ходом, а сами стали нетерпеливо ждать предположенных плодов, желая только, чтобы не мешали естественному течению дел, той же «силе вещей». Это был первый антиисторический момент в общественном сознании, возбужденном реформами. Чего могли искать в темном прошедшем, когда в близкой дали виднелось светлое будущее? Ввиду желанного берега охотнее считают, сколько узлов осталось сделать, чем сколько сделано. Что может историческое изучение изменить или предотвратить в судьбе, предрешенной бесповоротно? Оптимизм так же мало расположен к историческому размышлению, как и фатализм.

И дела пошли своим естественным ходом...

Стороннему наблюдателю Россия представлялась большим кораблем, который несется на всех парусах, но без карт и компаса.

Так из преобразовательных последствий, недостаточно предусмотренных и направленных, сложилось положение, с которым чувствовали себя не в силах справиться. От всех этих порывов, колебаний из стороны в сторону, преемственных подъемов и понижений народного уха в общественном сознании отложилось, кажется, только одно несколько выяснившееся историческое представление — что русская жизнь сошла со своих прежних основ и пробует стать на новые. Русская история опять разделилась на две неравные половины периода, дореформенную и реформированную, как прежде делилась на допетровскую и петровскую, или древнюю и новую, как они еще назывались. Это представление было вторым антиисторическим моментом общественного сознания, вышедшим из одного источника с первым, — из невнимания к исторической закономерности и к наличности исторически нажитых сил. Повторяя, что реформированная Россия сошла со старых основ своей жизни, не хотели припомнить, что в исторической жизни таких чудес механических перемещений не бывает. Это была простая неудачная метафора, взятая из порядка понятий, совсем не соответствующего историческому процессу, — одна из тех метафор, с помощью которых люди заставляют себя думать, что они поняли непонятное. Ничего особенного не случилось с Россией в царствование императора Александра II: случилось то, что бывало со всяким историческим народом, что бывает со всяким человеком, не успевшим умереть в детстве, — обнаружилась работа времени, наступил переход из возраста в возраст, из подопечных лет в совершеннолетие, подошел призывный год. В истории каждого исторического народа бывал период, когда правительство, по какому бы шаблону оно ни было сформировано, думало и действовало за управляемое им общество, опекало его, предписывало ему образ мыслей, чувств и верований, правила благоповедения. Потом, когда пробивал урочный час, правительство, чуткое к движению времени, присматривавшееся, как ползет историческая стрелка, понемногу ослабляло бразды правления и, не выпуская их из рук, нечувствительными манипуляциями правящего ума приучало народ своими зрелыми глазами отыскивать свою историческую дорогу. Особенностью русского совершеннолетия было только то, что оно наступило немного поздно, что русский народ слишком долго засиделся сиднем в своем детстве, что, впрочем, случилось и с одним из его богатырей, что он освободился от крепостного права (когда его старшие европейские братья успели забыть, что оно у них когда-либо существовало, и очистили свой быт, свои нравы от всяких следов его). Император Александр II совершил великую, но запоздалую реформу России: в величии реформы — великая историческая

заслуга императора; в запоздалости реформы — великое историческое затруднение русского народа...

Исторический закон — строгий дядька незрелых народов и бывает даже их палачом, когда их глупая детская строптивость переходит в безумную готовность к историческому самозабвению. А потому в этом самодовольном равнодушии к истории был допущен один немаловажный исторический недосмотр. Любуясь, как реформа преображала русскую старину, недоглядели, как русская старина преображала реформу. Старая русская приказная рутина сказывалась в том, что важнейшие акты верховной воли, внушенные доверием к здравому смыслу и нравственному чувству народа, изменялись в своем смысле или (искажались) в исполнении подозрительными дополнительными распоряжениями исполнительных органов. Разве не та же старинная полицейская пугливость обличала сама себя склонностью в неосторожной вспышке незрелой русской политической мысли видеть подкоп под вековые основы русского государственного строя и карать ее соответственным испугу градусом восточной долготы? И общество не всегда оказывалось на высоте положения, создавшегося реформами. Высшие классы, образованные и состоятельные, обязанные показать своим примером, как следует переходить со старых основ жизни на новые, дали в уголовном отделении окружных судов ряд публичных представлений, нежелательно ярко обозначивших нравственный уровень, на котором покоились их нравы. А что сделали крестьяне из дарованного им сословного управления, всем известно. Отвращение к труду, воспитанное крепостным правом в дворянстве и крестьянстве, надобно поставить в ряду важнейших факторов нашей новейшей истории. Торжеством этой настойчивой работы старины над новой жизнью было внесение в нравственный состав нашего общества нового элемента — недовольства, и притом неискреннего недовольства, в котором недовольный винил в своем настроении всех кого угодно, кроме самого себя, сваливал грех уныния с больной головы на здоровую. Прежняя общественная апатия уступила место общему ропоту, вялая покорность судьбе сменилась злоязычным отрицанием существующего порядка без проблеска мысли о каком-либо новом.

Истинная подкладка этого недовольства очевидна: это общий упадок благосостояния при частных искусственных исключениях. Недовольство обострялось чувством бессилия поправить положение, в создании которого все участвовали и все умывали руки. При таком настроении не могло образоваться живой связи между русской историографией и общественным сознанием. Общество недоумевало, с чем или зачем обращаться к своему прошлому, не ставило историческому исследователю внятных запросов, а исследователь не догадывался, на что ему отвечать, когда его ни о чем не спрашивали. Историография шла

особняком, руководствуясь своими собственными академическими соображениями, состоянием материала, очередью научных вопросов, указаниями иностранной исторической литературы.

Такое отношение, по-видимому, приходит к концу; по крайней мере желательно, чтобы оно возможно скорее изменилось. Противоречия положения настолько выяснились, затруднения, из него вытекающие, чувствуются так больно, что само собою рождается желание дать делам какое-либо менее случайное направление. В общественном сознании, если не ошибаемся, все настойчивее пробивается мысль, что предоставлять дела так называемому естественному им ходу значит отдавать их во власть дурных или неразумных сил, что историческая закономерность состоит не в отсутствии сознательности, не в стихийности жизни. Пробуждение этой мысли — признак потребности овладеть положением, создавшимся плохо предусмотренной и урегулированной борьбой неуравновешенных сил. Руководящим мотивом этой потребности должно быть убеждение, что мы вовсе не на другом берегу, лишенном всякой материковой связи с покинутым, что мы идем своей старой исторической дорогой, несем с собой средства, выработанные вековым народным трудом, недостатки, воспитанные в нас былыми народными несчастьями, задачи, поставленные нам условиями нашего прошлого. Если мыслящий русский человек, разделяя такой поворот общественного сознания, обратится к текущей русской историографии, он найдет ее приблизительно в таком состоянии, если его представить в самых общих очертаниях...

В этом отношении наше читающее общество оценило «Очерки по истории русской культуры» г. Милюкова, представившего в нескольких цельных параллельных обзорах ход развития русской жизни с разных сторон: экономической, государственной, социальной и духовно-нравственной. Составить цельное и отчетливое представление о ходе нашей исторической жизни тем труднее читателю, что в нашей литературе, если не считать учебных руководств, доселе нет обстоятельного прагматического изложения событий русской истории, доведенного хотя бы до половины минувшего столетия. Покойный С. М. Соловьев не думал продолжать свою «Историю России» далее конца XVIII в., и смерть прервала ее на эпохе Кучук-Кайнарджийского мира 1774 г. Господин Иловайский три года назад в IV томе своей «Истории» не спеша подошел к концу царствования Михаила (Федоровича) и недавно известил о скором выходе в свет V тома.

Работа русской историографии идет ровным ходом и в довольно миролюбивом духе. Былые богатырские битвы западников со славянофилами затихли и вместе со своими богатырями отошли в область героической эпопеи русской историографии. Постепенно

растворяясь новыми влияниями и взаимными уступками, оба направления сближались и привыкали друг к другу, теряли сектантскую исключительность и, ассимилируясь, жизненной частью своего состава входили в общее сознание, даже становились общим местом, а что было в них специфического, неуступчивого и нерастворимого, то пытались кристаллизироваться в новые сочетания воззрений и гипотез под названиями государственников и народников, или как еще они в свое время назывались...

Что такое историческая закономерность? Законы истории, прагматизм, связь причин и следствий — это все понятия, взятые из других наук, из других порядков идей. Законы возможны только в науках физических, естественных. Основа их причинность, категория необходимости. Явления человеческого общежития регулируются законом достаточного основания, допускающим ход дел и так, и этак, и по третьему, т. е. случайно. Для историка это безразлично. Для него важно не то, от чего что произошло, а что в чем вскрылось, какие свойства проявили личность и общество при известных условиях, в той или иной комбинации элементов общежития, хотя бы данное сочетание этих условий и элементов было необъяснимо в своем происхождении, т. е. казалось совершенно случайным. Историк должен отказаться от объяснения причин самих в себе: они ему понятны только как следствия предшествующих состояний, а следствия — только новые проявления сил и свойств личности и общества при новых условиях, в новых сочетаниях элементов общежития. Если историк хочет говорить своим языком, соответствующим природе изучаемого им предмета, он может говорить не о причинах и следствиях, категориях, взятых из области логического мышления. Сводя исторические явления к причинам и следствиям, придаем исторической жизни вид отчетливого, разумно-сознательного, планомерного процесса, забывая, что в ней участвуют две силы, которым чужды эти логические определения, общество и внешняя природа, имея в виду, что история — процесс не логический, а народно-психологический и что в нем основной предмет научного изучения — проявление сил и свойств человеческого духа, развиваемых общежитием, подойдем ближе к существу предмета, если сведем исторические явления к двум перемежающимся состояниям — настроению и движению, из коих одно постоянно вызывается другим или переходит в другое. Из каких элементов складывается и в каких явлениях обнаруживается то и другое состояние? Эта постоянная взаимная смена обоих состояний делает исторический процесс похожим на движение щепки, брошенной в волнообразно текущий поток; разве здесь есть место для причинной связи и можно ли признать причиной движения щепки ту волну, на хребте которой мы ее видим в данное мгновение и которая сейчас же исчезнет, сменяясь с другою, сейчас же возникшей? В прагматическом, т. е. логическом, построении истории

необходим посредствующий момент, связующий причины со следствиями. Таким моментом признается исторический факт, событие как произведение причин и вместе производитель следствий. Но, разбирая составные элементы исторического процесса, мы не найдем такого посредника. Исторический факт не идет в составе самого процесса, а выделяется из него, как проявление — и притом случайное проявление — действия сил, работавших в процессе, подобно дыму, выделяющемуся из горения. Факт имеет свой источник в процессе, но сам не становится источником следствий, после него обнаруживающихся.

Сказка бродит по всей нашей истории, разыскивая и нашептывая разумные причины и дальновидные соображения там, где действовали наследственные недоразумения и слепые инстинкты, и волшебной феей навеявая золотые сны сонным людям, которые, очнувшись, с сонником в руках освещают ими свою тусклую стихийную жизнь. Не ищите в нашем прошедшем своих идей, в ваших предках — самих себя. Они жили не вашими идеями, даже не жили никакими, а знали свои нужды, привычки и похоти. Но эти дедовские безыдейные нужды, привычки и похоти судите не дедовским судом, прилагайте к ним свою собственную, современную вам нравственную оценку, ибо только такой меркой измерите вы культурное расстояние, отделяющее вас от предков, увидите, ушли ли вы от них вперед или попятитесь назад. Так называемая историческая объективность — бэконовская *virge sterilizes*⁶.

Привозная с Запада наука долго оставалась бесплодной в русской жизни, потому что встретила с житейскими понятиями и порядками, совсем чуждыми этой науке, и не трогала, перерабатывая их по-своему, оставаясь нарядной и бездеятельной роскошью отдельных умов.

Историк задним умом крепок. Он знает настоящее с тыла, а не с лица. Это недостаток ремесла, как кривизна ног у портного. Отсюда оптимизм историков, их вера в нескончаемый прогресс, ибо зад настоящего краше его лица. У историка пропасть воспоминаний и примеров, но нет ни чутья, ни предчувствий...

Ближайшие задачи исторического изучения — не выяснение исторических законов. Пока предстоит выяснить не сущность исторического процесса, а только метод его изучения и возможные границы исторического познания. И не все исторические факторы вошли в историческую работу в полную меру своих сил. Так, еще трудно уловить действие философии на склад и ход общежития. Пока действие ограничивается только выяснением задач и приемов познания и природы познающего разума, но ее идеи о сущности вещей, о смысле бытия не направляли людских отношений, не влияли на настроение масс. Но если

⁶ Бесплодная дева (*лат.*).

философия доселе этого не делала, отсюда не следует, что она не может этого делать. Может быть, философия ждет такой комбинации житейских условий, такого подъема умов, который сделает возможной перестройку людских отношений и интересов согласно с философски выясненным смыслом бытия, Тогда расширятся и пределы исторического познания и можно будет внести в учебник истории параграфы о философах, теперь являющиеся в нем красивыми, но бесцельными сказками.

1867–1909 гг.

(Ключевский В. О. Неопубликованные произведения. — М.: Наука, 1983. С. 180–187; 358–866.
Ключевский В. О. Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории. М.: Наука, 1968. С. 228–317)

ПИСЬМА О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ РОССИИ

Р. Фадеев

Не подлежит сомнению, что историческое развитие, выразившееся у каждого европейского народа разнообразными формами общественного устройства, поглощено в России единственной и исключительной формой — развитием бюрократической опеки до крайнего предела, т. е. механическим отношением правительства к текущей народной жизни и наоборот...

Во всем объеме русской послепетровской жизни нельзя отыскать ни одной стороны, которая не была бы подведена под бюрократическую мерку, не уложена в ящик, препятствующий естественному росту, покуда ящик цел. Слава Богу, у нас до сих пор ящичков не ломают, но в них задыхаются — это верно. Какой может быть при таких условиях подъем нравственных сил народа, источника всего его внешнего могущества и всей его внутренней жизненности?

Но, кроме того, русская владычествующая бюрократия, имевшая когда-то значение орудия власти для перевоспитания народа, а ныне служащая только к подавлению народного роста, не может устоять долго сама по себе, независимо даже от ее несвоевременности. Она неизбежно приведет государство к банкротству...

Сущность бюрократического устройства заключается в том именно, что мелкие относительно чиновники управляют в действительности делами и сами решают вопросы о размере средств, потребных для их ведомств. Как доказать, что нужно или не нужно для улучшения письменного управления таким-то гражданским ведомством, особенно при нашей системе, ставившей трех и четырех чиновников на место одного европейского — отчасти вследствие крайней сложности нашего делопроизводства, отчасти по заведенному обычаю привлекать весь верхний слой населения к государственной службе. Вследствие равнодушия, порождаемого невозможностью пролить свет на дела этого рода (как то слишком хорошо известно всей России), у нас давно уже перестали строго взвешивать относительную пользу какого-либо вновь испрашиваемого расхода, а тем менее вести очередь необходимым тратам, и приняли более простой способ: давать просимые средства, если в ту пору министерство финансов не особенно стеснено и по личным отношениям не хочет препятствовать; в противном случае — отказывать в самой вопиющей потребности, хотя бы то вело к прямому ущербу государственного интереса.

Но, таким образом, самые необходимые преобразования остаются в прямой зависимости от открытия новых источников дохода. Это явление, исключительно нам свойственное, совершенно понятно: когда преобразование не преобразовывает старого, а только дополняет его новым, то конечно оно становится невозможным без предварительного приращения доходов. Из этого, однако, следует и доказывается двумя последними веками нашей истории, что бюрократическое устройство, остающееся господствующим, господствует действительно и не допустит нового насчет старого, что оно фактически поставит «veto» законодателю в его целях...

Если существует возможность рассчитать с некоторою приблизительностью, насколько господство бюрократического управления разоряет русское государственное хозяйство, то как исчислить, чего оно стоит хозяйству народному, насколько задерживает его рост своею регламентацией, произвольными решениями издали и бесконечным затягиванием всякой меры, необходимость которой давно создана на месте. Можно сказать одно: если б верховной власти угодно было поручить доверенному лицу (не комиссии) собрать отзыв земских и городских учреждений и отдельных обывателей в каком бы то ни было углу России о последствиях тяготеющей над всем бюрократической опеки, то в отзывах оказалось бы редкое в этом свете единогласие, с тем выводом, что при таких порядках серьезному человеку нет охоты браться за ведение общественных дел.

Но на виду стоит только ущерб гласный, а сколько же составляет негласный? Не охотно, но обязательно должен повторить слова, раздающиеся ныне чаще всяких других в русской земле и против которых не слышно ни единого возражения: в последние два десятилетия продажность и незаконные поборы возросли у нас в несколько крат. Появление подобного растления составляет постоянный признак общественных учреждений, утративших жизненную силу и веру в себя и в то же время подчиненных лишь самим себе, без надзора со стороны. Деятели таких учреждений, сознавая вместе полную безнаказанность и свое бессилие для общего дела, начинают без зазрения совести обращать данную им власть в пользу личного интереса; а как язва лихоимства никогда не переводилась в России, то при таких условиях она и разрослась до небывалых размеров, а что всего хуже, до небывалой беззастенчивости. Безобразные оправдания присяжными казнокрадства и продажности чиновников показывают наглядно, что общее мнение не ставит их более в вину личности. Мы пришли к такому нравственному разложению роковым склоном. В начале текущего столетия преобразования Сперанского сняли с русской администрации последнюю тень контроля, принадлежавшего сенату, общественное мнение не имеет у нас значения, дела ведутся в сущности второстепенными агентами, которым нет выгоды уличать друг друга;

наша бюрократия осталась предоставленной самой себе, в виду удесятерившихся денежных оборотов, зависящих от ее развращения. Многие ли люди устоят против подобных искушений? Тем не менее, у русской государственной власти, кроме этого малонадежного орудия, нет никакого иного для воздействия на страну; с таким орудием правительству предстоит идти навстречу самым загадочным вопросам будущего, очевидно надвигающимся на нас...

Таким образом, для охранения правильного развития русской жизни правительство вооружено одною силою — казенною администрацией, не поддающейся присмотру по своей громадности и разнородности, и представляющей по своей отчужденности от народной жизни богатое поле для распространения тех именно вредных уклонений, которые приходится и придется еще подавлять.

Исключительное владычество бюрократии имело, конечно, свои причины в нашей истории, как всякое явление действительности. Оно возникло в ту еще пору, когда московские великие князья стали собирать Россию и подводить под один уровень самостоятельные прежде города и области; но разрослось и все поглотило с того времени, когда великий Преобразователь взял на себя, независимо от управления, еще и воспитание своего народа. При такой задаче правительство могло доверять только своим людям, выбранным и наставленным им чиновникам, не потому чтобы оно сомневалось в верности прочих, а потому что эти прочие не соответствовали духу нового направления. Вследствие того правительство временно выходило из своей прямой задачи — общего руководства народной жизнью; оно уже не руководило, а все делало своими руками, исключительно чрез своих людей, как великий император делал собственноручно модели на показ своим неумелым кораблестроителям. Толчок был дан, правительственная опека разрослась и охватила самомаleastшие проявления общественной деятельности, можно сказать, вытравила из России самодеятельность, а вместе с тем приучила всякого русского человека, выучившегося с грехом пополам геометрии, жить не иначе, как на счет государства. Затем преобразования Сперанского закрыли последний промежуток, оставшийся между верховною властью и администрацией, слили их в одно, облекли последнего чиновника полномочием и окончательно обратили Россию в чиновничье царство. Кроме этих преобразований Сперанского, никогда не имевших достаточного повода и заслонивших бюрократическою стеною верховную власть от народа, создавшемуся порядку была, конечно, в свое время законная причина, но порядок пережил свой законный срок и ведет в настоящее время не к силе, а к обессилению правительства.

При даровании России земских учреждений было упущено из виду, между прочим, то соображение, что в государстве исключительно бюрократическом, как оно установилось в течение воспитательного периода, плодотворная земская деятельность не может легко развиваться; для нее не остается ни людей, ни вещественных средств. Люди поглощаются казенной службой, содержание их поглощает все доходы земли... Земская жизнь может вполне развиваться у нас тогда лишь, когда правительство решится гласно признать свою воспитательную задачу оконченной и возвратится в круг естественных отправлений государственной власти, сокращая сообразно с тем служебный состав и расходы на него, возвращая излишек людей и денег земству. Столь великое преобразование, венчающее прежние преобразования царствования, разрешилось бы двумя последствиями неизмеримой важности.

1) На место нынешней, выбивающейся из рук администрации, которую можно назвать гуртовой, явилась бы администрация иного склада, соразмерная по составу и стоимости со своей задачей, набираемая из общественных деятелей, уже выказавших себя, дорожающая своим положением и уважаемая, всегда исправимая в личном составе, доступная надзору, сознающая себя вполне правительственной. С такою администрацией можно будет проводить, наконец, не форму только, а дух мероприятий.

2) За администрацию станет тогда не воображаемая, а действительная, живая Россия, в лице своего сознательного слоя и крестьянских обществ, слоя, к которому можно будет обращаться не бесплодно. Русские области снова наполняются образованными и влиятельными людьми, хозяевами своей местности, а при новых вещественных средствах, возвращаемых земле, развитие благосостояния и просвещения двинется вдвое быстрее. Кроме того, сокращение нынешних непомерных казенных штатов соразмерно с действительной потребностью даст еще значительную экономию и вследствие того возможность облегчить рабочий народ, ныне непосильно обремененный. Земское самоуправление станет прямым и ответственным продолжением царской службы в тех отношениях, которые ускользают от глаз и сознательного руководства государственной администрации. Связное общество не потерпит в среде своей противообщественных явлений, присмотрит за ними лучше всякой полиции, поможет правительству искоренить их ради собственного спокойствия.

По личному моему убеждению (должно сказать, что убеждение это начинает преобладать у нас вне служебной среды) в одном лишь постепенном развитии земства может заключаться наша родная конституция, сохраняющая за Россией ее русскую личность, признающая Царя Царем, а не главою исполнительной власти, не подражательная ложь, о

которой мечтают оторванные от почвы кружки, заменяющая нравственную правду большинством голосов и личную совесть Государя безличной и даже перед Богом неответственной баллотировкой. Ныне выбор между этими двумя направлениями становится неотложным.

При сознательно подобранной администрации и состоятельном земстве русское правительство будет знать своих людей и легко разоблачит отщепенцев. Отдельной личности станет тогда возможно опереться на власть, как на нечто живое и осязательное. Одно это последствие совершит полный переворот в настроении умов. Все не окончательно развращенные люди, которых приходится девяносто девять на сто, были бы тогда явно и тайно с верховною властью и присмотрели бы за общою безопасностью. Ныне же русский человек без казенного предписания имеет только номинальное право, но не имеет возможности присмотреть за чем-нибудь. Явления, подобные русскому нигилизму, не вызываемые никакими бытовыми условиями, заводятся и держатся только при спутанности общественных начал, когда никто прямо не ответствен и прямо не заинтересован в общем деле.

Не будучи славянофилом, невольно приходишь к заключению, что если со времен великого Императора Петра мы далеко подвинулись в просвещении и могуществе, то общественное развитие России едва ли не придется начать сызнова со дня кончины Царя Алексея Михайловича, как будто всего последующего вплоть до великого дня 19 февраля 1861 года вовсе не существовало. Недавнее прошлое слишком жертвовало внутренним наружному. Если светлые надежды великодушного Монарха и с ним всей России, возлагавшиеся на этот поворотный в русской истории день, до сих пор не увенчались полным успехом, то объяснения нечего искать в другой причине кроме той, что ветхий государственный строй — создание иной эпохи и иных потребностей — мог только начертать новый порядок, но не мог вдохнуть в него жизнь. На нас сбылась притча о новом вине и старых мехах. Дарованное нам право быть гражданами вызвало доселе не развитие русской действительности на обширной, как мир, почве отечества, которую оно нашло безлюдной, а грезы и бесчинство в искусственном столплении людей, созданных воспитательной эпохой со всех концов земли под казенную крышу. Чаемое и последнее преобразование истекает само собою из преобразований уже совершенных; оно не только венчает, но вызывает их из идеи в бытие, дает всем им почву...

Перечень последствий почти двухвекового подавления жизни бюрократической формальностью составляет длинный ряд: бессилие несвязного общества и исходящее из того полное равнодушие к покушению на самые существенные основы: фактическое (к счастью, не нравственное) отчуждение подданных от верховной власти, отгороженной от них непроницаемой стеною бюрократии; поголовное недовольство правительственными порядками и общее недоверие к орудиям власти; пустые промежутки в государственном строе, не достигаемые ни сверху, ни снизу, в которых всякое злоумышление беспрепятственно может свить себе гнездо; постепенное разорение государства вследствие нагромождения новых учреждений над старыми, не уступающими своего места; сосредоточение всей действительной, практической власти правительства в руках второстепенных, невидных и не ответственных агентов; безмерное разрастание злоупотреблений вследствие этой безответственности; безобразное положение печати, которая тем не менее прямо влияет на настроение русских умов; онемение духовной жизни; наконец, омертвление церкви и оскудение или уклонение в сторону нашей религиозной жизни. В заключение полнейшее бессилие бюрократии, на которой зиждется покуда охранение всего нашего государственного порядка.

Сводя вместе эти явления, можно удивляться не тому, что не все у нас идет правильно, а тому разве, как мы имеем еще здоровый вид и такой неистощимый запас внутренних сил с подобными язвами в своих недрах...

Причина известна. В один из критических часов нашей истории, когда Европа во всеоружии просвещения стала явно надвигаться на отставшую и неспособную к отпору Россию, верховная власть взяла на себя, должна была взять на себя задачу двинуть свой народ вперед вопреки ему самому и стать из правительства Провидением России. Для осуществления задачи власть остановила естественное возрастание общественной жизни, взяла под опеку церковь, просветила, но обезличила и разъединила с народом высшее сословие, обратила прикрепление хлебопашца к земле в личное крепостное право, приняла на себя самую полную ответственность за русского человека и вследствие того отнеслась к своему народу как наставник к несовершеннолетним. Задача, в то время еще совершенно внешняя, механическая, а потому в известной степени посильная, осуществилась блестящим образом. Русская империя была создана, и великий преобразователь имел право произнести на смертном одре свои знаменитые слова: «Народ, который я возвел из мрака невежества на такую высокую степень могущества и славы, должен быть мне благодарен». Благодарен вовеки, несомненно. Но эти временные отношения верха с низом далеко пережили свой законный срок; они затянулись с 1689 года на 190 лет и вместо задач исключительно

внешних встретились с рядом вопросов нравственных. Ввиду этих вопросов правительство не могло заменить приостановленного общественного роста деятельностью своей бюрократии, а потому не удивительно, что при первом прикосновении к старым порядкам обнаружился ряд явлений, одно затруднительнее другого, накопившихся в течение этого долгого периода внешнего блеска и внутреннего оцепенения. Нам приходится восполнять разом пробел двухвекового бездействия.

Трудно не признать, что самодержавие, неприкосновенное у нас как источник власти, не может даже для себя удерживать долее свойство Провидения, ведущего русского человека к таинственным целям бессознательно для него самого. Такой способ осуществления самодержавной воли, установившийся со времени Петра Великого, не только не единственный, напротив, самый исключительный и односторонний из всех способов ее выражения, нечто вроде осадного положения, учрежденного Преобразователем на время и затянувшегося с тех пор на два столетия. Наши государи допетровской эпохи были вполне самодержцами, но вели Россию не иначе как с ее ведома, освещая общими силами каждый важный вопрос. Исходная точка нашего развития в будущем лежит, очевидно, не в пределах петровского периода.

Нельзя не сознать, что до упразднения крепостного права правительство не имело возможности выйти из установленных порядков, как и того, что приступив раз к ломке старого здания, оно поставило себя в необходимость не медлить слишком сооружением нового. Всякий день, длящий с тех пор прежние порядки, выказывает все ярче несостоятельность отжившего правительственного строя, разрушает доверие к государственным учреждениям и тем самым подрывает наши исторические основы, исключительно нравственные, неогражденные вещественною силою, как я имел смелость высказать еще в 1872 году. Невозможно рассчитать заранее упругость нравственной связи, как расчисляют упругость вещественную, а потому, смею думать, никак не следует напрягать ее до конца без особой крайности. Между тем, весь устой русского государства исчерпывается ныне четырьмя словами: народная вера в царскую власть. Все остальное, вся наша административная, общественная и умственная неурядица, помноженная на недоразумения времени, влечет нас ко дну, к какой-то безыменной бездне, безыменной, так как русская история складывается самобытно и об ее явлениях, еще не выяснившихся, нельзя судить по чужим примерам. Первая наша потребность и первое обеспечение — сократить по возможности переходные годы и снова осесться. Верховная власть может без препятствий вызвать русскую жизнь на свет и снова окружить себя верующими в нее народными силами, чтобы стать из невидимой пружины, скрытой в бюрократическом механизме, живую главою

народа, как прежде. В Европе история действительно сложила вокруг правительства целые сословия и корпорации, которые они имеют право считать исключительно своими, но за то все прочее для них чужое. Наше правительство также имело своих людей в лице поместного дворянства, в течение короткого относительно срока существования крепостного права, и однако же не захотело менять долее Россию на партию, хотя бы действительно верную и крепкую, какой была дворянская, которую оно легко могло упрочить, несмотря на отмену крепостных отношений. Возможно ли помыслить, чтобы верховная власть, пожертвовавшая в сознании своей всеословности и потребностей будущего такую силою, как дворянская, захотела снова сузить под собой почву и основаться, хотя бы временно, на такой своей силе, каково нынешнее полукрасное несвязное чиновничество? Есть ошибки, невозможные для вековых правительств.

Государственная власть не может найти более прочной основы, чем самая общественная почва, если только народ искренне верит в династию, как у нас. Но если устой основывается на массе, а не на каких-либо выделенных сословиях или искусственных группах, то первое условие его прочности заключается в том, чтобы народ был относительно доволен своею участью, для чего надо дать вздохнуть рабочему податному плательщику. Облегчение его окажется важнее всех улучшений вместе взятых. Как ни верен власти русский простолюдин, но он обременен сверх силы, а потому не может быть довольным, на что преимущественно рассчитывают враги порядка. При довольном же народе правительство станет всесильным, не только внешним образом, как всегда, а нравственно, во мнении каждого, вследствие чего наши внутренние затруднения улягутся сами собою, как по мановению волшебного жезла. Кто станет пытаться смутить верующий во власть народ, которому в большинстве легко живется? Но достижение такой цели неосуществимо при нынешнем бюрократическом устройстве, нагромождающем новые учреждения на старые, истрачивающем на себя последнюю трудовую копейку русского рабочего.

Такое положение дел, при котором нельзя найти во всем государстве ни одного довольного человека (что не подлежит сомнению), при котором даже официальные люди, пользующиеся самым беззастенчивым образом неурядицей для своих личных выгод, не стесняются выражать недовольство громче и резче, чем самые жертвы неурядицы; при котором образованное общество и простой народ заодно чувствуют неудобство своей обстановки — такое положение становится нравственно невозможным, независимо даже от способов, которыми недовольство могло бы выразиться. Когда открытых путей для него не существует, то оно выказывается в виде снисхождения к презираемому нигилизму, потому

только, что он, восставая против всего на свете, восстает, между прочим, и против наших нынешних порядков...

Существование у нас революционного движения, известного под названием нигилизма, кажется с первого взгляда необъяснимым. По общему сознанию оно лишено всякого оправдания в условиях нашего быта, всякого исторического повода, и даже тени надежды хотя бы на минутный успех; и однако ж, оно не встретило покуда никакого отпора со стороны общества, а до последних событий находило даже снисхождение не к своей безобразной теории, всеми отвергаемой, а к преступным личностям и к их увлечению. Что это значит?

В русской общественной жизни образовалось, можно сказать, пустое место, до которого не достигает в должной мере ни одна из государственных сил. В этом пустом месте могло завестись безнаказанно что угодно, а по поветрию времени завелся нигилизм. Как заговор, нигилизм слишком распространен, чтобы полиция могла вполне и скоро с ним справиться, не так легко выловить из общественных подполий несколько тысяч безыменных заговорщиков, как задержать несколько сот известных лиц, участвовавших в светском заговоре 14-го декабря 1825 года. Но как политическая партия эти несколько тысяч бездомных людей ничтожны, и всякое общество, в котором для подобного явления не находится достаточных социальных поводов, как у нас, отвергающее его сверху и снизу, как у нас, — живо вымело бы с помощью правительства этот сор из избы; только у нас нет и при нынешних государственных формах не может быть пекущегося о себе общества.

Употребленное выражение «пустое место» не аллегория; это пустое место действительно образовалось в нашем государственном складе. Пока старая администрация имела дело с Россией, обращенной в страдательный материал, с Россией, усыпленной на полтора слишком века воспитательной системой и сторожимой сборным интересом помещного дворянства, бюрократия могла проводить свои меры до почвы, по крайней мере механически; но с 19-го февраля 1861 года, при первом признаке жизни со стороны управляемых, она спуталась и разделилась в самой себе; ввиду новых явлений у нее не оказалось ни правильного понимания их, ни большого рвения руководить ими в правительственном духе, ни годных орудий для содействия или противодействия чему-нибудь. Между правительством, как орудием власти, и обществом, соприкасающимися с тех пор лишь наружно, положительно образовалась пустота, дающая простор всякому противозаконному явлению.

Пустотой этой воспользовалось западно-революционное движение, так как покуда ничего самородного русского ни в хорошем, ни в дурном смысле не оказалось для ее наполнения. Последнему неоткуда было взяться. Почти уже два века тому назад внутренняя работа русского общества над собою была остановлена и заменена заносными, часто переделываемыми, чисто теоретическими формами. Все внимание правительства сосредоточивалось в это время на личном образовании русских людей на западный лад; вместе с тем орудие его, бюрократия, стала относиться к управляемым, можно сказать, педагогически, как относятся наставники к несовершеннолетним. Понятно, что при таких условиях в русской земле исчезли и не могли завязаться вновь единомышленные кружки, сборные мнения и даже интересы; общество рассыпалось. Одиочное же лицо, без связи с другими, бессильно для действия, оно отвыкает стоять дружно даже за личную пользу, как мы видам ежедневно на примерах наших акционерных компаний; как же ему стоять за пользы правительства и общества? Разъединенные люди поневоле впускают в свою среду всякую, даже ничтожную группу людей, обладающую сборною силою; таким образом они впустили в Россию нигилизм. Проповедь его пришла и непременно должна была прийти к нам с Запада как учение, вместе со всяким другим учением, так же, как контрабанда приходит рядом с очищенным пошлиною товаром. Что за дело до того, что оно не было вызвано никакою внутреннею потребностью? В социализме выражается такой же естественный плод западной мысли и жизни, как все прочее, а нас учили преклоняться перед всем европейским. Другой вопрос, каким образом нигилизм успел у нас привиться, если бы ответом не служила наша несвязанность; он воззвал исключительно к беспочвенным людям, какие есть везде, и положил зародышем в мелкой, но сплоченной группе людей в разъединенном обществе. Не опасаясь скорого отпора со стороны бездейственной кассы, он легко мог укрыться на время от такой полиции, как наша, а затем русская учебная система дала ему рекрут в изобилии....

Революционное движение не нашло в России почвы в смысле общественных условий, но нашло достаточно обильный личный материал. Трудно доступное в своих подпольях для преследования полицейского, и не опасаясь окружающих людей, как граждане, это революционное движение, не искорененное вовремя, грозит стать для современной России нравственно тем же, чем была вещественно Запорожская Сечь для старой Польши: прибежищем всех отчаянных людей, не находящих себе места в общественном строе.

Ясно также, что нигилизм составляет не сущность, а лишь форму нашей язвы. В промежутке времени, какое мы переживаем между разрушением крепостного государственного склада и окончанием нового, общество естественно является не

осевшимся, в нем появилось громадное число людей, выбитых из привычной колеи или вызванных из толпы новыми потребностями, к которым они не успели еще приготовиться и примениться. Им нужно жить. Социализм есть не что иное, как случайное знамя этих людей, как современный ярлык бродящих общественных осадков, укрывшихся в трещинах и пустотах нашего государственного здания; он есть буквально особый вид казачества второй половины XIX века, явление, проходящее через всю русскую историю, но с соответствующим времени ярлыком. Завтра имя этого осадка легко заменится иным, но главное дело все-таки будет не в осадке, а в трещине, дающей ему приют. Наша администрация без общества уподобляется молоту без наковальни, который не раздробляет злых семян, а только глубже вгоняет их в почву. Можно думать, что социализм, составляя явление заносное, чуждое русской жизни, все же безопаснее всякого самородного противогосударственного произведения собственной почвы, которое успело бы приютиться в наших нравственных пустырях, за что нельзя ручаться в будущем. Русский простой народ не увлечется западными теориями, но у него есть свои мечтания, которыми руководители, менее грубые, чем внешние заговорщики, сумели бы, чего доброго, воспользоваться. Кроме того, что та же революционная секта может снова разрастись из нескольких не подобранных семян, но если б удалось даже раздавить ее без остатка механическими мерами (что довольно сомнительно), оставляя по-прежнему между правительством и обществом пустое поле для посева будущих доморощенных плевел, то такой успех принес бы по всей вероятности облегчение весьма кратковременное. В дурных явлениях никогда не оказывается недостатка, если есть для них простор.

Административные меры заставят зло притаиться, но вырвать его с корнем может только довершение великого преобразования, начатого в 1861 году. После полицейских мер Россия ждет законодательных. Нынешнее царствование бесповоротно положило начало новому периоду русской истории, заменяющему петровский воспитательный период, но по общему закону переходных эпох продолжает действовать посредством прежних заржавленных орудий, проникающих уже вглубь иной, им же вызванной жизни. Идеал нового периода очевиден всем: органическое развитие общества, единение его с правительством и народом, вместо управления механического. Но под вновь вызванную жизнь, становящуюся уже действительностью в своем духе, пока только бесформенно, нет еще законно определенных основ, вследствие чего общество не владеет своими членами, так же как у власти нет орудий для прямого соприкосновения с ним.

Для нас необходимее всего снова осесться, но нельзя осесться на почве, которая сама уходит из-под ног. Перед нами только два исхода, всякий это знает и чувствует.

Большинство служебной среды вместе с инородцами всякого звания мечтает об увенчании подражательных петровских порядков подражательною же конституцией на западный лад, хотя такое лекарство не имеет ничего общего с нашею болезнью. Русские люди, твердо стоящие на народной почве, не обращенные в космополитов, видят перед собой иной путь: они желают закладки современного государственного строя снизу, желают развития действительно всесловных земских учреждений до законного их предела и выхода домашней русской жизни на свет...

Никакое окончательное решение, обуславливающее на долгий срок общественное устройство, невозможно еще в современной России, по крайней мере, в нынешнем столетии. Мы не знаем покуда в точности ни своих сил, ни почвы, на которой стоим. Из всех последних преобразований, выработанных официальной средой, вышло на деле совсем не то, чего от них ждали; можно думать, что окончательное произведение этой среды оказалось бы не более удачным, чем предшествующие частные. Предрешать невозвратно вопросы будущего при таком состоянии неведения даже настоящего, значило бы не устраивать это будущее, а добровольно его подкапывать. России нужно покуда не окончательное решение, а достаточный простор общественной деятельности и достаточное сближение ее с властью, для того, чтобы назревающие потребности могли свободно облекаться, одна за другой, соответствующими им формами, выдерживая поверку опыта и дополняя себя взаимно, пока из них не сложится постепенно нечто целое. Нам нужны учреждения, выработанные жизнью, а не измышленные канцеляриями.

Мы стоим в настоящее время на перепутье, с которого две противоположные силы влекут нас и непременно увлекут на один из двух путей: или на путь исторического развития русской жизни, или же на путь увековечения искусственного устройства воспитательной эпохи, увенчанного искусственною же конституцией на западный лад, что будет равняться совращению с пути и такой неизвестности во всем, о какой нельзя покуда даже составить себе понятия.

Первое же решение, окончательное упразднение петровских порядков, развитие правильно поставленных земских учреждений до законного их предела, основанное на царском слове, без хартий и обязательств ни в настоящем, ни в будущем, одним словом, возвращение на начальный путь Царственного дома Романовых, прерванный воспитательным периодом, такой исход не ставит никакой неизвестности ни перед правительством, ни перед народом. Если при этом есть вопрос, то один только:

необходимость для правительства стать снова правительством земным, каким оно было до Петра великого, отказаться от роли Провидения, ведущего русского человека два почти уже столетия к неизвестным целям без его ведома и спроса...

Когда правительству угодно будет вступить на этот путь что произойдет ранее или позднее, но произойдет непременно, если мы только не изнасилуем своей истории, то к осуществлению плана будет приступлено, конечно, с решением довести его до конца, не торопясь, заложив предварительно прочное основание, но не упуская напрасно времени. Исход известен. Мы имеем на своей стороне то неоцененное преимущество, что идя вперед идем к известному, возвращаемся к духу учреждений, упрочивших на престоле ныне царствующий Дом. Через несколько времени последовательный ряд мер, расширяющих права земства и сближающих его с властью, приведет нечувствительно, без изменения в коренных законах и без видимого перелома, к всероссийским совещательным земским соборам, свободно созываемых властью...

Судя по коренному взгляду на государственное устройство, пробывавшемуся во всех славянских землях, не подчинявшихся заносным образцам, в том числе и в древней России, сущность нашего дальнейшего развития будет вероятно заключаться не в притязании на формальный надзор за властью, как на Западе, а в полюбовном размежевании с нею, в выделении из функций государственного управления, остающегося неприкосновенно в руках правительства, всего, что интересует граждан лично, всех их местных, общественных и церковных дел. Мысль эта требует более полного развития, и я указал на нее только вскользь; но и с первого взгляда видно, что при подобном полюбовном размежевании узаконенное вмешательство одной стороны в дела другой легко заменяется нравственным давлением, что совещательное собрание вполне достаточно для этой цели.

Заявления наших старинных земских соборов никогда не были принудительными для власти, и хотя оставались иногда без осуществления, наравне со столькими правительственными видами (когда обстоятельства препятствовали осуществлению), но тем не менее мы не знаем ни одного случая, чтобы эти заявления были отвергаемы, да такого случая и не могло быть; правительство, живущее в тесном общении со страной, не имеет повода отвергать вызревшие ее желания, так же как земские люди при таких отношениях не имеют побуждения к требованиям, явно не удобным для власти. При оценке русских соборов и некоторых неисполнившихся их желаний забывают, кажется, что и против европейских форм представительства власть везде вооружена правом veto, которым ныне редко пользуется потому только, что уступает нравственному давлению, не хочет возбуждать неудовольствия страны. Этот вид нравственного давления одинаков и при формальном

парламенте, и при совещательном земском соборе; мы не раз видели его действие у себя и без всяких представительных собраний.

По происхождению и сущности русского собора у него всегда было мало общего с европейским парламентом: при возобновлении же соборов вследствие дальнейшего развития земских учреждений общего окажется еще меньше, так как выборные земские люди будут представлять у нас не огульное настроение толпы, господствовавшее во дни выборов и имеющее выразиться впоследствии в парламенте, по поводу всяких вопросов, которых при выборах вовсе не имелось в виду, как это происходит на Западе; они станут представителями определенного мнения пославших их земств по вопросам заранее постановленным, а потому приблизительно уже обсужденным их доверителями. По ходу развития русской истории у нас выразится пред правительством не впечатление, под которым толпа подходила к избирательным урнам, а мнение, предварительно уже организованное в своем источнике, как оно получается, хотя под другими формами и по иным причинам, чем в английском избирательном слое.

Более отдаленное будущее поставит, может быть, новые вопросы, но когда раз окрепнет семейный склад этого вида отношений между верховною властью и народным сознанием, то и новые вопросы войдут без труда в привычную рамку. Государственный строй, основанный на развитии наших исторических начал, несомненно окажется прочным уже потому, что в нем не будет заключаться никаких фикций, на которых строятся все конституции без исключения, что все в нем окажется чистой правдой.

Как ни настоятельно преобразование, нельзя, однако ж, упустить из виду вопроса о многих десятках тысяч (в действительности со всем канцелярским штатом и всякими прикосновенными званиями сотнях тысяч) людей, наследственно живущих гражданской службою и не знающих другого занятия; но как переделка порядков управления не может быть внезапной, подобно отмене крепостного права, то перемещение служащих людей к новым занятиям, открываемым развитием жизни, произойдет исподволь. В начале же преобразований положение гражданских чиновников, кроме государственной службы для лучших, обеспечивается в значительной степени переходом на службу земскую, которой неоткуда более взять людей для ее расширенной деятельности. Но если затем осталось бы еще немало из ныне служащих — чем более, тем лучше, — которых земство не могло бы вместить, то для устройства этих остатков, очевидно самых плохих в административном составе, возможно временное средство: выпускать их в отставку с усиленной пенсией, не дожидаясь истечения узаконенных для того сроков. При наших квартирных, наградных пособиях на воспитание детей и прочем казна останется в барыше с назначением самых

высоких пенсий, кроме того, что постепенная убыль пансионеров сведет через некоторое время этот расход к нулю.

Можно, следовательно, если б было угодно, двинуть постепенно преобразование, не жертвуя ни одной живой душой.

Сущность нашего государственного склада не изменится скоро вследствие преобразования, но отправления его станут гораздо удовлетворительнее. Сущность его не может измениться, пока не переменится глубоко самая Россия, чего придется долго дожидаться. Даже при самоуправлении в течение настоящего столетия в русской земле будет продолжаться управление, только живое. Внизу — оно станет отличаться от нынешнего бюрократического своею местною, можно сказать, оседлою постановкой, не таким сбродным, как теперь, и более сознательным подбором управляющих людей, приставленных ближе к практическому делу и связанных с населением общими интересами, живущих не в безвоздушной официальной среде, обращающей людей в космополитов, а посреди народа; вверху — сильно улучшенной и сосредоточенной в руках правительства администрацией, постоянным обменом взглядов и чувств с народным мнением, непрерываемым притоком точных данных о положении дел. При таких условиях не трудно сложить хорошее правительство в настоящем значении слова. Если задача правительства, закончившего свою временную воспитательную миссию, заключается с тех пор вся, как очевидно, в руководстве народными силами, то для осуществления ее потребно небольшое число способных и преданных людей. Упрощенный до этой степени правительственный механизм, ныне непроглядный, как морская пучина, станет прозрачным насквозь, а вместе с тем в известной мере связным и единомысленным, чего покуда главнейше недостает. Лицо — не ведомство, представляющее у нас государство в государстве, оно ответственно, вследствие чего при личном, не канцелярском заправлении делами, как в столице, так и в областях, при сближении управляемых с источником власти всегда можно добиться ясности. Теперь же, когда высшее правительство не ограничивается руководством, а само всем управляет, все решает в своих центральных канцеляриях, ведет издали на помочах самомалейшее проявление русской жизни и вследствие того необходимо предоставляет действительное заведывание делами мелким чиновникам — теперь не только не может оказаться в нем связности и единомыслия, не только управляемые не могут им удовлетворяться, но самая греховная власть не владеет вполне этим орудием, а потому, должно сказать, давно уже нет у нас органического правительства в подлинном значении слова; есть только источник власти и бесконечное множество властных людей. Если признается в современной России какая-либо бесспорная истина, то именно эта: отсутствие у нас органического правительства,

способного преследовать избранные цели совокупностью своих сил без разделения в самом себе, знающего своих друзей и недругов, правительства, на которое добрые граждане могли бы опереться, силою которого недоброжелатели не могли бы злоупотреблять против него самого.

Иными словами: у нас нет правительства политического, руководящего русскою жизнью и даже собственными своими мероприятиями по их сущности, есть только правительство административное, формальное, представляемое комитетом министров и довольно многочисленными, не обязанными однородностью направления, личными докладчиками Государя. Комитет министров, служащий в теории общюю связью между ведомствами, в действительности может наблюдать только за однородностью и законностью форм, а не действий: он слишком многолюден, члены его принадлежат самым различным направлениям, результат его постановлений чисто механический, основанный на большинстве голосов, он обременен мелочами, лишен инициативы, и наконец, каждый министр может обойти его, пользуясь личным докладом...

Все чувствуют, что так не может продолжаться. Иные взывают к восстановлению прежнего преобладающего значения правительствующего сената, и это действительно необходимо для обуздания нестройного произвола министерских канцелярий; из сената не может сложиться политическое правительство, при постепенном выделении земству значительной части нынешних непосильных правительственных забот, при размежевании центральной власти с местными самоуправлениями и областными начальствами, при ограничении бюрократии ее естественными пределами, в голове нашего государственного порядка сложится силою вещей правильная и ясная обстановка верховной власти; но этого еще долго ждать, а объединенное правительство необходимо сейчас, без него нельзя ступить шагу ни в какую сторону...

Для немедленного образования сплоченной и деятельной, одним словом, живой власти остается один исход: выделить несколько выдавшихся государственных людей, облеченных по роду своего ведомства или по личному доверию действительно политическою важностью, в числе трех-четырех лиц в постоянный кабинетный совет под личным председательством Государя или временно назначаемого им заместителя и принимать официальные доклады в среде этого совета, кроме особых случаев, конечно, когда Государю будет угодно поступить иначе; докладывать притом только о делах политического или общегосударственного свойства, все же текущие административные дела, требующие ныне Высочайшего утверждения, предоставить разрешению комитета министров в его настоящем составе; подчинить главных местных начальников (присутствие которых

желательно по всему лицу государства) исключительно высшему совету во всем, имеющем политический оттенок. При такой постановке Россия почувствовала бы наконец над собой (по крайней мере могла бы почувствовать, все зависит от устойчивости принятого решения) живую правительственную власть, без которой нам нельзя долее существовать. Несостоятельность уложения о министерствах и особенно его применения была обнаружена с самого начала (например, письмом графа С. Р. Воронцова). С тех пор оно все ухудшалось. У нас упустили из виду, между прочим, то соображение, что не всякое ведомство, хотя бы требующее полной административной самостоятельности, и не всякий, хотя бы высший государственный пост, обладают политическим значением, которое должно быть сосредоточено в возможно меньшем числе рук. Постепенно наше правительственное учреждение лишилось всякого средоточения. В итоге оказалось случайное и нестройное расхищение власти, а последствием то, что правительство с трудом только может разглядеть что-либо в разлегшемся под ним бюрократическом тумане, закрывшем от его глаз землю с ее действительною жизнью.

Высказав убеждения, которые не имею даже права назвать лично своими, до того они прочувствованы тысячами, и которым я только придал осязательную форму, я руководился сознанием исключительной важности и невозвратимости текущего времени. Ныне обаяние власти еще цело, она может закрепить себе будущее предусмотрительным отношением к нему; но ввиду постоянно возрастающих недоразумений между верхом и низом едва ли удобно откладывать решение. Порядки воспитательного петровского периода, выразившиеся в бюрократической опеке, совсем истлели. Между властью и подданными нужны иные отношения. Покуда одиночное непокорство русского человека проявлялось разбоем в лесу, можно было жить даже при скованном обществе, администрация оказывалась состоятельной; но как только непокорство стало принимать политический оттенок, правительство не может уже обойтись без содействия общества. Самомалейшая сборная сила во столько крат сильнее всякого числа несвязных единиц, что никакое, самое прочное государство не устоит, если в его недрах будет открываться людям возможность спланиваться только в тайные союзы, если навстречу этим противозаконным союзам и всему подрывающему общие основы не будут вправе явно выступить законные союзы между гражданами, для чего нужна общественная организация в замене нынешнего разброда, нужен простор в действиях и личном почине, которого покуда недостает...

Но и ныне ясно уже, что для восстановления русской жизни потребуется не столько обширность круга действий, сколько прочность местных самоуправлений. Без содействия мнения земли едва ли избыточно и спокойное исправление торжественно данных льгот, из которых многие оказались мало соответствующими нашей действительности, по крайней мере в данной им форме, и упрощение хаоса наших административных учреждений, нагроможденных одно на другое различными эпохами и разрастающихся собственной силою, вопреки духу новых узаконений; конечно, не администрация сама упростит себя, не она осветит такой вопрос перед властью во всей его полноте. В этом последнем отношении пришлось бы гораздо более сокращать без остатка (что однако ж недостижимо без содействия земских людей), чем передавать земству. Размеры передачи на первый раз не особенно велики, относятся только к отраслям управления, лишенным всякого политического значения...

Передача в значительных размерах распространилась бы только на Министерства государственных имуществ и внутренних дел; другим ведомствам пришлось бы выделить лишь отрасли управления, о которых и теперь всякий спрашивает, из чего правительство обременяет себя хлопотами, вовсе для него не нужными и навлекающими на него одни нарекания. По естественному закону все стоки воды возвращаются в море и всякая опека, выходящая из круга чисто правительственного действия, переходит со временем к созревающему обществу. Будет ли земское заведывание этими отраслями управления, преимущественно хозяйствами, лучше или хуже казенного, — вопрос не важный для власти, так как он касается одних управляемых; но притом произойдут большие сокращения, которых нельзя достигнуть практически иным путем. Этих сокращений оказалось бы достаточно для сильного облегчения податных сословий, чем раз навсегда враги порядка были бы лишены даже тени надежды на успех. Во всяком случае восстановление внутренней мощи, самостоятельности и общественной жизни в России, основанное на связности местных населений и самоуправлении их в известных пределах, ставит только два существенные, вышеназванные условия: сближение власти с землей и сосредоточение правительственной администрации на предметах, имеющих для нее прямое значение. Все же остальное, кроме этих двух существенных условий, постепенность, сроки и размеры преобразований и переуступок, насколько они окажутся пригодными, будут зависеть от последовательного и неторопливого освещения этих вопросов общими силами сверху и снизу, причем решающим судьей останется, конечно, единая власть и никто иной. Нет, следовательно, никакого опасения увлечься на пути преобразований такого рода...

В областях нужны не подчиненные министров, а люди, имеющие прямой доступ к Государю. Для такового лица, генерал-губернатора или наместника, земство и его нужды представляют не огульное понятие, как для министра; он имеет дело с живыми людьми, нуждается в их содействии, а потому стоит за них. Кроме того, такое безмерное государство, как Россия, естественно делится на полосы, представляющие значительные оттенки экономические и этнографические и свои местные нужды, общие для нескольких губерний. Под рукою умного генерал-губернатора, особенно при взаимной связи земств вверенных ему губерний, эти нужды могут добиться своего отдельного удовлетворения, между тем как в руках самого умного министра они сливаются в общую заботу о благе России, слишком широкую для одиночного понимания. Можно оставить при этом заботу о цельности государства; на всем пространстве, занимаемом русским племенем, оно спаено навеки еще московскими князьями и царями и не нуждается более в попечении петербургских канцелярий.

Без сомнения, действия генерал-губернаторов должны быть объединяемы сообразно с видами правительства, насколько то допускается разнообразием местных условий. Общее направление принадлежит естественно министрам, как непосредственным органам верховной власти; но между таким способом управлений и нынешним лежит целая бездна. Руководить действиями генерал-губернатора в отношении к земству и всему прочему министры будут и могут не иначе как лично, теперь же отправлениями областной жизни заведуют безответно их начальники отделений. Раскrojение России на сто разъединенных губерний, зависимых до мелочности от центральных канцелярий (иначе это и быть не может), отдает управление государством в руки столоначальников и исключает возможность всякого подъема местной жизни. Нужно, конечно, не временные генерал-губернаторы с чрезвычайными полномочиями, а правители однородных полос России с властью строго законною, в лице которых местное самоуправление вверенных им губерний соприкасалось бы прямо с верховною властью. Под руководством доверенных лиц гражданские губернаторы остались бы начальниками администрации и полиции своей губернии с отстранением от них всякой политической задачи, в общем итоге для них непосильной. Целые ведомства могут быть почти без остатка растворены в земстве, а другие, специальные, отдать ему же очень многие, вовсе не специальные отрасли управления, случайно попавшие в их руки. Кроме сказанных сокращений, упразднение стольких учреждений, ставших излишними в своем полном составе или в частях после недавних преобразований, также других, хозяйственных, оказывающихся бесполезными по сравнению приносимого им дохода с расходом, даст еще огромный остаток. Даже самые специальные ведомства, как

финансовое, подлежат чрезвычайному сокращению, что ставится вне сомнения посредством простого сличения наших штатов с иностранными в статьях, не представляющих никакой разницы местных условий. Кто приходил, например, в нашу таможенную за получением сущей безделицы и кого пересылали в продолжение многих часов через 18 разных отделений при смехе чиновников, не скрывающих своего глумления над подобными порядками, тот знает по опыту, есть ли что сокращать в наших финансовых учреждениях. Также и государственному контролю подобает скорее быть контрольным департаментом сената, а не министерством, и стоить миллион вместо четырех миллионов. Кроме того, при замещении бюрократического надзора личным подлежат упразднению все инстанции, не имеющие иного назначения, кроме взаимной поверки одной другою; нет поэтому ни одного ведомства в России, кроме учебного и послереформенного судебного, которое не подлежало бы большому сокращению. Как только русская власть примет решение сойти с бюрократических подмостков на природную почву, безмерное излишество и гнилость этих опустевших подмостков изумит всех.

Достижение этой цели немислимо, однако ж, иначе как при посредстве земских людей. Я высказал уже в первом письме мнение об этом предмете. Ни у какого ведомства не достанет самоотвержения добровольно резать себя по живому телу. Если б даже все главные начальники управлений пошли искренно на такое личное для себя преобразование, то второстепенные дельцы официальной среды, от которых зависит практический исход, никак не станут жертвовать своими прямыми выгодами для отвлеченной пользы государства. Из всякой попытки сократить чиновничество собственными его руками выйдет то же, что выходило из стольких комиссий для сокращения расходов — новый расход на комиссию.

Сократив казенную администрацию до размеров, соответствующих ее прямому назначению — служить орудием, руководящим общественною деятельностью, не трудно уже будет довести ее до состояния образцовой и вполне правительственной, выкинуть из нее неблагонадежные прослойки. Материалом для обновленной администрации послужит все земство с его наиболее выдающимися деятелями, упразднив, конечно, табель о рангах, основной столб петровской эпохи. Все властные люди, распорядители официальной среды, должны были бы впредь поставляться у нас землею, выбираться правительством из людей, заявивших себя в общественной деятельности и облеченных общественным доверием, а не из вырастающих на канцелярском поле. Без такого обновления ни правительству, ни нам всем нельзя больше жить. При нынешнем административном составе, проникнутом в большинстве вследствие своей вековой отчужденности от почвы путаницей самых неправительственных и нерусских понятий и наклонностей, власть не знает, на кого ей

можно положиться, а земля чувствует в официальной среде стихию, чуждую себе, почти противоположную. Без настойчивого постепенного обновления высшего слоя администрации из общественной среды, без полного изменения порядков, на основании которых он до сих пор набирался, наше отечество останется раздвоенным в себе и бессильным воплотить в жизнь самые благие начинания сверху, самые зрелые ожидания снизу...

Многие, самые официальные люди полагают возможным успокоиться неопределенное время на чрезвычайных мерах, не заглядывая в будущее. Они, очевидно, не отдают себе отчета в том всемирном акте, что никогда еще не было видано твердого правительства без взаимной поруки с господствующею в стране организованною общественною силою (временною, как национальная гвардия при Луи Филиппе, или постоянною, как плательщики прямых податей в Англии, это все равно), — не видано ни одного, кроме правительства неаполитанских Бурбонов и мелких итальянских владений. Те, правда, полагались только на штыки и полицию, но потому что внутренняя опора заменялась для них внешнею, Австрией, не допускавшею в Италии революций. Как только Австрия была вынуждена отшатнуться — их штыки и полиция рухнули прахом в несколько дней. После упразднения поместного дворянства опорная и преобладающая русская сила может заключаться только в земстве и ни в чем ином, но, конечно, в земстве организованном, а не в миллионах несвязных единиц. Все — значит никто, все — это общее голосование, то косное до омертвения, то переносимое каждым ветром, как сухой песок, из одной крайности в другую, смотря по поветрию времени. Наше же правительство имеет дело не с толпой, а с общественными группами, представляющими устой, свойственный всякой сплоченной группе. Эти группы можно и должно сплотить еще крепче, придать им твердый устой, связать их с правительством самым тесным образом. Нельзя упускать из виду того обстоятельства, что между властью и земством нет места круговой поруке, основанной на вещественном интересе, какая существовала между нею и дворянством; новая круговая порука должна возникнуть из интереса исключительно нравственного, группирующего около правительства все охранительные силы страны, что требует полного взаимного доверия. Земства, сплоченные и властные в своей местности, при должной связи между собою и открытом общении их с верховною властью, составляют силу неодолимую; а как огромное большинство русских людей искренно верует в царскую власть, то земство, непосредственно погруженное в это большинство, есть вместе сила самая благонадежная. В

наших понятиях существует до сих пор странная сбивчивость: администрацию смешивают с источником власти, и все, что ограничивает бюрократический произвол, считают ограничением правительства, как будто земские и всякие выборные учреждения, правильно поставленные, не имеют того же значения прямого истечения царской власти, не могут быть руководимы ею в такой же степени, как и учреждения административные, составляя вместе с тем ее опору, чего в последних не заключается. Но если так, то следует гласно признать значение земства, обращаться с ним и его органами, как с опорною силою государства, как обращались с прежним дворянством; оказывать ему полное доверие, не опасаться расширения его прав и не отказывать ему в способностях, признаваемых за каждым начальником отделения. Всякий знает предметы, которые не могут подлежать ведению земства, об этом нечего говорить.

Зная нынешнее русское общество, нельзя надеяться, чтобы какие бы то ни было новые права скоро обратили Россию в земной рай, чего не достигло и казенное управление, чтобы они искоренили скоро наши наследственные недостатки; но дело идет не о всеобщем благополучии, а о чисто государственном вопросе, о правительственном устое, не о насаждении земного рая, а о том, чтоб Россия не обратилась в ад, что становится довольно возможным. Упрочение на долгое будущее России исторической, с привычною цельностью власти, с нашими домашними преданиями и внешними стремлениями, оживленными внутреннею самодеятельностью, кажется многим делом вовсе не мудреным при верной оценке современного положения, но несколько сомнительным при том нежелании додумываться до сущности текущих явлений, какое замечается в значительной части нашей официальной среде...

Но если невозможен слишком долгий роздых в нынешнем переходном состоянии и если очевидно, что конституция на французский лад, чиновничья опека под надзором представительных собраний дала бы у нас, наверное, те же плоды, какие она постоянно приносит во Франции (не говоря уже о том, что конституция есть не более, как форма, ничего не решающая в отношении сущности, вопрос же идет об опорной силе государства в замене прежнего дворянства), если оба эта исхода, status quo и конституция одинаково не годятся, то что же остается кроме организованного и тесно связанного с правительством земства? Мысль эта такая древняя в России, что еще Иван Грозный начал было переносить в земство центр государственного тяготения и остановился только потому, что Сильвестр и Адашев заменились Малютой Скуратовым...

Опорной силы нельзя искать, выбирая между несколькими. Та сила, которую приходится отыскивать, не есть сила. Общее народное чувство, хотя бы несомненное, также

не составляет политического обеспечения; им нельзя управлять, с ним нельзя объясняться. Значение русского земства в настоящем и будущем как единственной силы органической ясно всякому, а потому естественно, что громадное большинство людей, желающих спокойного развития отечеству, видят в поставленном на ноги и устроенном земстве единственное основание, на котором наша историческая верховная власть может стоять незыблемо до скончания века. При таком условии, налагаемом на нас не случайными обстоятельствами, а историческою последовательностью, вопрос о способности русского земства к задаче, удачно исполняемой несколькими другими земствами на свете, становится, смею думать, бесцельным. Дела пойдут для разных частных лиц, вообще не избалованных отличным управлением, немного лучше или немного хуже, пока сами они приучатся заботиться о себе, — вот и все. Когда дела, интересующие власть, удержаны ею в своих руках, к чему осталась опека? Вообще же вопрос идет только о времени, так как ранее или позже нашей государственной власти придется основаться на земстве, по неимению иного выбора. Опасность заключается для нас в том, чтоб это решение не состоялось слишком поздно...

История не останавливается ни перед какими затруднениями. Если люди живущего поколения не соответствуют налагаемой ею задаче, она топчет их и заменяет иными, возникающими неизвестно откуда. Я же сужу по примерам нашей истории, по перелому Петра великого и по последнему, совершенному нынешним царствованием, что русская самодержавная власть может решиться на все и сломить всякое препятствие при ясно сознанной потребности. Весь современный вопрос сводится, стало быть, на сознание необходимости новых оснований и ни на что иное...

Громадная часть людей, непосредственно соприкасающихся с земскою жизнью, не верит больше в пригодность для нас готовых выводов чужой истории, а как этот второй разряд людей составляет прямой плод русской жизни и народного сознания, и как весь прирост идет в эту сторону, то будущее очевидно принадлежит ему. В официальной среде нет до сих пор отзыва новому запросу жизни, но в этой косности виновата еще более ее обстановка, чей ее верность преданиям. Все виды власти сосредоточены в Петербурге, который сам есть исключительное произведение переходной эпохи и естественно проникнут ее духом. Пестрое столпление людей, привлеченных в эту искусственную столицу, не только наименее русское из городских населений, разрозненное с общей почвой и воспитанное

исключительно в книжном духе, но кроме того оно в полном составе своем живет под казенною крышею, связано с отживающими порядками бесчисленными личными интересами, а потому в большинстве желает не замещения этих устаревших порядков иным, русским складом государства, а, напротив, увенчания их на западный образец бюрократической конституцией...

Однако ж Россия не Петербург, она просыпается. В наши дни повторяется явление, знаменовавшее петровскую эпоху, только в обратном смысле: теперь, как и тогда, направление большинства официальной среды встречает отпор в русском чувстве, но тогда жизнь была в первой, косность во втором, теперь наоборот. Из такого раздвоения истекает то последствие, что между органами власти и мнением земли (которого, надо сказать, эти органы не признают) все более усиливается взаимное непонимание, точно между турками и болгарами, то есть, говоря образно, раздвигается бездна. В темноте трудно ходить большими шагами.

Современное настроение тем более серьезно, что долгий опыт открыл, наконец, глаза всем поголовно, что ни одна душа не верит, как верили прежде, возможности улучшить тягостное положение посредством каких бы ни было переделок в административных порядках, перестановок казенных органов. Исчезла вера в самые эти органы.

В виду будущего опасен не наш бессмысленный нигилизм — явление далеко не самостоятельное — опасно недоразумение, принизавшее всю современную русскую жизнь, и его причина. Мы выдвинуты из прежнего связного государственного порядка, при котором худо ли, хорошо ли, всякая подробность соответствовала духу целого, и теперь в ожидании чего-либо окончательного, ни одна из наружных форм нашего устройства не приложена к лежащей под нею сущности. Кроме того, отчужденная от почвы казенная среда в большинстве остается проникнутой космополитским духом отжившей эпохи, идущим прямо вразрез возникающим стремлениям земли. В итоге оказывается безвыходный круг. Все уродливые явления текущего времени, вся дерзость горсти общественных подонков, мечтавших о переделке государства, вырастают из общего чувства неудовлетворенности, перетолковываемого на известный лад. Ни власти, ни нам всем невозможно выбраться на свет, на путь действительно спокойного развития, не отрекшись от привычных взглядов и преданий воспитательной эпохи, не покончив с двухвековым неуважением к самим себе. Нельзя указать ни одного из внешних неудовольствий на власть, источник которого не коренился бы в искусственной оценке явлений нашей жизни, глубоко ввевшейся в официальный слой и среду, в которую он погружен.

Я не разделяю ни в какой степени мнения, повторяемого многими, что петровское преобразование принесло нам столько же зла, как добра; я думаю, что единственная ошибка великого Преобразователя заключается в церковном вопросе, все же остальное едва ли могло быть совершенно иначе, как он сделал; но думаю также, что всему на свете есть мера и срок. Мы не могли стать великим историческим народом, не приобщившись к преемственному общечеловеческому просвещению, знавшему до сих пор только прямых наследников, не выдавшему ни одного приемыша, ни одного народа, который, не бывши воспитан им с колыбели, с бессознательных своих годов, захотел бы вдруг стать просвещенным. Мы явились первым в свете приемышем такого рода, а потому должны были подчинить временно свой природный склад иноземному, прожить период обезличения и космополитства, чтобы впоследствии иметь возможность сознательно заявить перед миром свою народную личность. Дело шло не об одних технических знаниях, нам недостававших, а о всестороннем воспитании русской мысли в общем источнике просвещения. Губернская барышня, ломавшая всю жизнь французский язык на саратовский лад, была смешным образцом перевоспитания, но являлась неизбежным звеном между односторонним, хотя и крепко закаленным москвичом 17-го века, и русским европейцем нашего времени. Но трудный перелом пройден, воспитательная задача ныне очевидно исчерпана, новая задача стоит не в приобретении знаний из чужого источника, а в приложении их к родной почве, мало сходной с европейскою. В существенных предметах нет больше места подражательности, как явно доказывается подъемом самородного русского мнения. Но по свойству переходных эпох отжившее направление, отрицаемое духом времени, упорно держится в среде, служившей ему первым и главным проводником, и вследствие того глубоко им проникнутой. Надо прибавить еще ряд иностранных влияний, для которых возникновение русского духа гораздо страшнее ветлянской чумы. Но казенная среда, по самой сущности своей почти двухвековой задачи, не знала в России ничего, кроме себя одной, а потому у нее не оказывается теперь ни орудий, ни уменья для пригодного обращения с общественными силами, начинавшими складываться вне ее; она видит в них нечто чуждое своим преданиям, и не умея направлять их, старается не давать им ходу. В нашей народной жизни очевидно произошло, или правильнее сказать, теперь только выказалось раздвоение, источник всех современных затруднений. Задача текущего времени заключается в восстановлении цельности нашего внутреннего быта. Понятно, почему все неприязненное нам в Европе боится восстановления такой цельности стоимиллионного народа пуще всего на свете.

Надо сказать прямо: упрочение нашего будущего зависит от одного главного условия, начинавшего отчетливо выясняться в умах большинства, от того условия, чтобы русское правительство в полном своем объеме стало вполне русским, чтобы оно не вынужденно, по внутреннему чувству, шло в ту же сторону, куда растет русское мнение...

Надо иметь в виду еще следующее: при нынешнем нашем складе вызвать действительное русское мнение можно не сословными выборами, по-старинному, и не чуждым общинному устройству всенародным голосованием, по-западному; его можно добыть только от земств, поставленных в правильные отношения к крестьянскому населению. Кроме того, в одном земском самоуправлении может включаться впредь опорная сила государства, а потому нельзя будет обращаться к земле иначе, как через него. Но в земствах, как в тесно сплоченных группах, непременно сложится заранее определенное мнение по каждому выдвигаемому вопросу, и они не пошлют представителем иначе, как члена своего большинства; а потому обязательное мнение выборного (*mandat impératif*), не допускаемое на Западе, станет у нас основным правилом. Но по нашим условиям это последствие приведет не к затруднению, а к вящей прочности общего устоя. Нельзя, конечно, допустить сбродную толпу избирателей навязывать депутату свое проходящее увлечение; наши же земские собрания представляют узаконенную власть, истечение и продолжение власти общегосударственной, каждое решение их и без того требует полной обдуманности; при должной постановке они будут верно отражать мнение и интересы своей местности. Очевидно, что обязательное мнение выборного (во всяком случае обязательное только нравственно) послужит при такой обстановке залогом двойной обдуманности, предохранением от случайного увлечения партиями и личными интересами. В основание наших совещательных соборов, как то было и прежде, ляжет задаток той особенности, что они представляют гораздо более деловой характер, чем западные парламенты (в буквальном переводе — говорильни), занимающиеся в девяти случаях на десять пустым болтанием обо всем на свете; тем более, что наши соборы должны быть непременно краткосрочными и, кроме рассмотрения бюджета, созываться не иначе, как по предустановленным вопросам; а кроме того, выделение местным самоуправлением всех забот, лишенных прямо политического характера, поставит вопросы, возникающие между землею и властью, в более тесный и определенный круг, чем на Западе. Нет повода ожидать столкновений там, где вековое, укорененное в народном сознании правительство совещается с собранием, подчиняющим по сущности своей задачи личные стремления вызревшим и заранее взвешенным желаниям страны, где выборный должен отчитываться в своих действиях и где столько взаимных местных интересов и взглядов будут уравниваться взаимно.

Политическое собрание такого рода невозможно там, где население не сгруппировано органически по местностям, что развитие народного представительства на этом основании даст новый залог прочности, нам свойственный.

Никакое земное учреждение не может, конечно, обладать ненарушимостью математической формулы, всякое находится под влиянием такого изменчивого фактора, как людское настроение; но хотя мы видели до сих пор тип славянского государства лишь в его зародышных формах, нельзя не признать, однако ж, что в нем гораздо более правды, простоты, чем в европейском конституционном, особенно же пересаженном на материке. Один Бог знает, когда племенной идеал государства осуществится в России в своей полноте, но складывающееся народное сознание ведет постепенно к нему, не может вести ни к чему иному, хотя бы потому, что в нем одном выражается наша действительность, подлинное и укоренившееся, а не сочиненное отношение народа к власти...

С тех пор, как перелом 19 февраля 1861 года привел официальную среду в непосредственное соприкосновение с почвою, оказывается, что взаимное понимание между правящими и управляемыми в том виде, как оно существовало недавно между тою же средою и дворянством, положительно у нас порвалось. В правительственных кругах перестали понимать с достаточною ясностью значение новых общественных стремлений; там переводят их на европейские понятия и из белого выходит черное. Все, чего желает современная Россия и чем она будет довольствоваться очень долго, может быть всегда, все что нужно для устранения нынешней смуты в умах, до такой степени не умаляет обаяния верховной власти, что желания эти, наверное, не встретили бы, не могли встретить отпора свыше в московской Руси, если б до них отчетливо додумались в те времена. Мало того, самая власть стремилась в старину к тому, чего хочет ныне большинство; Иван Грозный приступал к устройству земли на коренных русских началах, он же созывал земских людей для писания законов, первые венценосцы дома Романовых собирали вокруг себя народ, как свою семью. Взаимность была полная. Со времен Петра исчезли формы, в которых проявлялась взаимная связь, с царствования же императора Павла исчез самый дух прежних отношений, хотя перемена обнаружилась въявь только с упразднением поместного дворянства, разъединявшего до тех пор власть с почвою непроницаемой перегородкой. Но именно с тех пор коренная Россия стала явно прорастать сквозь наслойку воспитательной эпохи и теперь естественным образом возвращается к своим основным преданиям, хочет применять учреждения к народному духу более отчетливо, чем прежде, в силу высшей сознательности. Официальная же среда смотрит на это прорастание иными глазами и объясняет его примерами западного революционного движения. Надо сказать: у нас

действительно возникает великая распря, но не между духом века и историческою властью, отстаивавшею свои наследственные права, как думают, кажется, в большинстве чиновных кружков, а между самыми верноподданными русскими стремлениями и нерусскою закваскою казенной среды, чуждой духу нашей истории, видящей революцию там, где русские люди ищут только самоустройства под покровом вековой власти. У нас до сих пор немало влиятельных людей, считающих все русское в России контрабандою и заговором, людей, о которых покойный Самарин сказал, что любители европеизма и покровители противогосударственных интересов на окраинах всегда оказываются душителями всякого проявления жизни на непосредственно русской почве. Умом и чутьем страна начинает понимать эту суть дела, начинает подмечать в среде правительственной администрации многочисленных противников народного духа, стоящих вразрез самым естественным и законным ее стремлениям, — убеждение, в котором несомненно заключается великая опасность, но опасность, от которой можно погибнуть только по доброй воле...

Последовательный ход истории ставит перед Россией вопрос не об источнике власти, а о перенесении центра государственного тяготения с обветшалой табели о рангах на самую почву, в земство. Россия сдвинута уже властью с прежних оснований, дело это бесповоротное, так как сломан самый фундамент, на котором стояли старые порядки. Слишком долгая остановка на пути ведет к тому лишь, что вместо последствий, одинаково желательных для блага народа и спокойствия власти, являются несвойственные народному духу анархические попытки, раздвоение и ряд недоразумений, грозящих окончательно сбить нас с векового пути на путь вовсе нам не свойственный. Мы не установимся вновь, пока не будет положено видимое для всех начало новому порядку, выдвигаемому не людскою волею, а историей, пока Россия, не утрачивая привычной цельности верховной власти, не начнет обретаться из государства чиновничьего в государство земское...

Независимо от сущности, никакие внезапные, а тем более отвлеченные постройки общественных порядков не годятся нам по той уже причине, что для них не оказывается покуда соответствующего личного состава. Вследствие многовековых усилий сверху русская почва возвращает покуда одних чиновников, каким названием их ни окрашивай. Легко создать суды без судейского сословия и земства, от которых бегут лучшие земцы, но всякий видит, что теперь не это уже нужно. Ничто не препятствует правительству призвать для совета, хоть завтра, благонадежных людей русской земли, это даже принесет большую пользу, но, во всяком случае, плодотворное дело, прочная закладка наших народных учреждений возникнет не из петербургских совещаний. В государстве, стоящем на 82-х процентах крестьян собственников, все, что существует наверху, обуславливается

правильною постановкою народного быта в органической связи с местными просвещенными силами; при разнообразии наших бытовых условий такие вопросы не решаются общегосударственною программю; когда же они будут решены на месте, тогда возникнут и суды, и земства, и соборы, удовлетворяющие запросам русской жизни, а вместе с ними явятся люди, соответствующие учреждениям, те люди, которые добросовестным трудом, на месте, подготовят для них почву. Русская Россия может сложиться только уезде и области.

По этому поводу надо прибавить еще следующее.

Как ни странно доказывать, что России предстоит развиваться в русском духе, но привычка думать по чужой указке, усвоенная в течение воспитательного периода, до того внедрилась во многих из нас, что эту первоначальную истину приходится выяснять вовсе не узким умам и не своекорыстным людям, а вообще людям, не привыкшим проверять всякую мысль собственною головою.

Такие люди часто серьезно повторяют: проведение коренных русских начал в нашу политическую жизнь, стоящую почти два века на началах общегосударственных (читай космополитских), может повлиять крайне невыгодно на нерусские окраины. Как поступить в таком случае с окраинами?

Окраина, тормозящая развитие русской жизни, существует несомненно, мы слишком хорошо это чувствуем; но она находится не там, где на нее указывают, она лежит в Петербурге и заключается в обезличенной, наполовину инородческой, фрачной и вицмундирной среде, приютившейся прямо или косвенно под казенную крышею и ратующей изо всех сил за увековечение форм воспитательного периода, который произвел ее на свет и порядками которого она живет почти исключительно.

Среда эта очень сильна. Она составляет, можно сказать, домашнюю обстановку всех правительственных отправлений; она располагает большею половиною петербургской печати. Но вместе с тем очевидно, что сдвинуться с места по желательному для нее направлению совершенно невозможно, на это не последует согласия ни сверху, ни снизу; и нельзя также не видеть, что пришла пора на что-нибудь решиться. Надобно поэтому надеяться, что верховная власть, не поколебавшаяся сломать еще недавно свою явную многовековую опору, поместное дворянство, не остановится перед скрытым сопротивлением и умысленными отводами, исходящими от его собственных орудий...

Должен сказать в заключение: знаю вперед, что многие официальные лица сочтут мысли, проводимые в этих письмах, непозволительным вмешательством в права власти, которые они считают своими собственными правами. В их глазах не только действие, но даже мнение в области государственных порядков составляет неотъемлемую

принадлежность правительства и должно быть возбранено частному человеку; но подобный взгляд служит лучшим подтверждением сказанного выше о существующем у нас раздвоении. Большинство официальной среды до сих пор живет всеми помыслами в воспитательной эпохе, которая ограничивалась одной задачей: пересадкою к нам западных форм по своему выбору, для чего не было надобности в содействии народного сознания; оно и устранялось, как излишнее своеволие. Но срок пересадки кончился, и теперь надо забыть не только историю, но законы природы, чтобы продолжать держаться такого взгляда. Развитие сознания и поступательное движение в области мысли возможны лишь для сборного разума, для миллионов умов, проверяющих себя взаимно и вырабатывающих постепенно этим путем новые взгляды в науке, в общественных делах, даже в верованиях, во всем на свете. Правительству принадлежит только действие, оценка вызревших народных воззрений и признание за ними права на практическое осуществление. Вне исключительных задач, подобных прожитой нами воспитательной задаче, правительство не может идти вперед самостоятельно и разрабатывать зарождающиеся социальные вопросы в своих канцеляриях. Задача его состоит в том, чтобы зорко следить за созревающими общественными убеждениями и явно выказавшимися потребностями, не отставая от народного сознания.

Нашему переходному состоянию и нашему раздвоению придет конец в тот лишь день, когда не для кого будет доказывать таких простых истин.

1879–1880 гг.

(Фадеев Р.А. Письма о современном состоянии России. 11-го апреля 1879 — 6-го апреля 1880. 4-е изд. — СПб. С. 29–145).

...Хотя система Лорис-Меликова и не успела, в краткое его управление, выразиться в целом ряде положительных мероприятий и узаконений, но дух ее, общее направление, тем не менее, были вполне определены. Некоторое отражение общего ее смысла можно найти в книге покойного Фадеева «Письма о современном состоянии России», напечатанной за границей с дозволения нашего правительства и допущенной в Россию в силу испрошенного Лорис-Меликова Высочайшего разрешения...

В докладе своем покойному Государю о книге Фадеева Лорис-Меликов излагал сущность этих взглядов. Главное наше зло, — так докладывал министр о взглядах, изложенных Фадеевым, — заключается в том, что в последние два десятилетия в России образовался как бы промежуток между правительством и подданными, дающий место и простор всяким противообщественным явлениям. Такой промежуток явился последствием великой меры освобождения крепостных, лишивших дворянство его сословной связи и прежнего значения — опорной силы государства, незаменимой никакою иною силой. Бюрократия, как орудие исключительно механическое, могла легко осуществлять виды высшей власти при нравственной поддержке преобладавшей общественной силы; ныне же она проводит до почвы только форму, а не дух мероприятий, вследствие чего правительство оказывается недостаточно вооруженным против общественных явлений, выходящих из ряда обыкновенных текущих дел... Только земство может стать для власти такою же несокрушимой опорой, какой было недавно дворянство, а как громадное большинство русских людей искренно верует в царскую власть, то земство, непосредственно погруженное в этом большинстве, представляет вместе с тем силу самую благонадежную.

(ФАДЕЕВ Р.А. Собрание сочинений. Т. 1. — СПб., 1889. С. 123–124)

РУССКОЕ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА

(из дневниковых записей)

Ф. Достоевский

Я на днях мечтал, например, о положении России как великой европейской державы, и уж чего-чего не пришло мне в голову на эту грустную тему!

Взять уже то, что нам во что бы ни стало и как можно скорее надо стать великой европейской державой. Положим, мы и есть великая держава: но я только хочу сказать, что это нам слишком дорого стоит — гораздо дороже, чем другим великим державам, а это предурной признак. Так что даже оно как бы и не естественно выходит. Спешу, однако, оговориться: я единственно только с западной точки зрения сужу, и вот с этой точки оно действительно так у меня выходит. Другое дело точка национальная и, так сказать, немножко славянофильская; тут, известно, есть вера в какие-то внутренние самобытные силы народа, в какие-то начала народные, совершенно личные и оригинальные, нашему народу присущие, его спасающие и поддерживающие. Но с чтением статей г-на Пыпина я отрезвился. Разумеется, я желаю и по-прежнему продолжаю желать изо всех моих сил, чтобы драгоценные, твердые и самостоятельные начала, присущие народу русскому, существовали действительно, согласитесь тоже — что же это за такие начала, которых даже сам г-н Пыпин не видит, не слышит и не примечает, которые спрятаны, спрятались и никак не хотят отыскаться? А потому невольно остается и мне обойтись без этих утешающих душу начал. Таким образом, и выходит у меня, что мы покамест всего только лепимся на нашей высоте великой державы, стараясь изо всех сил, чтобы не так скоро заметили это соседи. В этом нам чрезвычайно может помочь всеобщее европейское невежество во всем, что касается России. По крайней мере, до сих пор это невежество не подвержено было сомнению — обстоятельство, о котором нам вовсе нечего горевать; напротив, нам очень будет даже невыгодно, если соседи наши нас рассмотрят поближе и покороче. То, что они ничего не понимали в нас до сих пор, в этом была наша великая сила. Но в том-то и дело, что теперь, уввы, кажется, и они начинают нас понимать лучше прежнего; а это очень опасно.

Огромный сосед изучает нас неусыпно и, кажется, уже многое видит насквозь. Не вдаваясь в тонкости, возьмите хоть самые наглядные, в глаза бросающиеся у нас вещи. Возьмите наше пространство и наши границы (населенные инородцами и чужеземцами, из года в год все более и более крепчающими в индивидуальности своих собственных

инородческих, а отчасти и иноземных соседских элементов), возьмите и сообразите: во скольких точках мы стратегически уязвимы? Да нам войска, что все это защитить (по моему, штатскому, впрочем, мнению), надо гораздо больше иметь, чем у наших соседей. Возьмите опять и то что ныне воюют не столько оружием, сколько умом, и согласитесь, что это последнее обстоятельство даже особенно для нас невыгодно.

Теперь почти в каждые десять лет изменяется оружие, даже чаще. Лет через пятнадцать, может, будут стрелять уже не ружьями, а какой-нибудь молнией, какою-нибудь всесжигающею электрическою струею из машины. Скажите, что можем мы изобрести в этом роде, с тем чтобы приберечь в виде сюрприза для наших соседей? Что, если лет через пятнадцать у каждой великой державы будет заведено, потаенно и про запас, по одному такому сюрпризу на всякий случай? Увы, мы можем только перенимать и покупать оружие у других, и много-много что сумеем починить его сами. Чтобы изобретать такие машины, нужна наука самостоятельная, а не покупная; своя, а не выписная; укоренившаяся и свободная. У нас такой науки еще не имеется; да и покупной даже нет. Возьмите опять наши железные дороги, сообразите наши пространства и нашу бедность; сравните наши капиталы с капиталами других великих держав и смекните: во что нам наша дорожная сеть, необходимая нам как великой державе, обойдется? И заметьте: там у них эти сети устроились давно и устраивались постепенно, а нам приходится догонять и спешить; там концы маленькие, а у нас сплошь вроде тихоокеанских. Мы уже и теперь больно чувствуем, во что нам обошлось лишь начало нашей сети; каким тяжелым отвлечением капиталов в одну сторону ознаменовалось оно, в ущерб хотя бы бедному нашему земледелию и всякой другой промышленности. Тут дело не столько в денежной сумме, сколько в степени усилия нации. Впрочем, конца не будет, если по пунктам высчитывать наши нужды и наше убожество. Возьмите, наконец, просвещение, то есть науку, и посмотрите, насколько нам нужно догнать в этом смысле других. По моему бедному суждению, на просвещение мы должны ежегодно затрачивать по крайней мере столько же, как и на войско, если хотим догнать хоть какую-нибудь из великих держав, — взяв и то, что время уже слишком упущено, что и денег таких у нас не имеется и что, в конце концов, все это будет толчок, и не нормальное дело; так сказать, потрясение, а не просвещение.

Все это мои мечты, разумеется; но... повторяю, невольно мечтается иногда в этом смысле, а потому и продолжаю мечту. Заметьте, что я ценю все на деньги; но разве это верный расчет? Деньгами ни за что не купишь всего; так может только какой-нибудь необразованный купец рассуждать в комедии г-на Островского. Деньгами вы, например, настроите школ, но учителей сейчас не наделаете. Учитель — это штука тонкая; народный

национальный учитель вырабатывается веками, держится преданиями, бесчисленным опытом. Но, положим, наделаете деньгами не только учителей, но даже, наконец, и ученых; и что же? — все-таки людей не наделаете. Что в том, что он ученый, коли дела не смыслит? Педагогии он, например, выучится и будет с кафедры отлично преподавать педагогию, а сам все-таки педагогом не сделается. Люди, люди — это самое главное. Люди дороже даже денег. Людей ни на каком рынке не купишь и никакими деньгами, потому что они не продаются и не покупаются, а опять-таки только веками выделяются; ну а на века надо время, годков этак двадцать пять или тридцать, даже и у нас, где века давно уже ничего не стоят. Человек идеи и науки самостоятельной, человек самостоятельно деловой образуется лишь долгою самостоятельною жизнью нации, вековым многострадальным трудом ее — одним словом, образуется всею историческою жизнью страны. Ну а историческая жизнь наша в последние два столетия была не совсем-таки самостоятельною. Ускорять же искусственно необходимые и постоянные исторические моменты жизни народной никак невозможно. Мы видели пример на себе, и он до сих пор продолжается: еще два века тому назад хотели поспешить и все подогнать, а вместо того и застряли; ибо, несмотря на все торжественные возгласы наших западников, мы несомненно застряли. Наши западники — это такой народ, что сегодня трубят во все трубы с чрезвычайным злорадством и торжеством о том, что у нас нет ни науки, ни здравого скисла, ни терпения, ни умения; что нам дано только ползти за Европой, ей подражать во всем рабски и, в видах европейской опеки, преступно даже и думать о собственной нашей самостоятельности; а завтра, заикнитесь лишь только о вашем сомнении в безусловно целительной силе бывшего у нас два века назад переворота, — и тотчас же закричат они дружным хором, что все ваши мечты о народной самостоятельности — один только квас, квас и квас и что мы два века назад из толпы варваров стали европейцами, просвещеннейшими и счастливейшими, и по гроб нашей жизни должны вспоминать о сем с благодарностью.

Но оставим западников и положим, что деньгами все можно сделать, даже время купить, даже самобытность жизни воспроизвести как-нибудь на парах; спрашивается: откуда такие деньги достать? Чуть не половину теперешнего бюджета нашего оплачивает водка, то есть по-теперешнему народное пьянство и народный разврат, — стало быть, вся народная будущность. Мы, так сказать, будущностью нашею платим за наш величавый бюджет великой европейской державы. Мы подсекаем дерево в самом корне, чтобы достать поскорее плод. И кто же хотел этого? Это случилось невольно, само собой, строгим историческим ходом событий. Освобожденный великим монаршим словом народ наш, неопытный в новой жизни и самобытно еще не живший, начинает первые шаги свои на новом пути: перелом

огромный и необыкновенный, почти внезапный, почти невиданный в истории по своей цельности, по своему характеру. Эти первые и уже собственные шаги освобожденного богатыря на новом пути требовали большой опасности, чрезвычайной осторожности; а между тем что встретил наш народ при этих первых шагах? Шаткость высших слоев общества, веками укоренившуюся отчужденность от него нашей интеллигенции (вот это-то самое главное) и в довершение — дешевку и жида. Народ закутил и запил — сначала с радости, а потом по привычке. Показали ль ему хоть что-нибудь лучше дешевки? Развлекли ли, научили ль чему-нибудь? Теперь в иных местностях, во многих даже местностях, кабаки стоят уже не для сотен жителей, а всего для десятков; мало того — для малых десятков. Есть местности, где на полсотни жителей и кабак, менее даже чем на полсотни. «Гражданин» уже сообщал раз, в особой статье, подробный бюджет теперешнего нашего кабака: возможности нет предположить, чтобы кабаки могли существовать лишь одним вином. Чем же, стало быть, они окупаются? Народным развратом, разбоем, разрушением семейства и стыдом народным — вот чем они окупаются!

Матери пьют, дети пьют, церкви пустеют, отцы разбойничают; бронзовую руку у Ивана Сусанина отпилили и в кабак снесли; а в кабак приняли! Спросите лишь одну медицину: какое может родиться поколение от таких пьяниц? Но пусть, пусть (и дай боже!), пусть это лишь одна мечта пессимиста, в десять раз преувеличившая беду! Верим и хотим веровать, но... если в текущие десять, пятнадцать лет склонность народа к пьянству (которая все-таки несомненна) не уменьшится, удержится, а стало быть, еще более разовьется, то — не оправдается ли и вся мечта? Вот нам необходим бюджет великой державы, и потому очень, очень нужны деньги; спрашивается: кто же их будет выплачивать через эти пятнадцать лет, если настоящий порядок продолжится? Труд, промышленность? ибо правильный бюджет окупается лишь трудом и промышленностью. Но какой же образуется труд при таких кабаках?

Сшибки наши с Европой близятся к концу; роль прорубленного окна в Европу кончилась, и наступает что-то другое, должно наступить по крайней мере, и это теперь всяк сознает, кто хоть сколько-нибудь в состоянии мыслить. Одним словом, мы все более и более начинаем чувствовать, что должны быть к чему-то готовы, к какой-то новой и уже гораздо более оригинальной встрече с Европой, чем было это доселе, — в Восточном ли вопросе это будет или в чем другом, кто это знает!.. А потому всякие подобные вопросы, изучения, даже догадки, даже парадоксы, и те могут быть любопытны хоть тем одним, что могут навести на

мысль. А как же не любопытно такое явление, что те-то именно русские, которые наиболее считают себя европейцами, называются у нас «западниками», которые тщеславятся и гордятся этим прозвищем и до сих пор еще дразнят другую половину русских квасниками и зипунниками, — как же не любопытно, говорю я, что те-то скорее всех и примыкают к отрицателям цивилизации, к разрушителям ее, к «крайней левой», и что это вовсе никого в России не удивляет, даже вопроса никогда не составляло? Как же это не любопытно?

Я прямо скажу: у меня ответ составился, но я доказывать мою идею не буду, а лишь изложу ее слегка, попробую развить лишь факт. Да и нельзя доказывать уже по одному тому, что всего не докажешь.

Вот что мне кажется: не сказала ли в этом факте (то есть в примыкании к крайней левой, а в сущности, к отрицателям Европы даже самых яростных наших западников), — не сказала ли в этом протестующая русская душа, которой европейская культура была всегда, с самого Петра, ненавистна и во многом, слишком во многом, сказывалась чуждой русской душе? Я именно так думаю. О, конечно, этот протест происходил почти все время бессознательно, но дорого то, что чутье русское не умирало: русская душа хоть и бессознательно, а протестовала именно во имя своего русизма, во имя своего русского и подавленного начала?

Повторяю, все это происходило чрезвычайно оригинально: именно самые ярые-то западники наши, именно борцы-то за реформу и становились в то же время отрицателями Европы, становились в ряды крайней левой... И что же: вышло так, что тем самым сами и обозначили себя самыми ревностными русскими, борцами за Русь и за русский дух, чему, конечно, если б им в свое время разъяснить это, — или рассмеялись бы, или ужаснулись. Сомнения нет, что они не сознавали в себе никакой высоты протеста, напротив, все время, все два века отрицали свою высоту и не только высоту, но отрицали даже самое уважение к себе (были ведь и такие любители!) и до того, что тем дивили даже Европу; а выходит, что они-то вот и оказались настоящими русскими. Вот эту догадку мою я и называю моим парадоксом.

Белинский, например, страстно увлекавшийся по натуре своей человек, примкнул, чуть не из первых русских, прямо к европейским социалистам, отрицавшим уже весь порядок европейской цивилизации, а между тем у нас, в русской литературе, воевал со славянофилами до конца, по-видимому, совсем за противоположное. Как удивился бы он, если б те же славянофилы сказали ему тогда, что он-то и есть самый крайний боец за русскую правду, за русскую особь, за русское начало, именно за все то, что он отрицал в России для Европы, считал басней, мало того: если б доказали ему, что в некотором смысле

он-то и есть по-настоящему консерватор, — и именно потому, что в Европе он социалист и революционер? Да и в самом деле оно ведь почти так и было. Тут вышла одна великая ошибка с обеих сторон, и прежде всего та, что все эти тогдашние западники Россию смешали с Европой, приняли за Европу серьезно и — отрицая Европу и порядок ее, думали, что то же самое отрицание можно приложить и к России, тогда как Россия вовсе была не Европа, а только ходила в европейском мундире, но под мундиром было совсем другое существо. Разглядеть, что это не Европа, а другое существо, и приглашали славянофилы, прямо указывая, что западники уравнивают нечто непохожее и несоизмеримое и что заключение, которое пригодно для Европы, неприложимо вовсе к России, отчасти и потому уже, что все то, чего они желают в Европе, — все это давно уже есть в России, по крайней мере в зародыше и в возможности, и даже составляет сущность ее, только не в революционном виде, а в том, в каком и должны эти идеи всемирного человеческого обновления явиться: в виде божеской правды, в виде Христовой истины, которая когда-нибудь да осуществится же на земле и которая всецело сохраняется в православии. Они приглашали сперва поучиться России, а потом уже делать выводы; но учиться тогда нельзя было, да, по правде, и средств не было. Да и кто тогда мог что-нибудь знать о России? Славянофилы, конечно, знали во сто раз более западников (и это minimum), но и они действовали почти что ошупью, умозрительно и отвлеченно, опираясь более на чрезвычайное чутье свое. Научиться чему-нибудь стало возможным лишь в последнее двадцатилетие: но кто и теперь-то что-нибудь знает о России? Много-много, что начало положено изучению, а чуть явится вдруг важный вопрос — и все у нас тотчас же в разноголосицу. Ну вот, начинается вновь теперь Восточный вопрос: ну, сознайтесь, много ли у нас, и кто именно — способны согласиться по этому вопросу на какое-нибудь одно общее решение? И это в таком важном, великом, в таком роковом и национальном нашем вопросе! Да что Восточный вопрос! Куда брать такие большие вопросы! Посмотрите на сотни, на тысячи наших внутренних и обыденных, текущих вопросов — и что за всеобщая шаткость, что за неустановившийся взгляд, что за непривычка к делу! Вот Россию безлесят, помещики и мужики сводят лес с каким-то остервенением. Положительно можно сказать, что он идет за десятую долю цены, ибо — долго ли протянется предложение? Дети наши не успеют подрасти, как на рынке будет уже в десять раз меньше леса. Что же выйдет, — может быть гибель. А между тем, подите, попробуйте сказать что-нибудь о сокращении прав на истребление леса, и что услышите? С одной стороны, государственная и национальная необходимость, а с другой — нарушение прав собственности, две идеи противоположные. Тотчас же явятся два лагеря, и неизвестно еще, к чему примкнет либеральное, все решающее мнение. Да два ли, полно, лагеря? И дело

станет надолго. Кто-то сострил в нынешнем либеральном духе, что нет худа без добра и что если и сведут весь русский лес, то все же останется хоть та выгода, что окончательно уничтожится телесное наказание розгами, потому что волостным судам нечем уж будет провинившихся мужиков и баб пороть. Конечно, это утешение, но и этому как-то не верится: хоть не будет совсем леса, а на порку всегда хватит, из-за границы провозить станут.

Почему это все у нас? Почему такая нерешимость и несогласие на всякое решение, на какое бы ни было даже решение (и заметьте: ведь это правда)? По-моему, вовсе не от бездарности нашей и не от неспособности нашей к делу, а от продолжающегося нашего незнания России, ее сути и особи, ее смысла и духа, несмотря на то, что, сравнительно, со времен Белинского и славянофилов у нас уже прошло теперь двадцать лет школы. И даже вот что: в эти двадцать лет школы изучение России фактически даже очень продвинулось, а чутье русское, кажется, уменьшилось сравнительно с прежним. Что за причина? Но если славянофилов спасало тогда их русское чутье, то чутье это было и в Белинском, и даже так, что славянофилы могли бы счесть его своим самым лучшим другом. Повторяю, тут было великое недоразумение с обеих сторон. Недаром сказал Аполлон Григорьев, тоже говоривший иногда довольно чуткие вещи, что «если б Белинский прожил долее, то наверное бы примкнул к славянофилам». В этой фразе была мысль.

Итак, скажут мне, вы утверждаете, что «всякий русский, обращаясь в европейского коммунара, тотчас же и тем самым становится русским консерватором»? Ну нет, это было бы уже слишком рискованно заключить. Я только хотел заметить, что в этой идее, даже и буквально взятой, есть капельку правды. Тут, главное, много бессознательного, а с моей стороны, может быть, слишком сильная вера в непрерывающееся русское чутье и в живучесть русского духа. Но пусть, пусть я и сам знаю, что тут парадокс, но вот что, однако, мне хотелось бы представить на вид в заключение: это тоже один факт и один вывод из факта. Я сказал выше, что русские отличаются в Европе либерализмом и что, по крайней мере, девять десятых примыкает к левой, и к крайней левой, чуть только они соприкоснутся с Европой... На цифре я не настаиваю, может быть, их и не девять десятых, но настаиваю лишь на том, что либеральных русских даже несравненно больше, чем нелиберальных. Но есть и нелиберальные русские. Да, действительно есть и всегда были такие русские (имена многих из них известны), которые не только не отрицали европейской цивилизации, но, напротив, до того преклонялись перед нею, что уже теряли последнее русское чутье свое, теряли русскую личность свою, теряли язык свой, меняли родину и если не переходили в иностранные подданства, то, по крайней мере, оставались в Европе целыми поколениями. Но факт тот, что все этикие, в противоположность либеральным русским, в противоположность

их атеизму и коммунарству, немедленно примыкали к правой, и крайней правой, и становились страшными и уже европейскими консерваторами...

Итак, получилось два типа цивилизованных русских: европейец Белинский, отрицавший в то же время Европу, оказался в высшей степени русским, несмотря на все провозглашенные им о России заблуждения, а коренной и древнейший русский князь Гагарин, став европейцем, нашел необходимым не только перейти в католичество, но уже прямо перескочить в иезуиты. Кто же, скажите теперь, из них больше друг России? Кто из них остался более русским? И не подтверждает ли этот второй пример (о крайней правой) мой первоначальный парадокс, состоящий в том, что русские европейские социалисты и коммунары — прежде всего не европейцы и кончат-таки тем, что станут опять коренными и славными русскими, когда рассеется недоумение и когда они выучатся России, и — второе, что русскому ни за что нельзя обратиться в европейца серьезного, оставаясь хоть сколько-нибудь русским, а коли так, то и Россия, стало быть, есть нечто совсем самостоятельное и особенное, на Европу совсем непохожее и само по себе серьезное. Да и сама Европа, может быть, вовсе несправедлива, осуждая русских и смеясь над ними за революционерство: мы, стало быть, революционеры не для разрушения только, там, где не строили, не как гунны и татары, а для чего-то другого, чего мы пока, правда, и сами не знаем (а те, кто знает, те про себя таят). Одним словом, мы — революционеры, так сказать, по собственной какой-то необходимости, так сказать, даже из консерватизма...

Вера в то, что хочешь и можешь сказать последнее слово миру, что обновишь наконец его избытком живой силы своей, вера в святость своих идеалов, вера в силу своей любви и жажды служения человечеству, — нет, такая вера есть залог самой высшей жизни наций, и только ею они и принесут всю ту пользу человечеству, которую предназначено им принести, всю ту часть жизненной силы своей и органической идеи своей, которую предназначено им самой природой, при создании их, уделить в наследство грядущему человечеству. Только сильная такой верой нация и имеет право на высшую жизнь. Древний легендарный рыцарь верил, что пред ним падут все препятствия, все призраки и чудовища и что он победит все и всех и всего достигнет, если только верно сохранит свой обет «справедливости, целомудрия и вдеты». Вы скажете, что все это легенды и песни, которым может верить один Дон-Кихот, и что совсем не таковы законы действительной жизни нации. Ну, так я вас, господа, нарочно

поймаю и уличу, что и вы такие же Дон-Кихоты, что у вас самих есть такая же идея, которой вы верите и через которую хотите обновить человечество!

В самом деле, чему вы верите? Вы верите (да и я с вами) в общечеловечность, то есть в то, что падут когда-нибудь, перед светом разума и сознания, естественные преграды и предрассудки, разделяющие до сих пор свободное общение наций эгоизмом национальных требований, и что тогда только народы заживут одним духом и ладом, как братья, разумно и любовно стремясь к общей гармонии. Что ж, господа, что может быть выше и святее этой веры вашей? И главное ведь то, что веры этой вы нигде в мире не найдете, ни у какого, например, народа в Европе, где личности наций чрезвычайно резко очерчены, где если есть эта вера, то не иначе, как на степени какого-нибудь еще умозрительного только сознания, положим, пылкого и пламенного, но все же не более как кабинетного. А у вас, господа, то есть не то что у вас, а у нас, у нас всех, русских, — эта вера есть вера всеобщая, живая, главнейшая; все у нас этому верят и сознательно и просто, и в интеллигентном мире и живым чутьем в простом народе, которому и религия его повелевает этому самому верить. Да, господа, вы думали, что вы только одни «общечеловеки» из всей интеллигенции русской, а остальные только славянофилы да националисты? Так вот нет же: славянофилы-то и националисты верят точь-в-точь тому же самому, как и вы, да еще крепче вашего!

Возьму только одних славянофилов: ведь что провозглашали они устами своих передовых деятелей, основателей и представителей своего учения? Они прямо, в ясных и точных выводах, заявляли, что Россия, вкупе со славянством и во главе его, скажет величайшее слово всему миру, которое тот когда-либо слышал, и что это слово именно будет заветом общечеловеческого единения, и уже не в духе личного эгоизма, которым люди и нации искусственно и неестественно единятся теперь в своей цивилизации, из борьбы за существование, положительной наукой определяя свободному духу нравственные границы, в то же время роя друг другу ямы, произнося друг на друга ложь, хулу и клевету. Идеалом славянофилов было единение в духе истинной широкой любви, без лжи и материализма и на основании личного великодушного примера, который предназначено дать собою русскому народу во главе свободного всеславянского единения в Европе. Вы скажете мне, что вы во все потому верите, что все это кабинетные умозрения. Но дело тут вовсе не в вопросе: как кто верует, а в том, что все у нас, несмотря на всю разногласицу, все же сходятся и сводятся к этой одной окончательной общей мысли общечеловеческого единения. Это факт, не подлежащий сомнению и сам в себе удивительный, потому что, на степени такой живой и главнейшей потребности, этого чувства нет еще нигде ни в одном народе. Но если так, то вот и у нас, стало быть, у нас всех, есть твердая и определенная национальная идея; именно

национальная. Следовательно, если национальная идея русская есть, в конце концов, лишь всемирное общечеловеческое единение, то, значит, вся наша выгода в том, чтобы всем, прекратив все раздоры до времени, стать поскорее русскими и национальными. Все спасение наше лишь в том, чтоб не спорить заранее о том, как осуществится эта идея и в какой форме, в вашей или в нашей, а в том, чтоб из кабинета всем вместе перейти прямо к делу.

Ведь вы как переходили к делу? Вы ведь давно начали, очень давно, но что, однако, вы сделали для общечеловечности, то есть для торжества вашей идеи? Вы начали с бесцельного скитальничества по Европе при алчном желании переродиться в европейцев, хотя бы по виду только. Целое восемнадцатое столетие мы только и делали, что пока лишь вид принимали. Мы нагоняли на себя европейские вкусы, мы даже ели всякую пакость, стараясь не морщиться: «Вот, дескать, какой я англичанин, ничего без кайенского перцу есть не могу». Вы думаете, я издеваюсь? Ничуть. Я слишком понимаю, что иначе и нельзя было начать. Еще до Петра, при московских еще царях и патриархах, один тогдашний молодой московский франт, из передовых, надел французский костюм и к боку прицепил европейскую шпагу. Мы именно должны были начать с презрения к своему и к своим, и если пробыли целые два века на этой точке, не двигаясь ни взад ни вперед, то, вероятно, таков уж был наш срок от природы. Правда, мы и двигались: презрение к своему и к своим все более и более возрастало, особенно когда мы посерьезнее начали понимать Европу, в Европе нас, впрочем, никогда не смущали резкие разъединения национальностей и резко определившиеся типы народных характеров. И с того и начали, что прямо «сняли все противоположности» и получили общечеловеческий вид «европейца» — то есть с самого начала пометили общее, всех их связующее, — это очень характерно. Затем с течением времени поумнев еще более, мы прямо ухватились за цивилизацию и тотчас же уверовали, слепо и преданно, что в ней-то и заключается то «всеобщее», которому предназначено соединить человечество воедино. Даже европейцы удивлялись, глядя на нас, на чужих и пришельцев, этой восторженной вере нашей, тем более что сами они, увы, стали уж и тогда помаленьку терять эту веру в себя. Мы с восторгом встретили пришествие Руссо и Вольтера, мы с путешествующим Карамзиным умилительно радовались созванию «Национальных Штатов» в 89 году, и если мы и приходили потом в отчаяние, в конце первой четверти уже нынешнего века, вместе с передовыми европейцами над их погибшими мечтами и разбитыми идеалами, то веры нашей все-таки не потеряли и даже самих европейцев утешали. Даже самые «белые» из русских у себя в отечестве становились в Европе тотчас же «красными» — чрезвычайно характерная тоже черта. Затем, в половине текущего столетия, некоторые из нас удостоились приобщиться к французскому социализму и приняли его, без малейших

колебаний, за конечное разрешение всечеловеческого единения, то есть за достижение всей увлекавшей нас доселе мечты нашей. Таким образом, за достижение цели мы приняли то, что составляло верх эгоизма, верх бесчеловечия, верх экономической бестолковщины и безурядицы, верх клеветы на природу человеческую, верх уничтожения всякой свободы людей, но это нас не смущало нисколько. Напротив, видя грустное недоумение иных глубоких европейских мыслителей, мы с совершенною развязностью немедленно обозвали их подлецами и тупицами. Мы вполне поверили, да и теперь еще верим, что положительная наука вполне способна определить нравственные границы между личностями единиц и наций (как будто наука, — если б и могла это она сделать, — может открыть эти тайны раньше завершения опыта, то есть раньше завершения всех судеб человека на земле). Наши помещики продавали своих крепостных крестьян и ехали в Париж издавать социальные журналы, а наши Рудины умирали на баррикадах. Тем временем мы до того уже оторвались от своей земли русской, что уже утратили всякое понятие о том, до какой степени такое учение рознится с душой народа русского. Впрочем, русский народный характер мы не только считали ни во что, но и не признавали в народе никакого характера. Мы забыли и думать о нем и с полным деспотическим спокойствием были убеждены (не ставя и вопроса), что народ наш тотчас примет все, что мы ему укажем, то есть в сущности прикажем. На этот счет у нас всегда ходило несколько смешнейших анекдотов о народе. Наши общечеловеки пребыли к своему народу вполне помещиками, и даже после крестьянской реформы.

И чего же мы достигли? Результатов странных: главное, все на нас в Европе смотрят с насмешкой, а на лучших и бесспорно умных русских в Европе смотрят с высокомерным снисхождением. Не спасала их от этого высокомерного снисхождения даже и самая эмиграция из России, то есть уже политическая эмиграция и полнейшее от России отречение. Не хотели европейцы нас почесть за своих ни за что, ни за какие жертвы и ни в каком случае: Grattez, дескать, le russe et vous verrez le tartare⁷ и так доселе.

Мы у них в пословицу вошли. И чем больше мы им в угоду презирали нашу национальность, тем более они презирали нас самих. Мы виляли пред ними, мы подобострастно исповедовали им наши «европейские» взгляды и убеждения, а они свысока нас не слушали и обыкновенно прибавляли с учтивой усмешкой, как бы желая поскорее отвязаться, что мы это все у них «не так поняли». Они именно удивлялись тому, как это мы, будучи такими татарами (les tartar никак не можем стать русскими; мы же никогда не могли растолковать им, что мы хотим быть не русскими, а общечеловеками. Правда, в последнее время они что-то даже поняли. Они поняли, что мы чего-то хотим, чего-то им страшного и

⁷ Поскребите русского, и вы увидите татарина (франц.).

опасного; поняли, что нас много, восемьдесят миллионов, что мы знаем и понимаем все европейские идеи, а что они наших русских идей не знают, а если и узнают, то не поймут; что мы говорим на всех языках, а что они говорят лишь на одних своих, — ну и многое еще они стали смекать и подозревать. Кончилось тем, что они прямо обозвали нас врагами и будущими сокрушителями европейской цивилизации. Вот как они поняли нашу страстную цель стать общечеловеками!

А между тем нам от Европы никак нельзя отказаться. Европа нам второе отечество, — я первый страстно исповедую это и всегда исповедовал. Европа нам почти так же всем дорога, как Россия; в ней все Иафетово племя, а наша идея — объединение всех наций этого племени, и даже дальше, гораздо дальше, до Сима и Хама. Как же быть?

Стать русскими во-первых и прежде всего. Если общечеловечность есть идея национальная русская, то прежде всего надо каждому стать русским, то есть самим собой, и тогда с первого шагу все изменится. Стать русским значит перестать презирать народ свой. И как только европеец увидит, что мы начали уважать народ наш и национальность нашу, так тотчас же начнет и он нас самих уважать. И действительно: чем сильнее и самостоятельнее развились бы мы в национальном духе нашем, тем сильнее и ближе отозвались бы европейской душе и, породнившись в нею, стали бы тотчас ей понятнее. Тогда не отвергивались бы от нас высокомерно, а выслушивали бы нас. Мы и на вид тогда станем совсем другие. Став самими собой, мы получим наконец облик человеческий, а не обезьяний. Мы получим вид свободного существа, а не раба, не лакея, не Потугина; нас сочтут тогда за людей, а не за международную обшмыгу, не за стрюцких европеизма, либерализма и социализма. Мы и говорить будем с ними умнее теперешнего, потому что в народе нашем и в духе его отыщем новые слова, которые уж непременно станут европейцам понятнее. Да и сами мы поймем тогда, что многое из того, что мы презирали в народе нашем, есть не тьма, а именно свет, не глупость, а именно ум, а поняв это, мы непременно произнесем в Европе такое слово, которого там еще не слыхали. Мы убедимся тогда, что настоящее социальное слово несет в себе не кто иной, как народ наш, что в идее его, в духе его заключается живая потребность всеединения человеческого, всеединения уже с полным уважением к национальным личностям и к сохранению их, к сохранению полной свободы людей и с указанием, в чем именно эта свобода и заключается, — единение любви, гарантированное уже делом, живым примером, потребностью на деле истинного братства, а не гильотиной, не миллионами отрубленных голов...

А впрочем, неужели и впрямь я хотел кого убедить. Это была шутка. Но — слаб человек: авось прочтет кто-нибудь из подростков, из юного поколения...

Русские люди долго и серьезно ненавидеть не умеют, и не только людей, но даже пороки, мрак невежества, деспотизм, обскурантизм, ну и все эти прочие ретроградные вещи. У нас сейчас готовы помириться, даже при первом случае, ведь не правда ли? В самом деле, подумайте: за что нам ненавидеть друг друга? За дурные поступки? Но ведь это тема прескользящая, прещекотливая и пренесправедливая, — одним словом: обоюдоострая; по крайней мере, в настоящее время за нее лучше не приниматься. Остается ненависть из-за убеждений; но тут-то уж я в высшей степени не верю в серьезность наших ненавистей. Были, например, у нас когда-то славянофилы и западники и очень воевали. Но теперь, с уничтожением крепостного права, закончилась реформа Петра, и наступил всеобщий *sauve qui peut*⁸. И вот, славянофилы и западники вдруг сходятся в одной и той же мысли, что теперь нужно всего ожидать от народа, что он встал, идет и что он, и только он один, скажет у нас последнее слово. На этом, казалось бы, славянофилам и западникам можно было и примириться; но случилось не так: славянофилы верят в народ, потому что допускают в нем свои собственные, ему свойственные начала, а западники соглашаются верить в народ единственно под тем условием, чтобы у него не было никаких своих собственных начал. Ну вот драка и продолжается; что же бы вы думали? Я даже и в самую драку не верю: драка дракой, а любовь любовью. И почему дерущиеся не могли бы в то же время любить друг друга? Напротив, это даже очень часто у нас случается, в тех случаях, когда подерутся уж слишком хорошие люди. А почему мы не хорошие люди (опять-таки кроме дрянных)? Ведь деремса-то мы главное и единственно из-за того, что теперь вдруг настало время уже не теорий, не журнальных сшибок, а дела и практического решения. Вдруг потребовалось высказать слово положительное — по воспитанию, по педагогике, по железным дорогам, по земству, по медицинской части и т. д., и т. д., на сотни тем, и, главное, все это сейчас и как можно скорее, чтобы не задерживать дела; а так как все мы, за двухсотлетней отвычкой от всякого дела, оказались совершенно неспособными даже на малейшее дело, то естественно, что все вдруг и вцепились друг другу в волосы, и даже так, что чем более кто почувствовал себя неспособным, тем пуше и полез в драку. Что же тут нехорошего, я спрошу вас. Это только трогательно и более ничего. Взгляните на детей: дети дерутся именно тогда, когда еще не научились выражать свои мысли, ну вот точь-в-точь так и мы. Ну и что же, тут вовсе нет ничего безотрадного; напротив, это отчасти доказывает лишь нашу свежесть и, так сказать, непочатость. Положим, у нас, в литературе например, за неимением мыслей,

⁸ Потоп; букв. — сигнал тревоги: «Спасайся кто может!» (франц.).

бранятся всеми словами разом: прием невозможный, наивный, у первобытных народов лишь замечающийся, но ведь, ей-богу, даже и в этом есть опять нечто почти трогательное: именно эта неопытность, эта детская неумелость даже и выбраться как следует. Я вовсе не смеюсь и не глумлюсь: есть у нас повсеместное честное и светлое ожидание добра (это уж как хотите, а это так), желание общего дела и общего блага, и это прежде всякого эгоизма, желание самое наивное и полное веры и при этом ничего обособленного, кастового, а если и встречается в маленьких и редких явлениях, то как нечто неприметное и всеми презираемое. Это очень важно, знаете чем: тем, что это не только не мало, но даже и очень много. Ну вот и довольно бы с нас: зачем нам еще какой-то там «прочной ненависти». Честность, искренность нашего общества не только не подвержены сомнению, но даже бьют в глаза. Вглядитесь и увидите, что у нас прежде всего вера в идею, в идеал, земные блага лишь потом. О, дурные людишки успевают и у нас обдeldывать свои дела, даже в самом противоположном смысле, и, кажется, в наше время несравненно больше, чем когда-либо прежде; но зато эти дрянные людишки никогда у нас не владеют мнением и не предводительствуют, а, напротив, даже будучи наверху честей, бывали не раз принуждаемы рабски подлаживаться под тон людей идеальных, молодых, отвлеченных, смешных для них и бедных. В этом смысле наше общество сходно с народом, тоже ценящим свою веру и свой идеал выше всего мирского и текущего, и в этом даже его главный пункт соединения с народом. Идеализм-то этот приятен и там и тут: утратить его, ведь никакими деньгами потом не купишь. Наш народ хоть и объят развратом, а теперь даже больше чем когда-либо, но никогда еще в нем не было безначалия, и никогда даже самый подлец в народе не говорил: «Так и надо делать, как я делаю», а, напротив, всегда верил и воздыхал, что делает он скверно, а что есть нечто гораздо лучшее, чем он и дела его. А идеалы в народе есть, и сильные, а ведь это главное: переменятся обстоятельства, улучшится дело, и разврат, может быть, и соскочит с народа, а светлые-то начала все-таки в нем останутся незыблее и святее, чем когда-либо прежде. Юношество наше ищет подвигов и жертв. Современный юноша, о котором так много говорят в разном смысле, часто обожает самый простодушный парадокс и жертвует для него всем на свете, судьбою и жизнью; но ведь все это единственно потому, что считает свои парадоксы за истину. Тут лишь непросвещение: подоспеет свет, и сами собою явятся другие точки зрения, а парадоксы исчезнут, но зато не исчезнет в нем чистота сердца, жажда жертв и подвигов, которая в нем так светится теперь, — а вот это-то и всего лучше. О, другое дело и другой вопрос: в чем именно мы все, ищущие общего блага и сходящиеся повсеместно в желании успеха общему делу, — в чем именно мы полагаем средства к тому?

Надо признаться, что у нас в этом отношении совсем не спелись, и даже так, что наше современное общество весьма похоже в этом смысле на маршала Мак-Магона. В одну из поездок своих, весьма недавних, по Франции, почтенный маршал в одной из торжественных ответных речей своих какому-то мэру (а французы такие любители всяких встречных и ответных речей) объявил, что, по его мнению, вся политика заключается для него лишь в слове: «Любовь к отечеству». Мнение это было изречено, когда вся Франция, так сказать, напрягалась в ожидании того, что он скажет. Мнение странное, бесспорно похвальное, но удивительно неопределенное, ибо тот же мэр мог бы возразить его превосходительству, что иною любовью можно и утопить отечество. Но мэр не возразил ничего, конечно, испугавшись получить в ответ: «j'y suis et j'y reste»⁹ — фразу, дальше которой почтенный маршал, кажется, не пойдет. Но хотя бы и так, а все-таки это точь-в-точь как и в нашем обществе: все мы сходимся в любви если не к отечеству, то к общему делу (слова ничего не значат), — но в чем мы понимаем средства к тому, и не только средства, но и самое-то общее дело, — вот в этом у нас такая же неясность, как и у маршала Мак-Магона. И потому, хоть я и угодил иным и ценю, что мне протянули руку, ценю очень, но все-таки предчувствую чрезвычайные размолвки в дальнейших подробностях, ибо не могу же я во всем и со всеми быть согласным, каким бы складным человеком я ни был.

Я вот, например, написал в январском номере «Дневника», что народ наш груб и невежествен, предан мраку и разврату, «варвар, ждущий света». А между тем я только что прочел в «Братской помочи» (сборник, изданный Славянским комитетом в пользу дерущихся за свою свободу славян), — в статье незабвенного и дорогого всем русским покойного Константина Аксакова, что русский народ — давно уже просвещен и «образован». Что же? Смутился ли я от такого, по-видимому, разногласия моего с мнением Константина Аксакова? Нисколько, а вполне разделяю это же самое мнение, горячо и давно ему сочувствую. Как же я соглашаю такое противоречие? Но в том и дело, что, по-моему, это очень легко согласить, а по другим, к удивлению моему, до сих пор эти обе темы несогласимы. В русском человеке из простонародья нужно уметь отвлекать красоту его от наносного варварства. Обстоятельствами всей почти русской истории народ наш до того был предан разврату и до того был развращаем, соблазняем и постоянно мучим, что еще удивительно, как он дожил, сохранив человеческий образ, а не то что сохранив красоту его. Но он сохранил и красоту своего образа. Кто истинный друг человечества, у кого хоть раз билось сердце по страданиям народа, тот поймет и извинит всю непроходимую наносную грязь, в которую погружен народ наш, и сумеет отыскать в этой грязи бриллианты. Повторяю: судите русский народ не

⁹ «Я так сказал, и баста!» (франц.) (букв.: «Я здесь и здесь останусь»).

по тем мерзостям, которые он так часто делает, а по тем великим и святым вещам, по которым он и в самой мерзости своей постоянно вздыхает. А ведь не все же и в народе — мерзавцы, есть прямо святые, да еще какие: сами светят и всем нам путь освещают! Я как-то слепо убежден, что нет такого подлеца и мерзавца в русском народе, который бы не знал, что он подл и мерзок, тогда как у других бывает так, что делает мерзость, да еще сам себя за нее похваливает, в принцип свою мерзость возводит, утверждает, что в ней-то и заключается l'ordre¹⁰ и свет цивилизации, и несчастный кончает тем, что верит тому искренно, слепо и даже честно. Нет, судите наш народ не по тому, чем он есть, а по тому, чем желал бы стать. А идеалы его сильны и святы, и они-то и спасли его в века мучений; они срослись с душой его искони и наградили ее навеки простодушием и честностью, искренностью и широким всеоткрытым умом, и все это в самом привлекательном гармоническом соединении. А если притом и так много грязи, то русский человек и тоскует от нее всего более сам, и верит, что все это — лишь наносное и временное, наваждение дьявольское, что кончится тьма и что непременно воссияет когда-нибудь вечный свет...

Вопрос о народе и о взгляде на него, о понимании его теперь у нас самый важный вопрос, в котором заключается все наше будущее, даже, так сказать, самый практический вопрос наш теперь. И однако же, народ для нас всех — все еще теория и продолжает стоять загадкой. Все мы, любители народа, смотрим на него как на теорию, и, кажется, ровно никто из нас не любит его таким, каким он есть в своем деле, а лишь таким, каким мы его каждый себе представили. И даже так, что если б народ русский оказался впоследствии не таким, каким мы каждый его представили, то, кажется, все мы, несмотря на всю любовь нашу к нему, тотчас бы отступились от него без всякого сожаления. Я говорю про всех, не исключая и славянофилов; те-то даже, может быть, пуще всех. Что до меня, то я не потаю моих убеждений, именно чтобы определить яснее дальнейшее направление, в котором пойдет мой «Дневник», во избежание недоразумений, так что всякий уже будет знать заранее: стоит ли мне протягивать литературную руку или нет? Я думаю так: вряд ли мы столь хороши и прекрасны, чтоб могли поставить самих себя в идеал народу и потребовать от него, чтоб он стал непременно таким же, как мы. Не дивитесь вопросу, поставленному таким нелепым углом. Но вопрос этот у нас никогда иначе и не ставился; «Что лучше — мы или народ? Народу ли за нами или нам за народом?» — вот что теперь все говорят, из тех, кто хоть капельку не лишен мысли в голове и заботы по общему делу в сердце. А потому и я отвечу искренно: напротив, это мы должны преклониться перед народом и ждать от него всего, и

¹⁰ Порядок (франц.).

мысли и образа; преклониться пред правдой народной и признать ее за правду, даже и в том ужасном случае, если она вышла бы отчасти и из Четьи-Минеи. Одним словом, мы должны склониться, как блудные дети, двести лет не бывшие дома, но воротившиеся, однако же, все-таки русскими, в чем, впрочем, великая наша заслуга. Но, с другой стороны, преклониться мы должны под одним лишь условием, и это *sin qua non*¹¹: чтоб народ и от нас принял многое из того, что мы принесли с собой. Не можем же мы совсем перед ним уничтожиться, и даже перед какой бы то ни было его правдой; наше пусть остается при нас, и мы не отдадим его ни за что на свете, даже, в крайнем случае, и за счастье соединения с народом. В противном случае пусть уж мы оба погибаем врозь. Да и противного случая и не будет вовсе; я же совершенно убежден, что это нечто, что мы принесли с собой, существует действительно, — не мираж, а имеет и образ и форму, и вес. Тем не менее, опять повторяю, многое впереди загадка, и до того, что даже страшно и ждать. Предсказывают, например, что цивилизация испортит народ: это будто бы такой ход дела, при котором, рядом с спасением и светом, вторгается столько ложного и фальшивого, столько тревоги и сквернейших привычек, что разве лишь в поколениях впереди, опять-таки, пожалуй, через двести лет, возрастут добрые семена, а детей наших и нас, может быть, ожидает что-нибудь ужасное. Так ли это по-вашему, господа? Назначено ли нашему народу непременно пройти еще новый фазис разврата и лжи, как прошли и мы его с прививкой цивилизации? (Я думаю, никто ведь не заспорит, что мы начали нашу цивилизацию прямо с разврата?) Я бы желал услышать на этот счет что-нибудь утешительное. Я очень наклонен уверовать, что наш народ такая огромность, что в ней уничтожатся, сами собой, все новые мутные потоки, если только они откуда-нибудь выскочат и потекут. Вот на это давайте руку; давайте способствовать вместе, каждый «микроскопическим» своим действием, чтоб дело обошлось прямее и безошибочнее. Правда, мы сами-то не умеем тут ничего, а только «любим отечество», в средствах не согласимся и еще много раз поссоримся; но ведь если уж решено, что мы люди хорошие, то что бы там ни вышло, а ведь дело-то, под конец, наладится. Вот моя вера. Повторяю: тут двухсотлетняя отвычка от всякого дела и более ничего. Вот через эту-то отвычку мы и покончили наш «культурный период» тем, что повсеместно перестали понимать друг друга. Конечно, я говорю лишь о серьезных и искренних людях, — это они только не понимают друг друга; а спекулянты дело другое: те друг друга всегда понимали...

¹¹ Обязательно (*лат.*)

Первый корень, первый самый главный корень, который предстоит непременно и как можно скорее оздоровить, — это, без сомнения, все тот же русский народ, все тот же море-океан, о котором я сейчас мою речь завел. Я про простой наш народ теперь говорю, про простолюдина и мужика, про платежную силу, про мозольные рабочие руки, про море-океан. О, как не знать мне, что сделало и делает для него беспрерывно наше правительство в нынешнее царствование, начиная с освобождения его от крепостной зависимости? Да, оно заботится о его нуждах, о его просвещении, лечении, прощает ему даже недоимки при случае, — одним словом, делает и заботится много, кто ж про это не знает. Но я не про это хочу начать речь: я разумею лишь духовное оздоровление этого великого корня, который есть начало всему. Да, он духовно болен, о, не смертельно: главная, мощная сердцевина его души здорова, но все-таки болезнь жестока. Какая же она, как она называется? Трудно это выразить в одном слове. Можно бы вот как сказать: «Жажда правды, но неутоленная». Ищет народ правды и выхода к ней беспрерывно и все не находит. Хотелось бы мне ограничиться тут лишь финансовой точкой взгляда на эту болезнь, но придется прибавить и несколько старых слов. С самого освобождения от крепостной зависимости явилась в народе потребность и жажда чего-то нового, уже не прежнего, жажда правды, но уже полной правды, полного гражданского воскресения своего в новую жизнь после великого освобождения его. Затребовалось новое слово, стали закипать новые чувства, стало глубоко вериться в новый порядок. После первого периода посредников первого призыва наступило вдруг нечто иное, чем ожидал народ. Наступил порядок, в который народ и рад был уверовать, но мало что в нем понимал. Не понимал он его, терялся, а потому и не мог уверовать. Являлось что-то внешнее, что-то как бы ему чужое и не его собственное. Пережевывать эту тему, столь давно пережеванную, нечего, другие расскажут про это лучше моего, — прочтите хоть в журнале «Русь». Явилось затем бесшабашное пьянство, пьяное море как бы разлилось по России, и хоть свирепствует оно и теперь, но все-таки наяды нового, правды новой, правды уже полной народ не утратил, упиваясь даже и вином. И никогда, может быть, не был он более склонен к иным влияниям и веяниям и более беззащитен от них, как теперь. Возьмите даже какую-то штунду (и посмотрите на ее успех в народе: что свидетельствует она? Искание правды и беспокойство по ней. Именно беспокойство; народ теперь именно «обеспокоен» нравственно. Я убежден даже, что если нигилистическая пропаганда не нашла до сих пор путей «в народ», то единственно по неумелости, глупости и неподготовленности пропагаторов, не умевших даже и подойти к

народу. А то, при самой малой умелости, и они бы проникли, как проникла и штунда. О, надо беречь народ. Сказано: «Будут времена, скажут вам: се здесь Христос, или там, не верьте». Вот и теперь как будто нечто похожее совершается, и не только в народе, но, пожалуй, даже и у нас наверху. Ну, разве не волнуется народ разными необычными слухами о переделе, например, наделов, о новых золотых грамотах? Недавно им читали по церквям, чтоб не верили, что ничего не будет, и вот, — верите ли: именно после этого чтения и утвердилась, по местам, еще более мысль, что «будет»: «Даром бы читать не стали, а коли уж зачали читать, значит будет». Вот что они заговорили тотчас же после чтения, по крайней мере по местам. Я именно знаю случай: покупали крестьяне у соседнего помещика землю и сошлись было в цене, а после этого чтения отступились: «И без денег возьмем». Посмеиваются и ждут. Я только про слухи говорю, про способность внимать им, свидетельствующую именно о нравственном беспокойствии народа. И вот что главное: народ у нас один, то есть в уединении, весь только на свои лишь силы оставлен, духовно его никто не поддерживает. Есть земство, но оно «начальство». Есть суд, но и то «начальство»; есть община, наконец, мир, но и то как будто бы уж теперь тянет к чему-то похожему на начальство. Газеты полны описаниями, как народ выбирает своих выборных, — в присутствии «начальства», непременно члена какого-нибудь, и что из этого происходит. Но анекдотов этих тысячи, пересчитывать не буду. Посмотрит иной простак кругом себя и вдруг выведет, что одному- де кулаку и мироеду житье, что как будто для них все и делается, так стану-де и я кулаком, — и станет. Другой, помирнее, просто сопьется, не потому, что бедность одолела, а потому, что от бесправицы тошно. Что же тут делать? Тут фатум. Ведь уж, кажется, дано управление, начальство, тут-то бы и успокоиться, — ан вышло почему-то наоборот. Вон высчитали, что у народа теперь, в этот миг, чуть ли два десятка начальственных чинов, специально к нему определенных, над ним стоящих, его оберегающих и опекающих. И без того уже бедному человеку все и всякий начальство, а тут еще двадцать штук специальных! Свобода-то движения ровно как у мухи, попавшей в тарелку с патокой. А ведь это не только с нравственной, но и с финансовой точки зрения вредно, то есть такая свобода движения. А главное, народ один, без советников. Есть у него бог и царь, — вот этими двумя силами и двумя великими надеждами он и держится. А другие советники все проходят мимо него, его не коснувшись. Вся прогрессивная интеллигенция, например, сплошь проходит мимо народа, ибо хотя и много в интеллигенции нашей толковых людей, но зато о народе русском мало кто имеет понятия. У нас только отрицают да беспрерывно жалуются: «Зачем-де не «оживляется» общество, и почему-де никак нельзя оживить его, и что же это за задача такая?» А потому нельзя оживить, что вы на

народ не опираетесь и что народ не с вами духовно и вам чужой. Вы как бы составляете верхнюю зону над народом, обернувшую землю Русскую, и для вас-то собственно, по крайней мере, как говорят и пишут у вас же, преобразователь и оставил народ крепостным, чтобы он, служа вам трудом своим, дал вам средство к европейскому просвещению примкнуть. Вы и просветились в два-то столетия, а народ-то от вас отделился, а вы от него. «Да не мы ли, — скажете вы, — об народе болеем, не мы ли об нем столь много пишем, не мы ли его и к нему призываем?» Так, вы все это делаете, но русский народ убежден почему-то, что вы не о нем болеете, а об каком-то ином народе, в вашу голову засевшем и на русский народ не похожем, а его так даже и презираете. Это презрительное отношение к народу, в некоторых из нас даже совсем бессознательное, положительно, можно сказать, невольное. Это остаток крепостного права. Началось же оно с тех пор, как был умерщвлен граждански народ для нашего европейского просвещения, и пребывает в нас несомненно доселе, когда и воскрес народ, и, знаете, нам даже и невозможно уже теперь сойтись с народом, если только не совершится какого чуда в земле Русской. Тут повторю весьма старые мои же слова: народ русский в огромном большинстве своем — православен и живет идеей православия в полноте, хотя и не понимает эту идею ответчиво и научно. В сущности в народе нашем кроме этой «идеи» и нет никакой, и все из нее одной и исходит, по крайней мере, народ наш так хочет, всем сердцем своим и глубоким убеждением своим. Он именно хочет, чтоб все, что у него есть и что дают ему, из этой лишь одной идеи и исходило. И это несмотря на то, что многое у самого же народа является и выходит до нелепости не из этой идеи, а смрадного, гадкого, преступного, варварского и греховного...

Не в коммунизме, не в механических формах заключается социализм народа русского: он верит, что спасется лишь в конце концов всесветным единением во имя Христово. Вот наш русский социализм! Вот над присутствием в народе русском этой высшей единительно-«церковной» идеи вы и смеетесь, господа европейцы наши. О, есть много и других «идей» в народе, с которыми вы никогда не сойдетесь и признаете их прямо татарскими в европейском мирозерцании вашем. Об них, об этих остальных идеях, я теперь и упоминать не буду, хотя это чрезвычайно важные идеи, которых правды вы вовсе не понимаете. Но теперь я об этой лишь главной идее народа нашего говоря, об чаянии им грядущей и зиждущейся в нем, судьбами божьими, его церкви вселенской. И тут прямо можно поставить формулу: кто не понимает в народе нашем его православия и окончательных целей его, тот никогда не поймет и самого народа нашего. Мало того: тот не может и любить народа русского (а у многих ведь из них, из европейцев-то наших, сердце чистое, справедливости и любви жаждущее), а будет любить его лишь таким, каким бы

желал его видеть и каким себе напредставит его. А так как народ никогда таким не делается, каким бы его хотели видеть наши умники, а останется самим собою, то и предвидится в будущем неминуемое и опасное столкновение. Ибо вышесказанная формула имеет и обратное значение, то есть никогда народ не примет такого русского европейца за своего человека: «Полюби сперва святыню мою, почти ты то, что я чту, и тогда ты точно таков как я, мой брат, несмотря на то, что ты одет не так, что ты барин, что ты начальство и что даже и по-русскому-то иной раз сказать хорошо не умеешь», — вот что вам скажет народ, ибо народ наш широк и умен. Он и не верующего в его святыню, хорошего человека иной раз почитит и полюбит, выслушает его, если тот умен, за совет поблагодарит и советом воспользуется. Ужиться народ русской со всяким может, ибо много видал видов, многое заметил и запомнил в долгую, тяжелую жизнь свою двух последних веков. (А вот вы даже и с этим не соглашаетесь, что он многое запомнил и заметил, а стало быть, и сознал, и что, стало быть, не совсем же он только косная масса и платежная сила, какими вы его определили.) Но ужиться, и даже любовно ужиться с человеком — дело одно, а своим человеком признать его — это совсем уже другое. А без этого признания не будет и единения.

Я лишь то хочу выразить, что силы, разъединяющие нас с народом, чрезвычайно велики и что народ остался один, в великом уединении своем, и кроме царя своего, в которого верует нерушимо, ни в ком и нигде опоры теперь уже не чает и не видит. И рад бы увидеть, да трудно ему разглядеть. А между тем — о, какая бы страшная, зиждательная и благословенная сила, новая, совсем уже новая сила явилась бы на Руси, если бы произошло у нас единение сословий интеллигентных с народом! Единение духовное то есть. О, господа министры финансов, не такие бы годовые бюджеты составляли вы тогда, какие составляете ныне! Молочные реки потекли бы в царстве, все идеалы ваши были бы достигнуты разом! «Да, но как это сделать, и неужели же виною тому европейское просвещение наше?» О, совсем не просвещение, да, по правде, его у нас и нет вовсе даже доселе, а разъединение-то все-таки пребывает и действительно вышло как бы во имя европейского просвещения, которого нет у нас. Но настоящее просвещение тут не виновато. Я даже так думаю: будь у нас настоящее, заправское просвещение, то и разъединения бы никакого не произошло у нас вовсе, потому что и народ просвещения жаждет. Но улетели мы от народа нашего, просветясь, на луну, и всякую дорогу к нему потеряли. Как же нам, таким отлетевшим людям, брать на себя заботу оздоровить народ? Как сделать, чтоб дух народа, тоскующий и обеспокоенный повсеместно, ободрился и успокоился? Ведь даже самые капиталы и движение их нравственного спокойствия ищут, а без нравственного спокойствия или прячутся, или непроизводительны. Как сделать, чтоб дух народа успокоился в правде и видя

правду? Может быть, правда-то есть и теперь, но надо, чтоб он ей поверил. Как внедрить в его душу, что правда есть в Русской земле и что высоко стоит ее знамя. Как сделать, например, чтоб он в свой суд уверовал, в свое представительство и признал его за плоть от плоти своей и за кость от костей своих? О, я не пускаюсь в подробности, где мне, и если даже начать все разьяснять и описывать, то, думаю, и «всему миру не вместить бы книг сих». Но если бы только хоть обеспечена была правда народа в будущем, так чтобы он вполне уверовал, что придет она непременно, если б только хоть капельку выбралась муха из тарелки с патокой, то и тогда бы совершилось дело великое и неисчислимое. Прямо скажу: вся беда от давнего разъединения высшего интеллигентного сословия с низшим, с народом нашим. Как же помирить верхний пояс с море-океаном и как успокоить море-океан, чтобы не случилось в нем большого волнения?..

Народ наш за формами не погонится, особенно за готовыми, чужеземными, которых ему вовсе не надо, ибо вовсе не то у него на уме, и не только никогда не бывало, но и никогда и не будет, потому что у него другой взгляд на это дело, особый, совсем его собственный. Да, в сем случае, народ наш, — такой народ, как наш, — может быть вполне удостоен доверия. Ибо кто же его не видал около царя, близ царя, у царя? Это дети царевы, дети заправские, настоящие, родные, а царь их отец. Разве это у нас только слово, только звук, только наименование, что «царь им отец»? Кто думает так, тот ничего не понимает в России! Нет, тут идея, глубокая и оригинальнейшая, тут организм, живой и могучий, организм народа, слиянного со своим царем воедино. Идея же эта есть сила. Создалась эта сила веками, особенно последними, страшными для народа двумя веками, которые мы столь восхваляем за европейское просвещение наше, забыв, что это просвещение обеспечено было нам еще два века назад крепостной кабалой и крестным страданием народа русского, нам служившего. Вот и ждал народ освободителя своего и дождался, — ну так как же они не настоящие, не заправские дети его? Царь для народа не внешняя сила, не сила какого-нибудь победителя (как было, например, с династиями прежних королей во Франции), а всенародная, всеединящая сила, которую сам народ восхотел, которую вырастил в сердцах своих, которую возлюбил, за которую претерпел, потому что от нее только одной ждал исхода своего из Египта. Для народа царь есть воплощение его самого, всей его идеи, надежд и верований его. Надежды эти еще недавно столь колоссально осуществились, — так как же народу отречься от дальнейших надежд? Как же, напротив, не усилиться им, не утвердиться, ибо царь после крестьянской реформы не в идее только, не в надежде лишь, а на деле ему стал отцом. Да ведь это отношение народа к царю как к отцу и есть у нас то настоящее, алмазное основание, на котором всякая реформа у нас может зиждиться и созиждется.

Если хотите, у нас в России и нет никакой другой силы, зиждущей, сохраняющей и ведущей нас, как эта органическая, живая связь народа с царем своим, и из нее у нас все и исходит...

Итак, этакому ли народу отказать в доверии? Пусть скажет он сам о нуждах своих и полную об них правду. Но, повторю это, пусть скажет сначала один; мы же, «интеллигенция народная», пусть станем пока смиренно в сторонке и сперва только поглядим на него, как он будет говорить, и послушаем. О, не из каких-либо политических целей я предложил бы устранить на время нашу интеллигенцию, — не приписывайте мне их, пожалуйста, — но предложил бы я это (уж извините, пожалуйста) — из целей лишь чисто педагогических. Да, пускай в сторонке пока постоим и послушаем, как ясно и толково сумеет народ свою правду сказать, совсем без нашей помощи, и об деле, именно об заправском деле в самую точку попадет, да и нас не обидит, коли об нас речь пойдет. Пусть тут же поучимся и смирению народному, и деловитости его, и реальности ума его, серьезности этого ума. Вы скажете: «Сами же вы говорили, как податлив народ на нелепые слухи, — какой же мудрости ожидать от него?» Так, но одно дело слухи, а другое — единение в общем деле. Явится целое, а целое повлияет само на себя и вызовет разум. Да, это будет воистину школою для всех нас и самую плодотворнейшею школою. Увидав от народа столько деловитости и серьезности, мы будем озадачены, и, уж конечно, явятся из нас, что не поверят глазам своим, но таких будет слишком мало, ибо все действительно искренние, все воистину жаждущие правды, а главное, дела, заправского дела и общей пользы, — такие все присоединятся к премудрому слову народному; все же неискренние разом обнаружат все свое содержание и обнаружатся сами. А если останутся и искренние, что и тогда в народ не уверуют, — то это какие-нибудь староверы и доктринеры сороковых и пятидесятих годов, старые, неисправимые дети, и они будут только смешны и безвредны. Все же, кроме них, в первый раз прочистят глаза свои и очистят пониманье свое. Действие может быть чрезвычайно важное по последствиям, ибо... ибо тут-то, в этой-то форме, может быть, и возможно начало и первый шаг духовного слияния всего интеллигентного сословия нашего, столь гордого пред народом, с народом нашим. Я про духовное лишь слияние говорю, — его только нам и надо, ибо оно страшно поможет всему, все переродит вновь, новую идею даст. Светлая, свежая молодежь наша, думаю я, тотчас же и прежде всех отдаст свое сердце народу и поймет его духовно впервые. Я потому так, и прежде всех, на молодежь надеюсь, что она у нас тоже страдает «исканием правды» и тоской по ней, а стало быть, она народу сродни наиболее и сразу поймет, что и народ ищет правды. А познакомясь столь близко с душою народа, бросит те крайние бредни, которые увлекли было столь многих из нее, вообразивших, что они нашли истину в крайних европейских учениях. О, я верю, что не фантазирую и не преувеличиваю тех благих

последствий, которые могли бы из столь хорошего дела выйти. Пало бы высокомерие, и родилось бы уважение к земле. Совсем новая идея вошла бы вдруг в нашу душу и осветила бы в ней все, что пребывало до сих пор во мраке, светом своим обличила бы ложь и прогнала ее. И кто знает, может быть, это было бы началом такой реформы, которая по значению своему даже могла бы быть выше крестьянской: тут произошло бы тоже «освобождение» — освобождение умов и сердец наших от некоей крепостной зависимости, в которой и мы тоже пробывали целых два века у Европы, подобно как крестьянин, недавний раб наш, у нас. И если б только могла начаться и осуществиться эта вторая реформа, то уж конечно была бы лишь последствием великой первой реформы в начале царствования. Ибо тогда материально пала двухвековая стена, отделявшая народ от интеллигенции, а ныне стена эта уже духовно падет. Что же выше, что же может быть плодотворнее для России, как не это духовное слияние сословий? Свои в первый раз узнают своих. Стыдившиеся доселе народа нашего, как варварского и задерживающего развитие, устыдятся прежнего стыда своего и пред многим смирятся и многое почтут, чего прежде не чтили и презирали. И когда ответит народ, когда доложит все о себе и замолкнет его смиренное слово, — спросите, попробуйте спросить тогда и интеллигенцию нашу, — ну хоть лишь мнения ее о том, что сказал народ, и вы сейчас же увидите последствия. О, тогда и их слово плодотворно будет, ибо они все же ведь интеллигенты, и последнее слово за ними. Но пример народа, сказавшего прежде их свое слово во всяком случае, избавил бы нас от многих промахов и дурачеств, если б нам самим пришлось бы прежде народа сказать свое слово. И увидите, что ничего не скажет тогда наша интеллигенция народу противоречиво, а лишь облечет его истину в научное слово и разовьет его во всю ширину своего образования, ибо все же ведь у ней наука или начала ее, а наука народу страшно нужна. Да если б и захотел кто из них противоречить, если б явились какие-нибудь несогласия с основными началами народа нашего, то все-таки не осмелились бы так сильно восстать против духа народного, то есть против взгляда его на дело, — вот что важно, и даже очень.

Да, весьма может быть, что духовное спокойствие началось бы у нас именно с этого шага. Явилась бы надежда и уже общая, не разделенная, стали бы ярко сознаваться и выясняться перед нами и цели наши. А это очень важно, ибо вся наша сознательная сила, весь наш интеллигент совсем не знает или весьма нетвердо и сбивчиво знает о том, какие суть и могут быть впредь наши цели, то есть национальные, государственные. В этом у нас очень слабо, именно теперь, в данную минуту. А эта сбивчивость, это незнание без сомнения, источник великого беспокойства и неустройства и не только теперь, а и несравненно горшего в будущем! Все это могло бы быть разъяснено, освещено, или дало бы

хоть первоначальное указание к тому, чем осветить как разъяснить, навело бы на мысль...А, впрочем, на эту тему довольно; я сказал, как умел. Пусть не поймут всего, если не сумел высказаться, — беру вину на себя, — но то, что поймут, пусть примут в безобидном и мирном смысле. Я желал бы только, чтоб поняли беспристрастно, что я лишь за народ стою прежде всего, в его душу, в его великие силы, которых никто еще из нас не знает во всем объеме и величии их, — как в святыню верую, главное, в спасительное их назначение, в великий народный охранительный и зиждительный дух, и жажду лишь одного: да узрят их все. Только что узрят, тотчас же начнут понимать и все остальное...

Да ведь я именно и стою на том, чтоб нам отвернуться от многого в теперешнем нашем насущном и текущем и создать себе иное насущное и текущее, и несравненно даже реальнейшее, чем теперешнее, в которое мы въехали и в котором сидим, — извините, пожалуйста, тоже как муха в патоке, — в этом вся моя мысль. То есть именно в повороте голов и взглядов наших совсем в иную сторону, чем до сих пор, — вот моя мысль. Власть имеющие могли бы начать такое дело, и с этой стороны мои мечты становятся даже вовсе не столь фантастическими, ибо если начнет власть, то многое могло бы даже сейчас же осуществиться. Принципы, принципы наши некоторые надо бы совсем изменить, мух из патоки повытащить и освободить. Не популярна, кажется, эта мысль: без движения мы давно уже привыкли быть, а в патоке-то даже и сладко стало сидеть. Правда, я опять увлекся, и мне тут же сейчас же могут напомнить, что ведь я доселе, столько уж написав, все еще не собрался разъяснить: какое именно теперешнее текущее я подразумеваю и какое именно будущее текущее ему предпочитаю. Вот это-то именно я и хочу разъяснять неустанно в будущих моих номерах «Дневника». Но чтоб кончить теперь, приведу одну встречу, которую я имел с одним довольно даже остроумным бюрократом, и который мне изрек одну довольно любопытную вещь, вот именно насчет некоторых принципов, касающихся изменения нашего теперешнего «текущего». Разговор зашел в одном обществе как раз о финансах и об экономии, но специально в смысле бережливости финансовых средств наших, приращения их, употребления в дело так, чтобы ни одна копейка не терялась, не пошла в расход фантастический. Про экономию в этом смысле у нас говорят теперь поминутно, да и правительство занимается этим же неустанно. У нас контроль, ежегодное сокращение в штатах. Заговорили в последнее время даже о сокращении армии, предлагали в газетах и цифру, именно на пятьдесят тысяч солдат, а другие так уверяли, что и наполовину сократить можно армию нашу: ничего-де от того не будет. Все это и прекрасно бы, но вот что, однако, невольно лезет в соображение: армию-то мы сократим, на первый случай, хоть тысяч на пятьдесят, а денежки-то у нас и промелькнут между пальцами, туда да сюда, уж конечно, на

государственные потребности, но на такие, которые, может быть, и не стоят такой радикальной жертвы. Сокращенные же пятьдесят тысяч войска уж мы никогда опять не заведем, или с большой потугой, потому что, раз уничтожив, трудно это опять восстанавливать, а войско-то нам уж как нужно, особенно теперь, когда все-то там держат против нас камень за пазухой. На эту дорогу вступать опасно, но только теперь, при теперешнем, то есть текущем, на которое пойдут денежки. Только тогда и будем уверены, что святые эти денежки действительно на настоящее дело пошли, когда вступим, например, на окончательную, на суровую, на угрюмую экономию, на экономию в духе и силе Петра, если б тот положил экономить. А способны ли мы на это при «вопиющих»-то нуждах нашего текущего, которыми мы столь связали себя? Замечу, что если б мы сделали и начали так, то это и было бы одним из первых шагов на повороте с прежнего фантастического текущего на новое, реальное и надлежащее. Мы вот довольно часто сокращаем штаты, персонал чиновников, а между тем в результатах выходит, что и штаты и персонал как бы все увеличиваются. А способны ли мы вот к такому, например, сокращению: чтобы с сорока чиновников сразу съехать на четырех? Что четыре чиновника сплошь и рядом исполняют то, что делают сорок, — в этом сомнения, конечно, никто не может иметь, особенно при сокращении бумажного делопроизводства и вообще при радикальном преобразовании теперешних формул ведения дел...

Все эти полтора века после Петра мы только и делали, что налаживали общение со всеми цивилизациями человеческими, роднение с их историей, с их идеалами. Мы учились и приучали себя любить французов и немцев и всех, как будто те были нашими братьями, и несмотря на то, что те никогда не любили нас, да и решили нас не любить никогда. Но в этом состояла наша реформа, все Петрово дело: мы вынесли из нее, в полтора века, расширение взгляда, еще не повторяющееся, может быть, ни у одного народа ни в древнем, ни в новом мире. Допетровская Россия была деятельна и крепка, хотя и медленно слагалась политически; она выработала себе единство и готовилась закрепить свои окраины; про себя те понимала, что несет внутри себя драгоценность, которой нет нигде больше, — православие, что она — хранительница Христовой истины, но уже истинной истины, настоящего Христова образа, затемнившегося во всех других верах и во всех других народах. Эта драгоценность, эта вечная, присущая России и доставшаяся ей на хранение истина, по взгляду лучших тогдашних русских людей, как бы избавляла их совесть от обязанности всякого иного просвещения. Мало того, в Москве дошли до понятия, что всякое более

близкое общение с Европой даже может вредно и развратительно повлиять на русский ум и на русскую идею, извратить самое православие и совлечь Россию на путь гибели, «по примеру всех других народов». Таким образом, древняя Россия в замкнутости своей готовилась быть неправа, неправа перед человечеством, решив бездеятельно оставить драгоценность свою, свое православие, при себе и замкнуться от Европы, то есть от человечества, вроде иных раскольников, которое не станут есть из одной с вами посуды и считают за святость каждый завести свою чашку и ложку. Это сравнение верно, потому что перед пришествием Петра у нас именно выработались почти точно такие же политические и духовные отношения к Европе, с Петровской реформой явилось расширение взгляда беспримерное, — и вот в этом, повторяю, и весь подвиг Петра. Это-то и есть та самая драгоценность, про которую я говорил уже в одном из предыдущих номеров «Дневника», — драгоценность, которую мы, верхний культурный слой русский, несем народу после полуторавекового отсутствия из России и которую народ, после того как мы сами преклонимся пред правдой его, должен принять от нас *sin qua non*¹², «без чего соединение обоих слоев окажется невозможным, и все погибнет». Что же это за «расширение взгляда», в чем оно и что означает? Это не просвещение в собственном смысле слова и не наука, это и не измена тоже народным русским нравственным началам, во имя европейской цивилизации; нет, это именно нечто одному лишь народу русскому свойственное, ибо подобной реформы нигде никогда и не было.

Это, действительно и на самом деле, почти братская любовь наша к другим народам, выжитая нами в полтора века общения с ними; это потребность наша всеслужения человечеству, даже в ущерб иногда собственным и крупным ближайшим интересам; это примирение наше с их цивилизациями, познание и извинение их идеалов, хотя бы они и не ладили с нашими; это нажитая нами способность в каждой из европейских цивилизаций или, вернее, — в каждой из европейских личностей открывать и находить заключающуюся в ней истину, несмотря даже на многое, с чем нельзя согласиться. Это, наконец, потребность быть прежде всего справедливыми и искать лишь истины. Одним словом, это, может быть, и есть начало, первый шаг того деятельного приложения нашей драгоценности, нашего православия, к всеслужению человечеству, — к чему оно и предназначено и что, собственно, и составляет настоящую сущность его. Таким образом, через реформу Петра произошло расширение прежней же нашей идеи, русской Московской идеи, получилось умножившееся и усиленное понимание ее; мы сознали тем самым всемирное назначение наше, личность и

¹² непременно (*лат.*).

роль нашу в человечестве, и не могли не сознать, что назначение и роль эта не похожи на таковые же у других народов, ибо там каждая народная личность живет единственно для себя и в себя, а мы начнем теперь, когда пришло время, именно с того, что станем всем слугами, для всеобщего примирения. И это вовсе не позорно, напротив, в этом величие наше, потому что все это ведет к окончательному единению человечества. Кто хочет быть выше всех в царствии божием — стань всем слугой. Вот как я понимаю русское предназначение в его идеале. Сам собою после Петра обозначился и первый шаг нашей новой политики: этот первый шаг должен был состоять в единении всего славянства, так сказать, под крылом России. И не для захвата, не для насилия это единение, не для уничтожения славянских личностей перед русским колоссом, а для того, что их же воссоздать и поставить в надлежащее отношение к Европе и к человечеству, дать им, наконец, возможность успокоиться и отдохнуть после их бесчисленных вековых страданий; собраться с духом и, ощутив свою ночную силу, принести и свою лепту в сокровищницу духа человеческого, сказать и свое слово в цивилизации. О, конечно, вы можете смеяться над всеми предыдущими «мечтаниями» о предназначении русском, но вот скажите, однако же: но все ли русские желают воскресения славян именно на этих основаниях, именно для их полной личной свободы и воскрешения их духа, а вовсе не для того, чтобы приобрести их России политически и усилить ими политическую мощь России, в чем подозревает нас Европа?..

Нет, положительно скажу, не было поэта с такой всемирною отзывчивостью, как Пушкин, и не в одной только отзывчивости тут дело, а в изумляющей глубине ее, и в перевоплощении своего духа в дух чужих народов, перевоплощении почти совершенном, а потому и чудесном, потому что нигде ни в каком поэте целого мира такого явления не повторилось. Это только у Пушкина, и в этом смысле, повторяю, он явление невиданное и неслыханное, а по-нашему, и пророческое, ибо... ибо тут-то и выразилась наиболее его национальная русская сила, выразилась именно народность его поэзии, народность в дальнейшем своем развитии, народность нашего будущего, таящегося уже в настоящем, и выразилась пророчески. Ибо что такое сила духа русской народности как не стремление ее в конечных целях своих ко всемирности и ко всечеловечности? Став вполне народным поэтом, Пушкин тотчас же, как только прикоснулся к силе народной, так уже и предчувствует великое грядущее назначение этой силы. Тут он угадчик, тут он пророк.

В самом деле, что такое для нас петровская реформа, и не в будущем только, а даже и в том, что уже было, произошло, что уже явилось воочию? Что означала для нас эта реформа? Ведь не была же она только для нас усвоением европейских костюмов, обычаев, изобретений и европейской науки. Вникнем, как дело было, поглядим пристальнее. Да, очень может быть, что Петр первоначально только в этом смысле и начал производить ее, то есть в смысле ближайше утилитарном, но впоследствии, в дальнейшем развитии им своей идеи, Петр несомненно повиновался некоторому затаенному чутью, которое влекло его, в его деле, к целям будущим, несомненно огромнейшим, чем один только ближайший утилитаризм. Так точно и русский народ не из одного только утилитаризма принял реформу, а несомненно уже ощутив своим предчувствием почти тотчас же некоторую дальнейшую, несравненно более высшую цель, чем ближайший утилитаризм, — ощутив эту цель, опять-таки, конечно, повторяю это, бессознательно, но, однако же, и непосредственно и вполне жизненно. Ведь мы разом устремились тогда к самому жизненному воссоединению, к единению всечеловеческому! Мы не враждебно (как, казалось, должно было случиться), а дружественно, с полною любовью приняли в душу нашу гении чужих наций, всех вместе, не делая преимущественных племенных различий, умея инстинктом, почти с самого первого шагу различать, снимать противоречия, извинять и примирять различия, и тем уже выказали готовность и склонность нашу, нам самим только что объявившуюся и сказавшуюся, ко всеобщему общечеловеческому воссоединению со всеми племенами великого арийского рода. Да, назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только (в конце концов, это подчеркните) стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите. О, все это славянофильство и западничество наше есть одно только великое у нас недоразумение, хотя исторически и необходимое. Для настоящего русского Европа и удел всего великого арийского племени так же дороги, как и сама Россия, как и удел своей родной земли, потому что наш удел и есть всемирность, и не мечом приобретенная, а силой братства и братского стремления нашего к воссоединению людей. Если захотите вникнуть в нашу историю после петровской реформы, вы найдете уже следы и указания этой мысли, этого мечтания моего, если хотите, в характере общения нашего с европейскими племенами, даже в государственной политике нашей. Ибо, что делала Россия во все эти два века в своей политике, как не служила Европе, может быть, гораздо более, чем себе самой? Не думаю, чтоб от неумения лишь наших политиков это происходило. О, народы Европы и не знают, как они нам дороги! И впоследствии, я верю в это, мы, то есть, конечно, не мы, а будущие грядущие русские люди поймут уже все до единого, что стать настоящим русским и будет

именно значить: стремиться внести примирение в европейские противоречия уже окончательно, указать исход европейской тоске в своей русской душе, всечеловечной и воссоединяющей, вместить в нее с братскою любовью всех наших братьев, а в конце концов, может быть, и изречь окончательное слово великой, общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону! Знаю, слишком знаю, что слова мои могут показаться восторженными, преувеличенными и фантастическими. Пусть, но я не раскаиваюсь, что их высказал. Этому надлежало быть высказанным, но особенно теперь, в минуту торжества нашего, в минуту чествования нашего великого гения, эту именно идею в художественной силе своей воплощавшего. Да и высказывалась уже эта мысль не раз, я ничуть не новое говорю. Главное, все это покажется самонадеянным: «Это нам-то, дескать, нашей-то нищей, нашей-то грубой земле такой удел? Это нам-то предназначено в человечестве высказать новое слово?» Что же, разве я про экономическую славу говорю, про славу меча или науки? Я говорю лишь о братстве людей и о том, что ко всемирному, ко всечеловечески-братскому единению сердце русское, может быть, изо всех народов наиболее предназначено, вижу следы сего в нашей истории, в наших даровитых людях, в художественном гении Пушкина. Пусть наша земля нищая, но эту нищую землю «в рабском виде исходил благословляя» Христос. Почему же нам не вместить последнего слова его? Да и сам он не в яслях ли родился? Повторяю: по крайней мере, мы уже можем указать на Пушкина, на всемирность и всечеловечность его гения. Ведь мог же он вместить гения в душе своей, как родные. В искусстве, по крайней мере, в художественном творчестве, он проявил эту всемирность стремления русского духа неоспоримо, в этом уже великое указание. Если наша мысль есть фантазия, то с Пушкиным есть, по крайней мере, на чем этой фантазии основаться. Если бы жил он дольше, может быть, явил бы бессмертные и великие образы души русской, уже понятные нашим европейским братьям, привлек бы их к нам гораздо более и ближе, чем теперь, может быть, успел бы им разъяснить всю правду стремлений наших, и они уже более понимали бы нас, чем теперь, стали бы нас предугадывать, перестали бы на нас смотреть столь недоверчиво и высокомерно, как теперь еще смотрят. Жил бы Пушкин долее, так и между нами было бы, может быть, менее недоразумений и споров, чем видим теперь. Но бог судил иначе. Пушкин умер в полном развитии своих сил и бесспорно унес с собой в гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем.

Если чувствуете, что будете полезны всем как ученый, идите в университет и оставьте себе на то средства. Не раздача именина обязательна и не надевание зипуна: все это лишь буква и формальность; обязательна и важна лишь решимость ваша делать все ради деятельной любви, все что возможно вам, что сами искренно признаете для себя возможным. Все же эти старания «опроститься» — лишь одно только переряживание, невежливое даже к народу и вас унижающее. Вы слишком «сложны», чтоб опроститься, да и образование ваше не позволит вам стать мужиком. Лучше мужика вознесите до вашей «осложненности». Будьте только искренни и простодушны; это лучше всякого «опрощения». Но пуще всего не запугивайте себя сами, не говорите: «Один в поле не воин» и проч. Всякий, кто искренно захотел истины, тот уже страшно силен. Не подражайте тоже некоторым фразерам, которые говорят поминутно, чтобы их слышали: «Не дают ничего делать, связывают руки, вселяют в душу отчаяние и разочарование!» и проч. и проч. Все это фразеры и герои поэм дурного тона, рисующиеся собою лентяи. Кто хочет приносить пользу, тот и с буквально связанными руками может сделать бездну добра. Истинный делатель, вступив на путь, сразу увидит перед собою столько дела, что не станет жаловаться, что ему не дают делать, а непременно отыщет и успеет хоть что-нибудь сделать. Все настоящие делатели про это знают. У нас одно изучение России сколько времени возьмет, потому что ведь у нас лишь редчайший человек знает нашу Россию. Жалобы на разочарование совершенно глупы: радость на воздвигающееся здание должна утолить всякую душу и всякую жажду, хотя бы вы только по песчинке приносили пока на здание. Одна награда вам — любовь, если заслужите ее. Положим, вам не надо награды, но ведь вы делаете дело любви, а стало быть, нельзя же вам не домогаться любви. Но пусть никто и не скажет вам, что вы и без любви должны были сделать все это, из собственной, так сказать, пользы, и что иначе вас бы заставили силой. Нет, у нас в России надо насаждать другие убеждения, и особенно относительно понятий о свободе, равенство и братстве. В нынешнем образе мира полагают свободу в разнузданности, тогда как настоящая свобода — лишь в одолении себя и воли своей, так чтобы под конец достигнуть такого нравственного состояния, чтоб всегда во всякий момент быть самому себе настоящим хозяином. А разнузданность желаний ведет лишь к рабству вашему. Вот почему чуть-чуть не весь нынешний мир полагает свободу в денежном обеспечении и в законах, гарантирующих денежное обеспечение: «Есть деньги, стало быть, могу делать все, что угодно; есть деньги — стало быть, не погибну и не пойду просить помощи, а не просить ни у кого помощи есть высшая свобода». А между тем это в сущности не свобода, а опять-таки

рабство, рабство от денег. Напротив, самая высшая свобода — не копить и не обеспечивать себя деньгами, а «разделить всем, что имеешь, и пойти всем служить». Если способен на то человек, если способен одолеть себя до такой степени, — то он ли после того не свободен? Это уже высочайшее проявление воли? Затем, что такое в нынешнем образованном мире равенство? Ревнивое наблюдение друг за другом, чванство и зависть: «Он умен, он Шекспир, он тщеславится своим талантом; унижить его, истребить его». Между тем настоящее равенство говорит: «Какое мне дело, что ты талантливее меня, умнее меня, красивее меня? Напротив, я этому радуюсь, потому что люблю тебя. Но хоть я и ничтожнее тебя, но как человека уважаю себя, и ты знаешь это, и сам уважаешь меня, а твоим уважением я счастлив. Если ты, по твоим способностям, приносишь в сто раз больше пользы мне и всем, чем я тебе, то я за это благословляю тебя, дивлюсь тебе и благодарю тебя, и вовсе не ставлю моего удивления к тебе себе в стыд; напротив, счастлив тем, что тебе благодарен, и если работаю на тебя и на всех, по мере моих слабых способностей, то вовсе не для того, чтоб сквитаться с тобой, а потому, что люблю вас всех».

Если так будут говорить все люди, то, уж конечно, они станут и братьями, и не из одной только экономической пользы, а от полноты радостной жизни, от полноты любви.

Скажут, что это фантазия, что это «русское решение вопроса» — есть «царство небесное» и возможно разве лишь в царстве небесном. Да, Стивы очень рассердились бы, если б наступило царство небесное. Но надобно взять уже то одно, что в этой фантазии «русского решения вопроса» несравненно менее фантастического и несравненно более вероятного, чем в европейском решении. Таких людей, то есть «Власов», мы уже видели и видим у нас во всех сословиях, и даже довольно часто; тамошнего же «будущего человека» мы еще нигде не видели, и сам он обещал прийти, перейдя лишь реки крови. Вы скажете, что единицы и десятки ничему не помогут, а надобно добиться известных всеобщих порядков и принципов. Но если бы даже и существовали такие порядки и принципы, чтобы безошибочно устроить общество, и если б даже и можно было их добиться прежде практики, так, а priori, из одних мечтаний сердца и «научных» цифр, взятых притом из прежнего строя общества, — то с не готовыми, с не выделанными к тому людьми никакие правила не удержатся и не осуществляются, а, напротив, станут лишь в тягость. Я же безгранично верую в наших будущих и уже начинающих людей, вот об которых я уже говорил выше, что они пока еще не спелись, что они страшно как разбиты на кучки и лагеря в своих убеждениях, но зато все ищут правды прежде всего, и если б только узнали, где она, то для достижения ее готовы пожертвовать всем, и даже жизнью. Поверьте, что если они вступят на путь истинный, найдут его наконец, то увлекут за собою и всех, и не насильем, а свободно. Вот

что уже могут сделать единицы на первый случай. И вот тот плуг, которым можно поднять нашу «Новь». Прежде чем проповедовать людям: «как им быть», — покажите это на себе. Исполните на себе сами, и все за вами пойдут. Что тут утопического, что тут невозможного — не понимаю! Правда, мы очень развратны, очень малодушны, а потому не верим и смеемся. Но теперь почти не в нас и дело, а в грядущих. Народ чист сердцем, но ему нужно образование. Но чистые сердцем поднимаются и в нашей среде — и вот что самое важное! Вот этому надо поверить прежде всего, это надобно уметь разглядеть. А чистым сердцем один совет: самообладание и самоодоление прежде всякого первого шага. Исполни сам на себе прежде, чем других заставлять, — вот в чем вся тайна первого шага...

Деликатная взаимность вранья есть почти первое условие русского общества, — всех русских собраний, вечеров, клубов, ученых обществ и проч. В самом деле, только правдивая тупица какая-нибудь вступается в таких случаях за правду и начинает вдруг сомневаться в числе проскаканных вами верст или в чудесах, сделанных с вами Боткиным. Но это лишь бессердечные и геморроидальные люди, которые сами же и немедленно несут за то наказание, удивляясь потом, отчего оно их постигло? Люди бездарные. Тем не менее все это лганье, несмотря на всю невинность свою, намекает на чрезвычайно важные основные наши черты, до того, что уж тут почти начинает выступать мировое. Например, 1) на то, что мы, русские, прежде всего боимся истины, то есть и не боимся, если хотите, а постоянно считаем истину чем-то слишком уж для нас скучным и прозаичным, недостаточно поэтичным, слишком обыкновенным и тем самым, избегая ее постоянно, сделали ее наконец одною из самых необыкновенных и редких вещей в нашем русском мире (я не про газету говорю). Таким образом, у нас совершенно утратилась аксиома, что истина поэтичнее всего, что есть в свете, особенно в самом чистом своем состоянии; мало того, даже фантастичнее всего, что мог бы налгать и напредставить себе повадливый ум человеческий. В России истина почти всегда имеет характер вполне фантастический. В самом деле, люди сделали наконец то, что все, что налжет и перелжет себе ум человеческий, им уже гораздо понятнее истины, и это сплошь на свете. Истина лежит перед людьми по сту лет на столе, и ее они не берут, а гоняются за придуманным, именно потому, что ее-то и считают фантастичным и утопическим.

Второе, на что наше всеобщее русское лганье намекает, это то, что мы все стыдимся самих себя. Действительно, всякий из нас носит в себе чуть ли не прирожденный стыд за

себя и за свое собственное лицо, и, чуть в обществе, все русские люди тотчас же стараются поскорее и во что бы то ни стало каждый показаться непременно чем-то другим, но только не тем, чем он есть в самом деле, каждый спешит принять совсем другое лицо.

Еще Герцен сказал про русских за границей, что они никак не умеют держать себя в публике: говорят громко, когда все молчат, и не умеют слова сказать прилично и натурально, когда надобно говорить. И это истина: сейчас же выверт, ложь, мучительная конвульсия; сейчас же потребность устыдиться всего, что есть в самом деле, спрятать и прибрать свое, данное богом русскому человеку лицо и явиться другим, как можно более чужим и нерусским лицом. Все это из самого полного внутреннего убеждения, что собственное лицо у каждого русского — непременно ничтожное и комическое до стыда лицо; а что если он возьмет французское лицо, английское, одним словом, не свое лицо, то выйдет нечто гораздо почтеннее, и что под этим видом его никак не узнают. Отмечу при этом нечто весьма характерное: весь этот дрянной стыдишка за себя и все это подлое самоотрицание себя в большинстве случаев бессознательны; это нечто конвульсивное и непреодолимое; но, в сознании, русские — хотя бы и самые полные самоотрицатели из них — все-таки с ничтожностью своею не так скоро соглашаются в таком случае и непременно требуют уважения: «Я ведь совсем как англичанин, — рассуждает русский, — стало быть, надо уважать и меня, потому что всех англичан уважают». Двести лет выработывался этот главный тип нашего общества под неперменным, еще двести лет тому указанным принципом: ни за что и никогда не быть самим собою, взять другое лицо, а свое навсегда оплевать, всегда стыдиться себя и никогда не походить на себя — и результаты вышли самые полные. Нет ни немца, ни француза, нет в целом мире такого англичанина, который, сойдясь с другими, стыдился бы своего лица, если по совести уверен, что ничего не сделал дурного. Русский очень хорошо знает, что нет такого англичанина; а воспитанный русский знает и то, что не стыдиться своего лица, даже где бы то ни было, есть именно самый главный и существенный пункт собственного достоинства. Вот почему он и хочет казаться поскорей французом или англичанином, именно затем, чтоб и его приняли поскорей за такого же, который нигде ж никогда не стыдится своего лица...

Ну нам ли учить народ вере в себя самого и в свои силы? У народа есть Фомы Даниловы, и их тысячи, а мы совсем и не верим в русские силы, да и неверие это считаем за высшее просвещение и чуть не за доблесть. Ну чему же, наконец, мы научить можем? Мы

гнушаемся, до злобы почти, всем тем, что любит и чтит народ наш и к чему рвется его сердце. Ну какие же мы народолюбцы? Возразят, что тем больше, стало быть, любим народ, коли гнушаемся его невежеством, желая ему лучшего. О нет, господа, совсем нет: если б мы вправду и на деле любили народ, а не в статейках и книжках, то мы бы поближе подошли к нему и озаботились бы изучить то, что теперь совсем наобум, по европейским шаблонам, желаем в нем истребить; тогда, может, и сами научились бы столь многому, чего и представить теперь даже не можем.

Есть у нас, впрочем, одно утешение, одна великая наша гордость перед народом нашим, а потому-то мы так и презираем его: это то, что он национален и стоит на том изо всей силы, а мы — общечеловеческих убеждений, да и цель свою поставили в общечеловечности, а стало быть, безмерно над ним возвысились. Ну вот в этом и весь раздор наш, весь и разрыв с народом, и я прямо провозглашаю: уладь мы этот пункт, найди мы точку примирения, и разом кончилась бы вся наша рознь с народом. А ведь этот пункт есть, ведь его найти чрезвычайно легко. Решительно повторяю, что самые даже радикальные несогласия наши в сущности один лишь мираж...

Я во многом убеждений чисто славянофильских, хотя, может быть, и не вполне славянофил. Славянофилы до сих пор понимаются различно. Для иных, даже и теперь, славянофильство, как в старину, например, для Белинского, означает лишь квас и редьку. Белинский действительно дальше не заходил в понимании славянофильства. Для других (и, заметим, для весьма многих, чуть не для большинства даже самих славянофилов) славянофильство означает стремление к освобождению и объединению всех славян под верховным началом России — началом, которое может быть даже и не строго политическим. И наконец, для третьих славянофильство, кроме этого объединения славян под началом России, означает и заключает в себе духовный союз всех верующих в то, что великая наша Россия, во главе объединенных славян, скажет всему миру, всему европейскому человечеству и цивилизации его свое новое, здоровое и еще неслыханное миром слово. Слово это будет сказано во благо и воистину в соединении всего человечества новым, братским, всемирным союзом, начала которого лежат не в гении славян, а преимущественно в духе великого народа русского, столь долго страдавшего, столь много веков обреченного на молчание, но всегда заключавшего в себе великие силы для будущего разъяснения и разрешения многих горьких и самых роковых недоразумений западноевропейской цивилизации. Вот к этому-то отделу убежденных и верующих принадлежу и я.

Все реформы нынешнего царствования суть прямая противоположность (по существу) реформам Петра Великого и упразднение их во всех пунктах. Освобождение

народа есть, например, прямая противоположность взгляду Петра (закрепившего народ) на русский народ как на материал, платящий подати, деньгами и повинностями, и не более. Самоуправление есть прямая противоположность (узенькому) взгляду Петра на Россию как на помещичью экономию на крепостном основании, где народ «не живи» и где все управляется несколькими управляющими от помещика, то есть чиновниками с помещиком Петром во главе, получающим доходы для войны со шведом.

Классическое образование, наконец, есть прямая противоположность взглядам Петра на образование, никогда не возносившимся дальше техники и насущной полезности, требовавшему мичманов, литейщиков, кузнецов, слесарей и проч. и даже не ставившему никогда и вопроса о том, что такое человек образованный.

Нынешнее царствование решительно можно считать началом конца петербургского периода (столь длинного) русской истории. (Задыхание России в тесных петровских рамках.)

Там, где образование начиналось с техники (у нас реформа Петра), никогда не появлялось Аристотеля. Напротив, замечалось необычайное суживание и скудость мысли. Там же, где начиналось с Аристотеля (Renaissance 15-е столетие), тотчас же дело сопровождалось великими техническими открытиями (книгопечатания, пороха) и расширением человеческой мысли (открытие Америки, Реформация, открытия астрономические и проч.).

Нам укажут, может быть, в пример расширения и нашей русской мысли после петровской реформы, на нашу европейскую славу и на наше европейничество вообще. Но наша европейская слава произошла вовсе не от петровской реформы (иначе надо было бы сузить всю реформу на технические заимствования, которые могло бы сделать и Московское царство) — а именно от древненародного русского взгляда на власть царскую (как неограниченного повелителя), — власть, на которую не посягнул Петр, ввиду уж слишком явной для себя же невыгоды, и которая изумила Европу и мир своею силою и целокупностью (последнее проявление этой силы — освобождение крестьян по одному лишь царскому слову); но слава военная и сила наши не пошли нам впрок, именно по узости мысли, не могшей развиться в народный взгляд и оторвавшейся от народа. Примеры: война с Наполеоном кончилась в пользу Европы, поляков освободил Александр, чего бы никогда в жизни не сделала прежняя московская политика и все правительства после Петра, да и общество наше дошло до того, что считало самую величайшею для себя честью и целью стать европейцами, оевропеец окончательно: тогда как, напротив, если б было расширение русской мысли от реформы Петра, то не делала бы она таких политических промахов, как в 19-м столетии (то есть имея и успех и силу, но не зная, как их направить в

свою пользу), и не считала бы ни целью, ни особою честью быть европейцами, а, напротив, приняла бы идею, что русский — прежде всего — не европеец, прежде всего не должен им быть ни за что, а есть особ. статья и не более. И когда иностранцам приходилось заявлять об нас (неоднократно), вслух и в разных видах, что мы не европейцы и что они, европейцы, отнюдь не признают нас за своих братьев европейцев, то мы начинали сердиться (от узости мысли) и не понимали (да и до сих пор не можем понять), что европейцы, не признавая нас за своих, тем самым оказывали нам великую честь и признавали в нас самостоятельность и главенство в великой славянской семье народов и ведущими их к самостоятельным целям, и хоть бранили нас, но все же боялись. Мы этого не понимали и сердились, от сужения русской мысли с Петра Великого.

Русские, говорящие по-французски изо всех сил для моды, не зная языка, изучаются, чтоб как-нибудь выразить на чужом языке свою мысль. Те же из русских, которые говорят по-французски с легкостью (высшие сословия), большею частью имеют легкие мысли, другими словами: не имеют никаких мыслей.

Укажут на Ломоносова, а разве Ломоносов не мертворожденное дитя? Что, утвердилась ли наука в России после него? Где Платоны и быстрые разумом Невтоны?

Укажут на литературу, но Пушкин (обожатель Петра) был в сущности отрицатель Петра любовью к русскому старому народному духу («Капитанская дочка», Белкин и проч.).

Это — начало и начальник славянофилов. А Гоголь был прямой отрицатель всех последствий Петра, что же до последовавших за ними писателей, то все они, например, не явили ни одной новой формы искусства (не сказали ничего нового), а пробавлялись европейскими.

(До классической реформы). В университетах наших преподавалось бог знает что, всего понемногу и без системы, какие-то обрывки наук, может быть и специалистами (с грехом пополам, ибо необразованный человек редко бывает и хорошим специалистом), но все же людьми глубоко необразованными. Я помню талантливейших людей, вышедших из университетов (Майков, Крестовский). Эти люди до сих пор ничего не знают и ничего не умеют, не защищены ни от какого соблазна и умственного совращения наукой, а если чему и выучились, то разве впоследствии сами.

Общие принципы только в головах, а в жизни одни только частные случаи.

Характер русский добродушен: злых людей в России совсем даже нет. Но в России много иступленных...

Нравственность, устой в обществе, спокойствие и возмужалость земли и порядок в государстве (промышленность и всякое экономическое благосостояние тоже) зависят от степени и успехов землевладения. Если землевладение и хозяйство слабо, раскидисто, беспорядочно, — то нет ни государства, ни гражданственности, ни нравственности, ни любви в боге. По мере того как землевладение и хозяйство крепчает, устанавливается и все остальное. (У нас при перемене всех прежних законов землевладения начался хаос). Там же, где землевладение уже скрепчало, но уже превышает народонаселение и являются уже люди без земли и пролетарии, там зарождается промышленность (а с ней крепчает такая вещь, как, например, образование, а от образования крепчает и все). Если же уж очень превысит народонаселение земли, то являются революции. Но это только доказывает, что все должны иметь право на землю и что чуть лишь это право нарушено, то является сотрясение и распадение общества. У нас русские поняли. Декабрист Якушкин — искреннейший человек.

Промышленность и капитал действуют развратительно, отторгнувшись от земли, стало быть, от родины и от своих. Надо, чтоб каждый работник имел землю. Ergo¹³: не в земле ли уж все дело...

Коммунисты, уничтожая собственность, хотят общего благосостояния и отнятием собственности хотят ограничить порочную волю людей. Но мне именно нужна моя порочная воля и все к ним средства, чтобы мочь от них отказаться.

Наше Петром Великий отученное от всякого дела общество.

Мысль статьи: полная свобода.

Подавлять в себе долг и не признавать обязанности, требуя в то же время всех прав себе, — есть только свинство, но это ведь так соблазнительно...

Дворянство и его сохранение необходимо, ибо оно все-таки выражало своим установлением формы живой связи царя (знамени) с народом и заключало в себе все возможности дальнейших социальных развитий земли. Сохраняло дух связи, дух, в котором должна была пониматься служилость. Заменить его некем. Без лучших людей невозможно (декабристы и проч. ошибки, происшедшие от грубой реформы Петра, основанной на презрении к самостоятельности исторической России)...

¹³ Следовательно (лат.).

Власть, создавшая все в России. Фадеев забыл, что под условием православия. Если власть изменит православию, то народ выберет другую. Православие, то есть форма исповедания Христа, есть начало нравственности и совести нашей, а стало быть... общественной силы, науки, всего. С другой стороны, в Европе науки и развитие всегда становили общество атеистичным. Но это единственно лишь благодаря католицизму. Но так как с петровской реформы (воспитательный период) воспитанники периода учились лишь презирать Россию и какать на нее, то и у них явился атеизм по мере образования. Теперь пусть круглый генерал с трубкой вообразит, что образование (в европейском смысле слова) прорвалось в народ: падет для него (образования) православие — и зачем ему тогда верховная власть (православному)?

Смотреть же на декабристов и нигилистов как на мелкие случаи — глупо.

Не все желающие в Сибирь и на виселицу восполнили число: многие остались. Русские европейцы неминуемо атеисты, пока оторваны от народа. Это самое существенное и важное последствие реформы Петра.

У Петра было одно создание — дворянство (все остальное лопнуло). Теперь и дворянство порешили, что же осталось — ничего. Теперь славянофилы и западники могли бы примириться; и те и другие ждут всего лишь от одного народа, но славянофилы верят в народ потому, что допускают в народе свои начала, а западники соглашаются верить в народ единственно под одним условием: чтоб не было у него никаких своих начал. А потому драка продолжается. Но драка дракой, а любовь любовью, и почему дерущиеся за волосы не могут любить друг друга...

Честность и искренность нашего общества в высшем смысле честность нашего юношества, идея и идеал прежде всего, вера в идею, земные блага лишь потом. В этом наше общество сходно с народом, и это его пункт соединения с народом. В народе много подлецов, но и подлец не говорит: так и надо, а вздыхает и чтит добродетель. А если есть изверги, то народ осуждает их. Если юноша говорит: так и надо, обожаю подлость, то потому лишь, что считает это за истину, а не иначе, если бы он не считал его за истину, то не пошел бы за ним, несмотря даже на то, что многие из них увлекаются простым честолюбием...

Я не хочу мыслить и жить иначе как с верою, что все наши девяносто миллионов русских, или сколько их тогда будет, будут образованны и развиты, очеловечены и счастливы. Что свет и высшие блага жизни завещаны лишь в 10-й доле, по цивилизации Потугиных. С условием 10-й лишь части счастливых я не хочу даже и цивилизации. Я верую в полное царство Христа. Как оно делается, трудно предугадать, но оно будет. Я верую, что это царство совершится. Но хоть и трудно предугадать, а значки в темной ночи

догадок все же можно наметить хоть мысленно, я и в значки верю. (Славянофилы и западники). И пребудет всеобщее царство мысли и света, и будет у нас в России, может, скорее, чем где-нибудь. А потому всякое подобное общество, несмотря даже на хлороформ и собачек, и все прочие основания, мне дорого и радостно, и я его люблю всем сердцем. Но не надобно же и стулья ломать, надо быть хоть капельку практичнее и реальнее. Изучите лучше причины, по которым народ звероподобен, и по мере того и действуйте. Ведь в самом деле не для собачек же вы.

И это вы непременно сделаете, ибо если это не барская затея, истинная ревность, то вы непременно придете к этой идее, что лучше действовать на народ. А народ сострадателен. Только бы образить его.

Так ли я понимаю вашу прекрасную, достойную высшей похвалы идею, подписанное общество. Если я не принадлежу к вашему обществу, то душою я к нему принадлежу. Я люблю животных, но русского человека люблю больше всего...

России нельзя следовать принципу коллективности, не ее принцип. Славяне для нее вовсе не то, что славяне для Европы. Но сами славяне? Это источник будущих несчастий России. Мыши, делай им добро и проходи мимо. Мы не можем раствориться в славянстве, мы выше.

Они внесут к нам начало раздора и разъединения.

Славяне.

Мы должны только жить для себя, не пугайтесь этого: жить для себя — у великоруса значит жить для других...

Реальность и истинность требований коммунизма и социализма и неизбежность европейского потрясения. Но тут наука — вне Христа и с полной верой. Должны быть открыты такие точные уже научные отношения между людей и новый нравственный порядок (нет любви, есть один эгоизм, то есть борьба за существование) — науке верят твердо. Массы рвутся раньше науки и ограбят. Новое построение возьмет века. Века страшной смуты. А ну как все сведется лишь на деспотизм закусок. Слишком много отдать духа за хлеб...

Если любить друг друга, то ведь сейчас достигнешь. Чтоб любить друг друга, нужно бороться с собой, — говорит церковь. Атеисты кричат: измена природе. Бремена тяжкие, тогда как это лишь наслаждение. А затем римская церковь прибавила: не рассуждать, слушаться, и будет муравейник. Науку приняли за бунт...

Говорят про русских в Европе европейцы, что все они сплошь революционеры, между тем они революционеры только в Европе, и если бы сумели отнестись к себе сознательно, то

в России эти революционеры должны бы стать консерваторами (причина — малое знакомство с Россией). Они и Россию принимают за ту же Европу.

Если же они и о России так заключили, то это потому, что еще тогда о России было им некогда думать, решали вопросы иные. Думали о России славянофилы.

Если б они больше были знакомы с Россией, то стали бы славянофилами. Но до сих пор это незнакомство продолжается. Славянофильское учение до сих пор неизвестно, хотя к нему примкнул.

Миллер провозгласил славянофильское учение народным. А я выдумал примирить славянофилов с западниками. На первый раз даю тезис:

Славянофилы, которые отрицали западную цивилизацию, взятую как идеал России...

Общество, отученное и которому запрещена всякая самодеятельность гражданина, — не только не сложилось, но разложилось до заразы собою даже низших слоев. Не выработалось ничего. Выработались совершенно фантастические характеры (Пантелеев). Мысль обратилась в мечтательность, в предположительность. Ничего удивительного, что явились социалисты рьянее западных (там само правительство приучило). Ничего удивительного тоже, что эти социалисты были крепостники, как в средних веках, ибо потеряли малейшее чувство долга и гражданственности. Гуляли лишь мысль и эстетическое чувство, а дело слушалось самого грубого эгоиста. Фантастические факты, как 14 декабря. Фантастические споры западников и славянофилов, начавшиеся в то время, когда и те и другие уже перестали быть русскими. Новая эра царя-освободителя: но пока беспорядок.

Прежде всяких вопросов, что из нас выйдет и что мы будем, надо просто-запросто стать русскими. Нам это легко, ибо если пропали мы, то остался русский народ. Он весь цел и здоров. Ура! Гнилому гнить, а здоровому жить. Спешите! Лови Петра с утра, а ободняет, так провоняет. Так и думал Великий Преобразователь, взглянувший на Россию таким широким и работающим помещиком (обративший всю Россию в как бы одно огромное помещичье хозяйство).

Я хотел в дневнике говорить о том, что надо быть самостоятельными и русскими людьми.

Коммунизм! нелепость! Ну можно ли, чтоб человек согласился ужиться в обществе, в котором у него отнята была бы не только вся личность, но даже и возможность инициативы доброго дела. Вместе с тем сняты были бы (и преследовались насмешкой) даже малейшие ощущения в сердце вашем чувства благодарности, без которого не может и не должен жить человек. Учение «скотское».

Коммунизм мог явиться в конце только прошлого царствования, в котором завенчана была петровская реформа и когда русский интеллигентный человек дошел до того, что за неимением занятия стал цепляться за все бредни Запада и, не имея опыта жизни для критической проверки, сразу применил французину к себе, досадуя на русских, зачем из них ничего нельзя сделать. Пролетарии у французов. Кстати, правда ли, что у них опять подымается вопрос об общинном хозяйстве.

Уничтожат общину — порвутся последние связи порядка. Если в высшем обществе порядок разорван, а нового не дано, но по крайней мере было утешение, что народ в порядке (каком ни есть, но порядке), ибо осталась связь и крепчайшая: общинное землевладение. Но разорвут и эту связь — и что тогда? Нового еще нет, ничего не возшло (да и посев-то был ли?), а старое с корнем вон — что ж останется?! Пропадем как мухи. Теперь идти в народ смешно и только жалко, ну а тогда будет не смешно ведаться с общиной?..

Все делается рабски, мы рабы, не научились быть самостоятельными. Нет самостоятельности. Заметьте, что наш либерализм и наша даже красота именно тем характеризуются, что преследуют всякое зарождение на Руси самостоятельности. И это с самого начала нашего либерализма, с Белинского, с Герцена. Они только мелкое либеральничание, но в главном самые страшные консерваторы и есть.

Красные отрицают все, но рабски неоригинальны. Отрицание же всего — потому что дешево достается, не требует малейшего изучения. Две науки, атеизм и коммунизм (ибо у нас никогда не было социализма, его прямо разрешили формулой коммунизма и примером интернациональной коммуны), не требуют никакой науки и школы, неученый может даже не прочесть, а услышать от товарища, и уж (искренно и чистосердечно) презирает их. Кругом них рабское молчание и сочувствующих и не сочувствующих. Последние хуже, потому что рабское и трусливое молчание...

Одна из характернейших черт русского либерализма — это страшное презрение к народу и взамен того страшное аристократничание перед народом (и кого же? каких-нибудь семинаристов). Русскому народу ни за что в мире не простят желания быть самим собою. (Весь прогресс через школы предполагается в том, чтоб отучить народ быть собою)...

Как это сделать? Не знаю. Петр Великий сделал бы. Важен принцип. То-то и дело, что не знаем, как и приступить-то. У нас вот, по поводу дефицита в 50 миллионов за текущий год, тотчас же предложили сокращение армии на 50 000 человек. Именно, именно, попали в точку: денежки-то у нас истратят (у нас ли не истратить), так что и не увидишь их, а армии-то, пятидесяти тысяч солдат, все-таки уж не будет. Другие рекомендовали сократить армию даже разом наполовину (катай-валяй, благо либерально!). Да к чему наполовину, не лучше

ли всю сократить, а завести на ее место национальную гвардию, благо сего либерального европейского учреждения (уже и в Европе отжившего) у нас еще не было. А там и мобиль завести. Редакторы либеральных журналов станут полковниками и дивизионными командирами — прелесть. То-то и есть, что не знаем, как экономить. Не солдат сокращать на целых 50 000 человек, а мошенничество в управлении солдатом и проч. (Администрация. Но тут принцип).

В крайнем случае не только можно бы 50 000, но и сто тысяч сократить на время, в видах непреложнейшей пользы от экономии, но ведь куда пойдут денежки-то, вот вопрос. Мало ль пустых и переполненных карманов ждут их в свои бездонные пропасти...

Уничтожьте-ка формулу администрации. Да ведь это измена Петру Великому. О, на преобразования наша администрация согласится, но на второстепенные, на практические и проч. Но чтоб изменить совершенно характер и дух свой — нет, этого ни за что (земство — журавль в небе). Наши либералы, стоящие за земство против чиновничества, право, противоречат себе. Земство, правильное земство — это поворот к народу, к народным началам (столь осмеянное ими словечко). Так устоит ли европеизм в настоящем-то виде, если правильно укоренится земство? Это еще вопрос, и, вероятнее всего, что не устоит.

Тогда как чиновник, теперешний чиновник — это европеизм, это сама Европа и эмблема ее, это именно идеалы Градовских и Кавелиных, ибо мы принесли народные начала. Стало быть, чтоб быть последовательными, либералам и европейцам нашим надо бы стоять за чиновника, в настоящем виде его, с малыми лишь изменениями, соответствующими прогрессу времени и практическим его указаниям. А впрочем, что ж я? Они ведь за это в сущности и стоят. Дайте им хоть конституцию, они и конституцию приурочат к административной опеке России.

Освобождение, землевладение, 20 000 верст железных дорог, рабочий вопрос, вопрос земель, уживется ли единоличная собственность рядом с общиной — все это вопросы и требуют еще финансов. Да, капитал любит спокойствие внешнее и внутреннее, но то прячется. Да, мы и капиталистами-то не умели быть: мы знали только один ломбард. А тут вдобавок вдруг 20 000 железных дорог — что в Европе в полвека выстроились, а у нас вдруг. Да какое тут спокойствие, какое тут движение капиталов. Надо выждать. А Россию гонят: все потому-де, что мы не европейцы, что не увенчано здание, мало ли криков.

И потому финансисту надо стоять, так сказать, вне времени и пространства и взять идею вечную и незыблемую...

Где же корни? Да, например, самый народ и душа его. Вот корень, самый первый и самый драгоценный.

Дайте ему свободу движения и внедрите в душу его, что прав, да есть в русской земле и что высоко стоит ее знамя... и много чего даже и не ожидаешь, не видишь и не предполагаешь, совершится и финансы ваши пойдут по маслу...

Бог и царь ее держит. Не заслоняйте от народа царя...

Россия все для себя, а не для Европы. Россия хоть и в Европе, но Россия и Азия и это главное, главное.

Крутые меры, крутые решения. Угрюмая экономия...

1876–1877 гг.

(Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений. В 80-ти томах. Л.: Наука, 1972. — Т. 21. С. 91–95; 119–120; 268–271; 256; 265–266. — Т. 22. С. 40–45; 75–81; 110–111. — Т. 23. С. 39–47. — Т. 24. С. 64–65; 89; 127–181; 164; 205; 298–301. — Т. 25. С. 19–23; 195–199; 216–217. — Т. 26. С. 80–81. — Т. 27. С. 16–29; 65; 71–75; 81. Достоевский Ф.М. Дневник писателя, — М., 1989. С. 369; 416–418; 585–587).

К ПОЗНАНИЮ РОССИИ

Д. Менделеев

1. Прогресс России с точки зрения реализма

В обыденном разговоре привыкли различать только идеализм от материализма, называя последний иногда реализмом. Слова имеют, конечно, всегда условный смысл, но, согласно с самим происхождением, три названные слова представляют полное различие исходных точек представления, и реализм при этом должно поставить в середине. Он стремится выразить собой действительность с возможною для людей объективностью, т. е. по здравому смыслу, без окраски предвзятыми суждениями, которыми пропитан не только идеализм, но и материализм, и вот такой-то реализм лежит в основании всего естествознания, а от него и во всей совокупности развития современных мыслей. Во всем своем изложении я стараюсь оставаться реалистом, каким был до сих пор. Истинный идеализм и истинный материализм представляют продукты древности, реализм же дело новое, сравнительно с длиною исторических эпох. Так, например, как идеализму, так и материализму свойственно стремление к наступательным войнам, определяемым или просто материальными побуждениями и нуждами, или идеальными стремлениями народов, а реализм всегда идет против всяких наступательных войн и стремится уладить противоречия, исходя из действительных обстоятельств, в государственной же жизни из истории. Идеалисты и материалисты видят возможность перемен лишь в революциях, а реализм признает, что действительные перемены совершаются только постепенно путем эволюционным... Для реализма все народы одинаковы, только находятся в разных эпохах эволюционного изгнания. Если теперь перейдем от этих общих понятий к частности жизни, от народных отношений к личным, то различие выразится еще яснее, хотя представители каждой из основных точек суждения с разными оттенками и сочетаниями встретятся в каждом народе, в каждом кружке, даже, быть может, в каждой семье. Но если отречься от этих частных, то нельзя отказать в том, что реализм присущ некоторым народам по преимуществу, как идеализм и материализм другим. И я полагаю, что наш русский народ, занимая географическую середину старого материка, представляет лучший пример народа реального, народа с реальными представлениями. Это видно уже в том отношении, какое замечается у нашего народа ко всем другим, в его уживчивости с ними, в его способности

поглощать их в себе, а более всего в том, что вся наша история представляет пример сочетаний понятий азиатских с западноевропейскими.

Мне кажется, что теперь, именно теперь нужнее всего уразуметь указанные различия, так как с одной стороны нас многое влечет в сторону ответа идеальным требованиям, с другой стороны громко говорят материальные потребности народа, а с третьей — русская история внушает реальное сочетание тех и других и понимание недостаточности всякой односторонности, которая не свойственна только реализму, стремящемуся узнать действительность в ее полноте без одностороннего увлечения и достигать успеха или прогресса путем исключительно эволюционным. А так как действия людей определяются исключительно их убеждениями, то по этому одному уже становится совершенно понятным то, на первый взгляд совершенно случайное, общее требование развития образованности народной, которое ясно выразилось за последнее время, между прочим и в суждениях местных комитетов, образованных вслед за учреждением Совещания о нуждах русского сельского хозяйства. С идеальной точки зрения такое требование общего народного образования определяется стремлением поставить народ в уровень понятий той части людей Западной Европы, которая, очевидно, приобретает господство во всем мире, ныне уже охваченном до последних трущоб Азии, Африки и Америки. С материальной точки зрения требования общего народного образования определяются тем понятием, что вся практическая современная деятельность, начиная с сельскохозяйственной до торговой, военной и административной немислима без общего образования, а потребности увеличиваются с его развитием, что дает возможность расширять деятельность народа и его богатства. С реально-исторической точки зрения за освобождением крестьян и с ростом всей цивилизации России потребность общего народного образования вызывается невозможностью такого строя, при котором лишь малая доля не чужда современности, а преобладающая масса предоставлена собственному историческому течению. Но реализм ясно внушает в то же время, что общая народная образованность немислима без известной степени накопления народного богатства. Каким бы мещанством ни отзывалось это требование накоплений богатства, как бы оно ни претило чопорности английского клуба и сколько бы оно ни расходилось с благородным идеализмом древних и новых веков, все же ныне без особых на то доказательств необходимо признать, что без правильного предварительного накопления богатства неосуществимо все то, что должно понимать под именем «народного блага», ни все «дело укрепления порядка и правды в соответствии с возникающими потребностями народной жизни», ни рост общего просвещения страны, даже ее прямая оборона, т. е. защита самостоятельности и возможности развивать народные

исторические особенности. Если во всех других случаях это требование предварительного накопления народного богатства само по себе явственно, то оно также очевидно и по отношению к общему народному просвещению...

Хотя истина, конечно, одна, но пути к ней не намечаются ныне ни звездами, ни столбами, двигаться же по пути достижения истины необходимо, чтобы не быть насильно увлеченным неизбежно надвигающимися историческими переменами и сознанием ускорить предстоящую эволюцию. Двигаться же можно или в одиночку, или сплотясь группами, ища в разных направлениях, так как идти всей массой сразу гуртом, как стадо, лишь в одну сторону, можно только под влиянием бессознательного убеждения, причем мало вероятности попасть на верную дорогу, и многое в истории показывает, что такое стадное движение нередко ведет к гибели. Излагая пути мыслей, сложившихся у меня, я отнюдь не заверяю в том, что они, эти мысли, единственные правильные, так как много раз уже уверяли людей в этом и заходили в безысходные пустыни. Но чтобы предстоящий путь был по возможности эволюционным и прогрессивным, прежде всего он не должен отрицать прошлого, потому что ветхие пути привели к современности, а из нее выскочить нельзя, как нельзя идти обратно и неразумно предоставить все дело случайности. Представляя действительность такой, какова она есть по качественным и количественным признакам, надо разобраться или понять причину происшедших перемен, потому что без этого никоим образом не найдется того направления, которому дальше должно следовать. Не думаю, что развиваемые мною соображения принадлежат одному мне, вероятно, они приходили многим людям, или не решавшимся вполне высказаться, или развивавшим их лишь намеками, не так доступно, как хочется мне и как необходимо для того, чтобы вместо выяснений не получалась новая путаница. Рос в такое время, когда верилось в абсолютную верность уже намеченных путей, а дожил до того, что ясно сознаю относительность прежних решений и необходимость новых, которые всегда первоначально бывают партийными...

Весь материальный прогресс человечества определяется тремя главнейшими, отчасти друг с другом связанными, направлениями. Во-первых, стремлением получить желаемые продукты, затрачивая наименьше людского труда и всякой работы, что неизбежно влечет за собою преобладающее значение знаний: во-вторых, стремлением разделить труд при помощи его специализации и, в-третьих, — что всего важнее — стремлением увеличить количество полезного, другим нужного труда, потому что в сущности прогресс и всякие виды — даже не вещественного богатства — определяются количеством и качеством затрачиваемого труда. В силу этих соображений промышленное сельское хозяйство, основанное на капитале и знании и соображающееся с рынком, берет повсюду верх над

натуральным хозяйством, назначаемым преимущественно для своих надобностей и случайно сбывающим продукты лишь в урожайные годы, а затем другие виды промышленности (горное дело, фабрики, заводы, профессии и т. п.) постепенно занимают все более и более людей и, давая свободному труду предпринимателей, служащих и рабочих наибольшие заработки, увеличивают общий, а потому и средний достаток людей...

Как бы ни развивалось наше сельское хозяйство, как бы ни умножалась его интенсивность, — все же трудом, относящимся к земледелию и скотоводству, нельзя занять ни преобладающей массы русского народа, ни даже сколько-нибудь значительной его доли в зимние месяцы, и сельскохозяйственный труд в странах умеренного пояса всегда останется преимущественно страдным, т. е. усиленным только в течение сравнительно небольшого времени, оставляя массу его совершенно свободным от необходимых трудовых занятий, определяющих в конце концов своим количеством величину народного благосостояния. Сотни раз надо повторять и всегда помнить, что все дается — только труду.

Русскому народу, взятому в его целом, обладающему большим количеством земли, способность к сельскому хозяйству исторически привычна: он разовьет сам свое земледелие, если начнет богатеть, получит большую свободу труда и увидит примеры. Ему прививать можно только улучшения, а это чаще всего возможно лишь при помощи капиталов. Но нашему народу, как и всем отставшим, не свойственны другие виды промышленности, потому что они составляют новые плоды развития общей образованности и усложненных потребностей. Потребности киргиза так ограничены, что в его среде почти нет торговли, и ему (вероятно, поэтому отчасти) почти все равно, прикочевать ли к России, Китаю или Бухаре. Потребности же народные, начиная с образования, очевидно умножаются только по мере развития его богатства, следовательно, в заботах о благосостоянии народном перее всего надо иметь в виду начальное увеличение богатства народного. Богатство, или количество капиталов, судя по тому, что выше извлечено из Американской переписи, может определяться скорее всего или преимущественно развитием других видов промышленности. А эти последние можно вызывать, покровительствуя им. Англия во времена Кромвеля и Франция во времена Кольбера первые поняли ту истину, что другие виды промышленности, особенно же горную, обрабатывающую и торговую, можно вызвать в своей стране искусственно, ограждая ее таможенной охраной по отношению к тем произведениям, которым желают покровительствовать, предлагая дешевый кредит для развития и оборотов и, покровительствуя знаниям, не избегая при сем даже видов промышленности, наиболее удаляющихся от первичных или натуральных видов потребности. Такая страна, как Северо-Американские Соединенные Штаты в эпоху, которая могла особо благоприятствовать

сельскому хозяйству и при благоприятнейших условиях почвы и климата, показала в наше время, как сильно может влиять протекционизм на развитие видов промышленности, для которой имеются условия в стране. А так как новые виды промышленности дают всюду ныне больше валового дохода, т. е. общего достатка, и больше прямого заработка не только хозяевам, но и рабочим, то ими, исключительно ими, в наше время определяется богатство и сила народа. Вот потому бывши сельским хозяином и разбирая обстановку этого дела, я постепенно сделался убежденным протекционистом и считаю, что в заботах о народном благосостоянии переее, т. е. ранее всего, должно заботиться о других видах промышленности, а не о сельском хозяйстве. Я не был и не буду ни фабрикантом, ни заводчиком, ни торговцем, но я знаю, что без них, без придания им важного и существенного значения нельзя думать о прочном развитии благосостояния России. Меня при этом не страшит тот страх капитализма, которым заражена вся наша литература. Прежде всего замечу, что для меня капитал есть особая форма сбережений народного труда, способная возбуждать новый труд. Притом, обыкновенно слышится у нас желание видеть и достигнуть усовершенствований в сельском хозяйстве, выраженных в увеличении урожаев на данной площади земли, а такое изменение современного положения нашего хозяйства совершенно немыслимо без затраты громадных капиталов, последние же могут накапливаться только при помощи развития тех более новых видов промышленности, которые носят название или индустрии, или капиталистической промышленности. Избегать ее распространения — значить поэтому оставлять и само сельское хозяйство без капиталов, т. е. без коренных современных улучшений при низких и неуверенных урожаях, т. е. не заботиться о развитии народного богатства и благосостояния.

Так и сельскохозяйственные народы плачутся при необходимости перехода к капитализму. И для меня сетования литературы на капитализм совершенно одинаковы с оплакиванием киргизами того гарцования и ничегонеделанья, которое было раньше. Разум общий и доброжелательный здесь надо умножить, чтобы скорее бодрее пережить начальную эпоху, наиболее трудную, а теперь наиболее настоящую. Не умели мы в эпоху освобождения крестьян поместить тогдашние капиталы в промышленность, и придется их заимствовать — в уверенности возврата с барышом и попутного накопления начала народного достатка, а там и сами обойдемся. Так все шли, особенно С.-Штаты, в промышленность. Пусть этот капитал придет из других стран, он пришел и в Америку из других стран, а это не сделало американцев чуждыми интересам своей страны, хотя они народ сборный. Притом я верю в способность русского народа ассимилировать и переработать в свою пользу тот иностранный люд, который придет вместе с капиталом.

Вложат ли этот капитал частные предприниматели в частные предприятия, или просто займут Государство, Земства или особые промышленные Банки с долгосрочными оборотами в других странах и снабдят им наших предпринимателей, это мне все равно в настоящее время, хотя и подлежит глубокому и расчетливому обсуждению. Дело лишь в том, что для развития природных русских богатств, содержащихся в недрах земных, для переработки всякого иного сырья, для развития широчайшей торговли этими товарами и для роста просвещения страны неизбежно необходимы большие капиталы в такой стране, как наша. Эти капиталы могут накопиться с течением времени дома постепенно, но при помощи надлежащей системы покровительства могут прийти быстро, почти сразу, а тогда и результаты будут быстры, к чему примеров много даже у нас, например, в быстром развитии сахарной, железной и особенно нефтяной промышленности, обзор которых я, быть может, дам в своем изложении, если усмотрю в этом явную пользу для доказательности.

Таким образом, сущность того, что я предполагаю развивать, сводится к тому, что «в заботах о благе народа» и его просвещении нужно иметь в виду прежде всего другие промышленности, а не одно сельское хозяйство; это последнее неизбежно разовьется само собою по мере развития других видов промышленности. Дело, однако, очень сильно усложняется тем, что эти другие виды промышленности составляют полные произведения человеческой деятельности в разных ее частях и в этом отношении отчасти проще сельского хозяйства. Растения, разводимые в сельском хозяйстве, требуют не только подготовленной и предварительно удобренной почвы, но и семян, текущей затраты влаги и солнечной теплоты. Так, рост видов промышленности, определяющих современное народное богатство, требует не только предварительно подготовленных условий, но и текущих затрат не солнечной, а людской энергии, без чего как там не бывает урожаев, так тут не бывает успеха. На просвещение должно взглянуть как на засеваемые семена, брошенные в удобренную почву. На капитал и таможенную охрану в этом отношении должно посмотреть как на предварительную обработку и удобрение, но сверх того здесь требуется особый ряд мер, или правильнее сказать действий, без которых урожая в промышленности быть не может, как его не может быть в хлебопашестве без своевременных дождей и теплых дней. Мне бы хотелось указать в своих заметках на главнейшие условия, необходимые для развития видов промышленности. Между всеми ними первое преобладающее значение должно приписать свету современного просвещения страны, так как не по случайности, а по прямой внутренней связи промышленные, в современном смысле, страны в мире в то же время и просвещеннейшие: эти стороны дела находятся в теснейшей, но сложной взаимной связи. Но и совокупностью таможенной охраны, внесенных капиталов и развитого просвещения еще

далеко не обеспечиваются промышленные успехи страны. Они определяются затем развитием инициативы и трудолюбия в стране. Такие предметы, как эти, нося в себе чисто духовный единоличный характер, могут развиваться, как все духовные стороны, только в ответ на доверие и благодушное отношение к иным потребностям и стремлениям. Если представляются трудности при развитии соображений, касающихся таможенного покровительства, развития капитализма и роста просвещения, то они еще во много раз умножаются, когда нужно развивать мысли о накоплении в народе личной инициативы и трудолюбия, потому что в первых 3-х случаях можно проверить соображения числами, а в последнем сделать этого нельзя. Трудность еще возрастает потому, что именно здесь за последний век, благодаря попыткам, подобным тем, которые сделали деятели большой французской революции: социалисты, коммунисты, марксисты и т. п. учения, — необходимо коснуться очень тонких струн человеческой жизни и административно-общественных мероприятий, которые при доброжелательном отношении к предмету и при желании действительного успеха — непременно должны быть постепенными или эволюционными и поставленными в историческую связь со всею предшествующею жизнью народа, так как всякий народ может переходить из сельскохозяйственного строя всей своей обстановки в промышленный только постепенно, или мало-помалу, но никак не может сделать этого вдруг ни путем переворотов революционного свойства, ни способом быстро исполняемых административных постановлений.

Соответствие между развитием промышленности и всею историей человечества уже давно защищается множеством передовых писателей. Это соответствие между течением истории человечества и промышленным его развитием как у нас, так и на Западе, возмущает многих мыслителей, потому что жизнь людей и их историю считают произведением духа, а промышленность делом чисто материальным, а потому они и называют такое представление грубым материализмом. По моему же крайнему разумению, это не материализм, а реализм; эти два понятия должно резко и ясно отличать, иначе все спутается и останется царствовать древний дуализм, различающий только вещество и дух, как несливаемые исходные понятия. Духовные потребности и духовные отношения могут выступать, очевидно, только после удовлетворения материальных, и уже по этому одному проще, ближе и реальнее начинать с этих последних. А главное здесь в том, что искусственный дуализм, признающий только дух и вещество и упускающий третье основное современное понятие о силе или энергии, сыграл уже свою роль в мире, в котором непостижимою тайною надолго останется единство мира, тройственность исходных понятий (дух, сила и вещество) и слияние их во всем том, что подлежит суждению или объяснению в людских отношениях. Древний человек, стремясь

постичь «начало всех начал», как всякому известно, запутался и долго шатался, пока, вслед за Возрождением, при котором разом двинулись художество и наука, не явился реализм, яснее всего выразившийся в успехах естествознания, а от них и в промышленности. Мыслители, указывавшие на Азиатские народы как сохранившие у себя чистый дуализм и развивающиеся преимущественно при помощи следования древлесоставленным кодексам, кажется забывают, что все эти народы в наше время слабы и до того шатки, что поддаются сравнительно ничтожным влияниям передовых народов. Того ли хотят для всего мира, а наши писатели для России? Она, находясь на грани Азии с Европой, имея явную склонность к реализму, даже во всей философии может по-видимому довести до конца реальные представления об единении вещества, силы и духа, в чем должно видеть истинное торжество реализма, и может сбиться с пути, завещанного ей историей, если отвернется от Запада и не будет искать мировой между течениями прежней жизни Востока и новой жизнью Запада.

Развитие человечества началось именно с признания потребности сперва личного, а потом общего блага, и на их сочетании покоятся все законы и образы правления. Но то одно, то другое, временами, берет верх, и вот ныне, когда крайнее процветание индивидуализма начинает, видимо, забирать верх, появление социализма и его быстрое распространение становятся понятным по существу. Его общественное и моральное значение в известной мере можно считать даже благоприятным для общего роста сознательности, особенно, если иметь в виду «теоретический социализм», но предлагаемые в нем приемы прямо не сообразны с целью, которой желает достичь, и я не думаю, как полагают, однако, многие, что учение социалистов служило источником для возрождения таких общегосударственных предприятий, как виды государственных монополий (напр., железнодорожных), попечения о рабочих на фабриках и заводах, всеобщего страхования и т. п., потому что уже с древних времен видны начала, из которых развились подобные меры, выражающие собою известную форму сочетания государственных интересов с личными. Уже одно возникновение постоянных войск, водохранилищ, орошений, даже дорог и почты свидетельствует о том, что государственные средства никогда принципиально не отождествлялись с понятием казны, как собственности правящих классов, а назначались для удовлетворения тех общих потребностей, которые могли быть выполнены только большим сборным государственным капиталом. Во всяком случае увлечение социализмом, по моему мнению, нельзя правильно понимать, если не принять во внимание лучших его стремлений к достижению общего блага и если не видеть, что основную ошибку социализма составляет подавление личной инициативы, которая в сущности своей и ведет ко всем видам прогресса, заставляя, как показал Тард, массы народа «подражать» единоличному примеру. Словом, утопия

социализма есть крайняя противоположность утопии индивидуализма. Истина в срединном сочетании.

Моя мысль об отношении единоличного к общему, или индивидуального к социальному (которое должно явно отличать от социалистического), скажется, я полагаю, еще яснее, если я выражу уверенность, что глубокие изменения во множестве прежних, стародавних отношений заставят, по моему мнению, признать наше время концом «новой» истории и началом «новейшей», или современной. Новая история характеризуется преобладанием и развитием интересов индивидуальных, новейшая — должна дать наибольший простор и широкое, прежде небывалое, развитие интересам социальным. Внешним признаком наступления новейшей истории можно считать распространение и даже преобладание во всех частях света начал западноевропейской, или лучше латинско-саксонской цивилизации, в усовершенствовании которых и протекла большая часть новой истории. Эта последняя начинается с открытия Америки, теперь уже занявшей самостоятельное и видное положение во всех мировых отношениях. Новейшая история, начинаясь с распространением тех же начал на громадные пространства Азии и Африки, введет народы этих частей света в общую историю человечества, и в ней китайцы и даже негры должны занять такую же роль по отношению к остальному миру, какую заняли Северо-Американские Соединенные штаты в новой истории. Но Соединенные Штаты в сущности представляют тех же западных европейцев, пересаженных на новую почву и в новые условия, тогда как у китайцев, индейцев и негров есть уже много своего народа со многими своими особенностями, до расовых — включительно, и эти народы сколько бы ни восприняли общеевропейской цивилизации, все же останутся со своими особенностями и, без сомнения, внесут в мир много такого, что отличит новейшую историю от новой в большей мере, чем эта последняя отличается от «средней». Борьба всякого рода, начиная от войн, на мой взгляд, при этом неизбежна, и нельзя допустить мысли, чтобы она кончилась подобно тому, как кончилась война европейцев с североамериканскими индейцами, и вновь вступившие в мировую область народности Азии и Африки, по моему разумению, должны внести для удержания своей самобытности усовершенствование начал цивилизации выражением, даже преобладанием, общественно-социальных начал в такой мере, которая еще не существует в нашем обиходе, преимущественно индивидуалистическом.

Все главные части нашей русской истории совершились в новую эпоху человечества, мы восприняли начало латино-саксонской цивилизации позднее других западноевропейцев и ни для кого не подлежит сомнению, что мы сохранили больше, чем западноевропейцы, некоторые начальные стороны азиатской жизни. По мне, все это может послужить к нашему

благу, тем более, что мы географически занимаем середину между настоящим Западом и Востоком, и что сравнительно молодое Русское Царство еще легко может одолеть труд объединения из двух важнейших частей человечества. Волей или неволей, по срединному нашему положению и по громадности протяжения наших азиатских границ, даже по причине текущей японской войны, мы должны принять большое участие в готовящихся мировых событиях. Чтобы при этом уцелеть и продолжать свой независимый рост, нам необходимо не только быть готовыми к отпору всякому на нас внешнему посягательству, но и всемерно позаботиться о таком своем развитии, которое ответило бы нашим особенностям, нашему положению и предстоящим нам делам, а для этого, конечно, переее всего надобно скорее приняться за установление твердых начал всей нашей образованности, которая до ныне, сказать правду, бралась лишь на прокат с Запада, а не делалась нашей благоприобретенною собственностью. Классические недостатки западноевропейского, преимущественно диалектического, образования усилились у нас до того, что за небольшими изъятиями, относящимися преимущественно к специализированному образованию, особенно высшему, у нас знание отождествляется с говорением или изложением. Хорошо говорящий, особенно же бойко пишущий — почитается и знающим то, о чем идет речь. По существу это значит, судя по сказанному выше, что все наше образование направлено преимущественно в сторону индивидуалистическую, подобно древнему или средневековому, и на деле вовсе чуждо задачам жизненным и общегосударственным, для которых истинное знание состоит в умении видеть действительность, уловить условия, принять их в расчет и сообразно со всем этим найти выполнимое или в данной частности пригодное разрешение, будет ли то постройка машины, или ведение предприятия, или исполнение поручения, личное ли, или общественное дело. Разговор и слова нужны, но они только начало, вся суть жизни — в делах, в умении пере хода от слова к делу, в их согласовании. Начальное и даже все среднее общее образование должно иметь дело преимущественно со словом, а высшее — с делом, с жизнью, с общественными, так сказать, внеиндивидуальными отношениями...

Всегда и в каждом деле для сознательности совершаемых в нем действий преполезно подсчитаться; а когда, как теперь у нас в целой стране, что-то стряслось непривычное, когда дело касается большинства голосов и сил страны и когда в ней наступают во многом новые порядки, тогда подсчет существующего не только полезен, но просто неизбежно необходим для всякого, кто сколько-нибудь хочет жить сознательным членом своей родины, потому что целое всегда мало видимо, т. е. в глаза само не бьет. Иначе из-за грубой подражательности, того гляди, призовутся новые беды и несоответствие с тем, что имеется налицо и что требует своих последствий и сознательных желаний, стремлений, обсуждений и мероприятий...

Что касается до определения центра нашей обширной страны, то этот предмет, сколько мне известно, совсем не затрагивался нашей литературой, хотя говорилось о центре очень много и хотя интересы центра обсуждались во многих комиссиях. Поэтому я приложил здесь возможно точные приемы расчета и полагаю, что это пора сделать, потому что центр страны, как отлично показывают расчеты, производимые в Северо-Американских Соединенных Штатах каждые 10 лет, со временем перемещается, и надо полагать, что за первой Переписью последуют же следующие, в которых расчеты этого рода будут выполняться, и тогда станет очень полезным принять во внимание направление перемещения русского центра, для чего необходимо знать положение центра в эпоху первой Переписи, т. е. в 1897 г. Перемещение же центра страны и все сведения об этом предмете имеют, на мой взгляд, большое значение при обсуждении общих интересов страны, на что пришло у нас свое время...

Центр поверхности России, способной к расселению, лежит около 56° северной широты и около 46° восточной долготы, т. е. около границы Тобольской и Томской губерний, немного севернее Омска. Можно полагать, что в направлении, примерно, к этому месту — с уклоном на юг — будет в ближайшие десятилетия перемещаться современный центр населенности России, географическое положение которого по расчету определяется для 1897 года так:

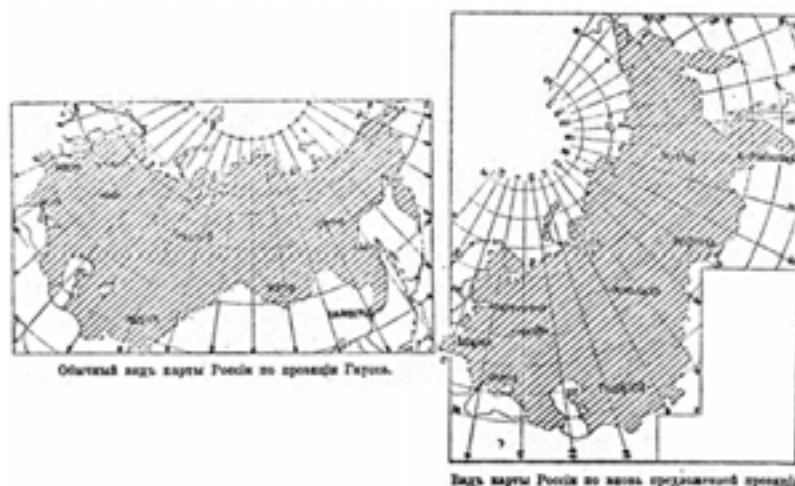
Северная широта $53^{\circ} 20'$

Долгота от Пулкова $10^{\circ} 23'$

Точка эта лежит в Тамбовской губернии, на северо-восток от Козлова и на запад от Моршанска. Несомненно, что центр русского населения с 1897 года уже успел подвинуться по направлению к востоку, с уклоном на юг, но как велико действительное перемещение в протекшие 9 лет, сказать можно будет только после разбора данных ожидаемой в будущем второй общей русской переписи...

Россия, расположенная отчасти в Европе, отчасти в Азии и граничащая с владениями, наиболее центральными в той или другой части света, назначена историей именно для того, чтобы так или иначе Европу с Азией помирить, связать и слить. Уже на основании того, что в таких обширных азиатских наших владениях, каковы Восточная и Западная Сибирь, явно преобладает, и численно и во всех иных отношениях, русское население, должно ясно видеть, что Азиатская Россия настолько же Россия, насколько и большинство частей Европейской России. Разъединять, как чаще всего делается на картах, Европейскую Россию от Азиатской представляется во многих смыслах неправильным, особенно же вследствие того единства русского народа (великороссу, мало- и белорусы), который явно преобладает

во всем населении страны, составляя массу в 82 милл. душ в среде, содержащей кроме него лишь 46 милл. душ разнообразнейших народов, ничем, кроме России, между собою не связанных. Надо же помнить, что есть страны, — такие как Великобритания, — имеющие владения во всех частях света, разделенные между собою громадными пространствами океанов, числящие в своей общей населенности более инородцев, чем владельцев страны, и в этих отношениях вполне отличающиеся от России, целой и единой, даже в пространственно-континентальном отношении, не только в народном. Изображение всей России на географических картах, однако, чрезвычайно мало удобно, именно по той причине, что она вытянулась с запада на восток от пулковского меридиана — $12\frac{3}{4}^{\circ}$ на западной границе, в Польше, до $+159\frac{1}{2}^{\circ}$ на востоке, у Берингового пролива. А изображать на карте, т. е. на плоскости, форму шаровой поверхности, занимающей почти пол-окружности (около 172 по параллели), представляется невозможным без явных искажений...



А когда речь идет о России, тогда следует непременно иметь в виду изображение всей ее целиком. Когда же ее изображают в целом (чаще всего в проекции Гаусса) виде, то всегда, как видно по прилагаемому небольшому эскизу, Новгородско-Московская или Царская Россия, составляющая родоначалие всей Империи и содержащая в себе центр ее населенности, является каким-то придатком, находящимся сбоку, так что получается общее впечатление о России как стране по преимуществу Азиатской; это определяется уже тем, что из 19-ти милл. кв. верст суши, занятой Россией, 14-ть милл. кв. верст (почти $\frac{3}{4}$ поверхности, жителей же менее $\frac{1}{7}$ общего числа) лежит в Азии. Сам я сибиряк родом, т. е. происхожу из Азиатской России, думаю даже, что в будущем Азиатской России суждено играть немалую роль в мире, а потому ничем или ни в каких отношениях не кичусь перед Азией.

Старался я составить новую карту так, чтобы она при малых размерах отличалась возможною точностью и выставила на первом плане тот центр, которым сложилась и живет вся Россия. Кроме того, картою я старался достигнуть наглядности принятого мною подразделения России на отдельные «края» или «земли», характеризующиеся близостью и особенностями своего сложения. Административное деление России, конечно, должно быть положено в основу всего, как оно вложено и в историю и в Перепись, но простое сопоставление, как ныне нередко делается, в алфавитном порядке 50 губерний Европейской России удаляет сродные местности и устраняет возможность многих естественных сближений. Вся совокупность 97-ми губерний России разделена мной на 19 частей; они названы «краями», если прилегают хотя отчасти к границам Империи, и «землями», если со всех сторон окружаются ее другими подразделениями. При таком разделении России на края и земли я принял во внимание не только многократно признававшиеся подразделения России в естественном и экономическом отношениях но и соображения, вытекающие из данных переписи...

В России народов разного происхождения, даже различных рас, скопилось немалое количество. Оно так и должно быть вследствие того срединного положения, которое Россия занимает между Западной Европой и Азией, как раз на пути великого переселения народов, определившего всю современную судьбу Европы и берегов Средиземного моря, падение древних Рима и Греции и самое появление в великой европейской равнине славянской отрасли индоевропейцев. Послужив главным путем Великого переселения народов, Россия содержит осевшие на месте их остатки. К Африке Россия не касается непосредственно и черная раса не бродила по нашим степям, и лишь поэтому африканско-негритянской народности у нас нет в сколько-нибудь заметном количестве. Что же касается африканской народности, то часть нашего Сибирского побережья очевидно с ней сродственная, и, вероятно, большинство этих народов связано с монгольским типом, характернее всего выраженным в Китае. Коснувшись прошлого переселения народов, столь изменившего картину всего мира, за исключением, быть может, только одного Китая, не могу не остановиться хоть на момент над современным и предстоящим положением этого предмета, потому что его значение, без сомнения, выше многого иного, считаемого весьма важным. Переселение народов не кончилось, еще идет — не только из Европы в другие части света, но и из Китая, но кончиться ему необходимо должно в некотором будущем — едва ли еще к нам близком, когда произойдут три неизбежные и уже явно начавшиеся в наше время явления, все прогрессивного свойства: 1) когда общее число жителей повсюду станет, как идет уже ныне, возрастать быстрее, чем было не только в древние века, но и в средние и

дорастет до того, что повсюду теснота приблизится к китайской или английской; 2) когда общее развитие трудолюбия и промышленности, руководимых наукой, то есть реально-опытным исканием долей истины, овладеет недрами земными и солнечной энергией, превращением веществ и питанием людей, устройством жилищ и пользованием океанами и т. д. — в такой мере, уже теперь предвидимой, что для размножения людского и тесноты общей мирной жизни не будет никакого другого препятствия, кроме лени отдельных лиц, которым возмездием за то должны быть нужда и голодная смерть, что видимо также уже начинает наступать во всем мире, и 3) когда правительства крупнейших государств всего света дойдут до сознания необходимости быть сильными и достаточно между собою согласованными для подавления всяких войн, революций и утопических начинаний анархистов, коммунистов и всяких иных «Больших Кулаков», не понимающих прогрессивной эволюции, совершающейся во всем человечестве. Заря и этого общего соглашения народных правительств видна уже в Гаагской, Портсмутской и Мароккской конференциях, хотя до правильно организованного сложения тут и во всем ином еще далеко, уже потому, что сперва надо перестать кичиться одним народам и расам перед другими, так как римская, греческая, китайская, даже еврейская («народа Богом избранного») кичливость наказаны по заслугам. Быстрота, с какою Япония приобрела свое новое положение, тут много значит, но еще большего надо ждать от Китая и Африки. Мы, русские, взятые в целом, благодаря Богу, кичливости чужды и, поставленные на грани двух друг другу не чуждых миров, должны ясно понимать соприкасающиеся сюда предстоящие вопросы. Оттого-то, приступая к разбору распределения жителей России по пригодному языку, то есть по народностям, я считал неизлишним коснуться указываемого предмета, так как и у нас вопросы народного прироста, переселения, соседской жизни разных рас, развития промышленности и наук, отсутствия утопических увлечений, мирного уложения международных недоразумений и т. п. должны занимать первое место — вслед за вопросом о способах прекращения общей средней народной бедноты, составляющей основную причину всех наших бед...

В крупных чертах абсолютное и процентное распределение народов, образующих Россию, есть следующее:

Великороссов	55,7	милл. или около	43,5%
Малороссов	22,4	«— «	17,5% 65,6%
Белорусов	5, 9	«— «	4,6%
Поляков и друг. славян	8,1	«— «	6,4%

	92,1	милл. или около	72,0%
Литовцев, латышей	3,1	милл. или около	2,5%
Романских народов	1,1	«— «	0,9%
Германских народов	2,1	«— «	1,8%
Армян, цыган	2,2	«— «	1,9%
Евреев	5,1	«— «	3,2%
Грузин и кавказских народов	2,4	«— «	2,0%
Финских народов	5,8	«— «	4,5%
Турецко-татарских и монгольских народов	14,3	«— «	11,2%
<hr/>			
Всего	128, 2	милл.	100%

Распределению жителей России по природному языку во всех отношениях соответствует распределение по религиозным верованиям. В этом отношении в таблицах отмечены лишь три категории жителей. В столбце 27-м дано число православных, равное 89 1/4 милл., т. е. как раз почти столько, сколько имеется великороссов, малороссов и белорусов с небольшой прибавкой финских народов, принявших православие. В столбце 28-м даны жители, держащиеся других христианских исповеданий. Их всего числом около 19 миллионов. И почти столько же имеется у нас нехристиан, между которыми главное место занимают евреи (около 5 милл.) и турецко-татарские народы (около 14 милл.). Что касается христиан разных исповеданий, то между ними преобладают католики Польского и Литовско-Белорусского краев и лютеране Финского и Литовского краев, а затем, конечно, большинство романских и германских народов. Религиозные вопросы, благодаря Богу, в настоящее время после тех передраг, которые произошли во время религиозных войн, когда-то смущавших весь мир, не волнуют ни Россию, ни другие части света, потому что именно здесь «свобода» наиболее уместна, так как всемирной религии все-таки еще нет, и ее мир дождется только разве по истечении новых многих испытаний, когда между научным и религиозным сознанием наступит то единство, о каком мечтал еще в былое время Спиноза, хотя придерживался схоластических и диалектических методов, неспособных внушать надлежащего доверия. Истина, конечно, одна и вечна, но надо думать из всего совершавшегося и узнанного миром, что истина познается и доступна людям только по частям, мало-помалу, а не разом, в общем своем целом, и что пути для отыскания частей истины многообразны. Эти утверждения исключают уже все виды умственной кичливости, столь обычной у китайцев, древних греков и латынян, так и у большинства современных

интеллигентов, и заставляют ясно отличать истину от пользы и справедливости, носящих признаки чего-то личного, временного и условного, как и все то, что подразумевается под словами «политика» и «право». Хотя без справедливости нельзя и думать о сколько-либо полном постижении частей истины, но смешивать одно с другим все же никогда не должно, как нельзя ни мешать веществу ни с движением ни с духом, сознанием и мыслью или добро с прекрасным. Истина, добро и красота стремятся слиться, но, увы, этого слияния нельзя добиваться совокупности людей помимо условностей «права» и «политики», «справедливости» и «пользы»...

Россия составляет единственную сильную опору славянства, взятого в целом и содержащего примерно 130 милл., т. е. составляющего более трети всех жителей Европы. Сходство людей по языку, без всякого сомнения, отвечает одинаковости происхождения и близости во многих других отношениях, а потому во всех славянах мы должны во всяком случае, т. е. вовсе не придерживаясь славянофильства, видеть наших ближайших братьев, и если француз, немец, англичанин, индус и китаец наши близкие, то ближе всего все же славяне. Стремление подчинить все государственное сложение идее национализма составляет мысль, в особенности господствовавшую во времена Наполеона III и вызвавшую образование единой Италии и единой Германии, но затем почти оставленную, не потому, конечно, что коммунизм ее вытеснил, а вероятнее всего потому, что восстаний и войн впереди не увидели конца в самой Европе, а вне ее сочли наиболее удобным и «прогрессивным» придерживаться иных начал. Национализм, по мне, столь естественен, что никогда, ни при каких порядках, «интернационалистами» желаемых, не угаснет, но, во-первых, на все, думается мне, придет свое подходящее время, а теперь оно уже никак не за крайности национализма; во-вторых, малым народам уже практически необходимо согласиться навсегда с большими, так как в будущем прочно лишь большое и сильное; в-третьих, разбредшиеся народы, вроде цыган и евреев, без всякой земли и государственности, не могут даже и входить в счет и, в-четвертых, национализму необходимо более всего принять начало терпимости, то есть отречься от всякой кичливости, в которой явная бездна зла, а потому в этого рода делах практичнее всего терпеливо ждать течения совершавшегося. Тем не менее государственное единство прежде и больше всего определяется господствующей народностью, которая выражается яснее всего в принадлежащем ей языке...

Всей душою желаю, чтобы семена истинного просвещения, направленного на добро и пользу, распространились по возможности во всем народе. Начинать, мне кажется, следует не с этого конца, а преимущественно с того, при помощи которого развивается народный достаток, так как только через развитие этого достатка, происшедшего несомненно за

последние десятилетия (после освобождения крестьян, проведения железных дорог и т. п.) и выразившегося явно в миллиардном вкладе сберегательных касс, сама собою выступит народная потребность в образовании, потому что народ уже давно понял (полагаю, что со времен введения христианства) пользу распространения истинного просвещения. Нельзя, однако, забывать, что пока простая грамотность распространена всего у 20% жителей, эти последние в обычном обиходе крестьянской жизни настолько могут выигрывать, что от него чаще всего отходят в другие области деятельности, в особенности промышленные, где даже простая грамотность да умение считать становятся очевидно полезными и даже необходимыми. Поэтому стремиться к так называемому «всеобщему-обязательному образованию», т. е. к бесплатному обучению всех детей, не могущих получить на свои средства начального образования, должно всемерно, но пути к этому одни: надо сперва увеличивать условия накопления достатка в народе (чтобы — без особых налогов — стремились учиться и могли это выполнять) и постепенно готовить хороших учителей для элементарных или народных школ. Не закрываю глаза на то, что эти задачи трудны, но вполне убежден в том, что из безысходной на вид дилеммы образованности (для накопления богатств нужно образование, а для образования нужны накопленные средства) выход возможен — особенно для страны природно богатой — только со стороны накопления богатств и подготовки учителей, а прямо браться за всеобщее образование, не имея ни денежных средств, ни учителей, просто неразумно. Идя с недолжного конца, непременно достигнем того, что в образовании разочаруются, и народ сочтет его ненужной обузой, препятствующей при сложившихся условиях нормальному течению постепенных улучшений...

Богатство может быть потенциальным, если можно так выразиться, т. е. доступным, находящимся в непосредственном владении данного народа, но вовсе еще не извлеченным или не находящимся в непосредственном распоряжении. Таково, например, богатство почвы или богатство залежей полезных ископаемых, например, руд железа или каменного угля. Таково даже богатство народных сил, т. е. число работоспособных жителей, даже богатство климатическое и т. п. Таких богатств у России несметное количество, но они едва затронуты и, пользуясь ими, хотя и самыми первобытными способами, страна наша приобрела свое мировое значение. Это про них давно сказано, что «земля наша велика и обильна». Богатство иного рода, т. е. уже находящееся в состоянии, выражаемом прямо деньгами, обыкновенно явно отличается от предшествующего, и в этом смысле Англия или Франция суть страны богатейшие, а Россия принадлежит к числу беднейших. Это можно было бы выразить при Переписи, если бы при ней счесть годовую ценность добываемых полезностей и их запасов,

в разном виде находящихся, в сущности капиталы и составляющих. Наши запасы, — я говорю не об одном золоте, а о всяких запасах произведений действительного труда, — и наша годовая производительность, выражающаяся лучше всего в промышленно-торговых оборотах, ничтожно малы — по числу жителей — сравнительно с тем, чем бы они могли быть, если бы труда у нас тратилось за прежнее время столько же, сколько затрачивалось его в других богатых странах за последние века. Воспеваемый многими патриархальный быт совершенно чужд понятий этого рода, и если взять конкретный случай нашего земледельца, то спрашивается, много ли труда затратит он в течение года для своей и общей пользы? Не принужден ли он условиями быта и климата большую часть времени посвящать ничегонеделанью, а при этом может ли он обладать достатком, тем более, что земледелие в его первичных формах неизбежно сопряжено, как охота, кочевой быт и все первичное, со случайностями неурожаев, падежа скота и т. п. бедствий, которые и ведут в конце концов к тому, что самые благодатные по климату и самые богатые по почве страны, занимающиеся исключительно или преимущественно земледелием, во всем мире бедны в современном смысле и никогда богатыми быть не могут, если не приносятся к требованиям промышленного времени. Это прежде всего нужно понять в настоящую эпоху, когда для народившихся коренных вопросов России надо найти не мечтательные или ретроградные, а практически выполнимые и вперед идти побуждающие ответы...

Откуда происходит наша бедность, это совершенно ясно: от занятия преимущественно первичными промыслами, какими занимались и тогда, когда все и всюду были бедны; это первое, а второе — от незначительности затрачиваемого у нас труда, а затрачивать его есть куда во все времена года и во всех широтах, хотя бы потому, что наши недра обладают такими богатствами, каких мало в других странах, а добыча и переделки таких запасов могут дать товары, спрашиваемые всем светом, и достатки (заработки) массе русского народа — летом и зимой...

Те, которые подумают над сказанным, уже сами придут к неизбежному заключению о необходимости в России, если она хочет увеличить свои достатки, развивать всякие виды переделывающей промышленности, и я не привожу всей, здесь необходимой, логики, так как надеюсь, что и сказанных намеков достаточно для правильных силлогизмов.

2. Желательное, для блага России, устройство Правительства

Между сложною совокупностью правительственных отправлений (функций), по мне, должно явно отличить два разряда, которые, условно, буду далее называть: первичными и

вторичными, потому что последние всегда являлись, да и должны были являться, не иначе, как лишь вслед за исходными, начальными, или первичными, функциями правительств.

В числе первичных всегда отличают: законодательство, администрацию (исполнительную власть) и суд. Последний касается только того, что сделано в прошлом времени, тогда как администрация относится к настоящему времени действий, а законодательство лишь к будущему, и в этом смысле общепризнанное деление, по видимости, исчерпывает все возможные отношения Правительства к действиям граждан или подданных. Но эти последние взяты здесь в отдельности, в том самом первичном виде, в каком первоначально является всякое обладание или подчиненное отношение одних лиц к другим. Функции правительств чисто варварски ограничиваются только этими: судом, администрацией и законодательством, причем администрация состоит преимущественно в исполнении приговоров суда и в наблюдении за постановлениями законодательства и, по этой самой причине, сама более или менее судит и приказывает.

Усложняющие, или вторичные, отправления правительства обыкновенно являются лишь вслед за первичными, и повсюду ранее всего дело начинается охраною внешних отношений страны, состоящей в организации иностранных сношений и постоянного войска или общенародного ведения войн. Были, пишут, на Зондских островах народы, которые избирали правителей только тогда, когда наступало время воевать. Это, однако, исключение, потому что защита надобна после достижения такого общественного сложения, которое в той или иной мере непременно должно состоять в подчинении законодательству, администрации и суду и нередко составляет обычный конец завоеваний, служивших одною из причин укрепления государственного устройства. Хотя военная и дипломатическая охрана страны имеет много сходства с администрацией и к ней обыкновенно присовокупляется, но все же внутренний смысл этой правительственной функции иной, чем трех первичных, потому что при охране имеется в виду общее целое — государство, а не отдельные его граждане. И, как это ни странно покажется с первого раза, в этой охране, в этой военной организации, при всем преобладании в ней подчинения и власти, кроются начала многих дальнейших усложнений и судеб правительственных усовершенствований. Это потому, вероятно, что доброе согласие, стройный порядок, упрочение душевного настроения и материальная обстановка воинов составляют неизбежную необходимость выполнения ими долга и успешности войн, до чего легко было додуматься и на что указания давали на каждом шагу организованные военные силы. Сношения с иными государствами — помимо подчинения и войн — обучают также правителей и жителей началам согласного действия, порядка, равенства и братства. Отсюда недалеко уже до правительственных забот о

просвещении народа и о его промышленном преуспевании, хотя нужны были чуть не тысячелетия для уразумения того, что одно просвещение, даже совокупность духовно-морального с жизненно-материальным, не исчерпывает отношений, здесь необходимых, и правительственные заботы о развитии народной промышленности так же настоятельно необходимы, как снабжение войск пищей, одеждой и оружием.

Пусть пессимизм видит или старается заставить видеть даже в заботах правителей о войсках и о духовном просвещении лишь эгоистические соображения правителей; этот, как и многие иные виды пессимизма, ничего не дает и не внушает, а в данном случае прямо лжив, как видно уже из того, что многие правители сами много воевали и были фанатиками веры. Причины забот правительства о светском народном просвещении и о промышленности страны сложнее всех иных и возникли позднее, а потому еще удобнее для ложных толкований. Это становится понятнее, когда послушаешь людей (да считаешь в печати), вопиющих противу роста промышленности, и разберешь, что эти вопли представляют в наше время высшую форму задерживающегося ретроградства. Здравый смысл народа за просвещение и за промышленность, потому что в них заложены прогресса, благо общее и мирное сочетание интересов личных с социальными. Правительственные заботы об охране, просвещении и промышленности нельзя перепутать с начальными функциями правительства: законодательством, администрацией и судом, хотя в центральной, т. е. законодательной функции правительства, по существу дела, соединяются все государственные отношения. Первичные отправления правительства еще можно, с грехом пополам и в противоречии с явными указаниями истории, толковать в виде договора граждан с Правительством; вторичные, без явной натяжки, невозможно, и действительное единение народа с Правительством твердо устанавливается только с осуществлением этих вторичных функций. Ранее всего это хорошо поняли в Китае, и его существование, измеряемое многими тысячелетиями, объясняется не столько тем, что его Правительство законодательствует, администрирует, судит, ведет войны и сносится с другими народами, сколько тем, что оно издревле печется о народном просвещении и о развитии его промышленности. Сам Император проводит первую борозду ежегодных посевов, сама Императрица подает пример шелководам. Мне недостает умения в доказательстве того, что высшею функциею правительство должно считать заботы о просвещении народа и его промышленном развитии, но я твердо знаю, что это составляет мое заветнейшее убеждение, и так как «Заветные мысли» не составляют трактата юридического характера, а назначаются только для передачи моих личных убеждений, могущих иметь реальное значение, то я ограничиваюсь сказанным и перехожу к тем частностям, которые относятся к шести выше перечисленным

правительственным функциям, имея в виду уже не одну общую картину отношений народа к Правительству и обратно, но исключительно современность и притом нашу русскую, наших дней, наставших после замирения и вызываемых живыми изменениями прошлого строя, определяемыми буквой и смыслом, высочайших предначертаний и требующих отчетливого и реального к ним отношения от всех нас.

И. З а к о н о д а т е л ь с т в о всегда и повсюду, где прилагают заботы об исполнении законов, т. е. по возможности устраняют произвол, составляет средоточие всей правительственной организации. Это особенно относится к временам переходным и преобразовательным, из которых Россия еще не скоро может выбраться и в каких ныне несомненно находится. Часто думают, что в других делах должно пробовать, и только после перемен избирать тот путь действия, который окажется наилучшим, а в деле законодательства делать этого нельзя или неправильно. В известном смысле, пожалуй, это так, но не совсем, потому что иначе законы не приходилось бы изменять подчас на прямо противоположные, чему примеры известны всякому, и не надо было бы никаких сложных законодательных учреждений, а в конце был бы застой, со всеми его следствиями. Законы, по существу, должны охватывать весь смысл прошлого, всю современность и, что всего настоятельнее, должны предвидеть вероятное будущее страны, насколько оно от законов зависеть может, а потому законодательные учреждения составляют наиболее трудную часть правительственной организации. Вот по этой причине, хотя бы совершенно оставив в стороне все общие места и соображения, касающиеся необходимости ясных и точно соблюдаемых законов, и хотя бы ограничиваться лишь современными русскими потребностями, чего я и стараюсь достичь, — все же о законодательстве необходимо говорить не меньше, а даже более, чем о многих других правительственных функциях. В нем много задатков будущих судеб России, которые однако более-то всего все же определяются природою страны и ее населения, положением ее в среде других народов, нравами и привычками всех ее жителей, историей и из нее бесповоротно вытекающим господством воли Правителей-Монархов. Воля эта оказала, кто бы что ни говорил, до ныне преимущественное влияние на многие успехи России, и нельзя, вместе с преобладающею массою нашего народа, сомневаться в направлении доброй воли русских Монархов — ко благу народному, как в настоящем, так и в будущем. Дело законодательства нашего сводится таким образом на установление инициативы (т. е. начинания или предложения необходимых новых законов) и обсуждения новых законов, которыми, по возможности, исправлялись бы существующие формы зла и силы народные направлялись бы к общему благу страны...

Рассмотрение законодательных мер должно быть неизбежно многосторонним и даже разносторонним, т. е. освещенным суждениями за и против. Но уже вследствие непременной сложности такого рассмотрения необычайно важна инициатива законодательства, так как всего рассмотреть, особенно хорошо, да со всех сторон, очевидно невозможно и можно заниматься, особенно под влиянием господствующих предрассудков, предметами, малозначащими и лишь формальными, а существенно нужному для блага народного тогда не найдется места и времени и оно все будет оттягиваться. Поэтому, со своей стороны, считаю законодательную инициативу и порядок рассмотрения имеющими огромное значение для успеха всех предстоящих у нас судеб законодательства.

Непрактичный, даже худой или вредный закон всегда, при всех предосторожностях, явиться может, потому что законы — дело рук человеческих, но надо иметь и всеми способами открывать возможность изменять и поправлять такие законы, которые из-за преследования ложных мыслей и начал — при всем благом желании законодателей — приводят не к добру, а к худу. А этого никак нельзя и ждать, если исполнители — единственные возможные инициаторы законодательных изменений, потому что никто сам себе не судья, да и не враг, и перемен и новшеств всяких — без явных побуждений — невольно страшится...

Законодательство, коли оно относится не к формально-пустозвучным, а к жизненно-реальным потребностям народа, да еще столь большого, как русский, составляет дело сложнейшее и как всякое такое требует хорошо обдуманного порядка в своей последовательности. Иначе дела второстепенного значения и требующие только расходов — оттянуть настоятельнейшие, могущие увеличивать достатки жителей и самого государства.

Не имея и в мыслях ни малейшего желания кому-либо указывать в отношении упомянутых важных предметов, выскажу только некоторые из заветных своих мыслей о праве инициативы и об установлении последовательности или порядка законодательных работ.

Манифест 6 августа, устанавливающий новую и прямую связь Монарха с народом, и сопровождающие его разъяснения дают выборным членам Государственной Думы право законодательных начинаний. Статья 34-я закона об учреждении Думы прямо говорит: «Государственной Думе предоставляется возбуждать предположения об отмене или изменении действующих и издании новых законов». Для осуществления рассмотрения требуется (статья 54) письменное заявление «не менее, чем 30-ти членов», и это мудрое ограничение должно признать совершенно достаточным обеспечением того, чтобы на рассмотрение шли действительно лишь жизненно важные предметы. За Министрами,

очевидно лишь по своему ведомству, также сохраняется право начинания законодательных дел, и эта совокупность обещает уже многое, особенно же того что к членам Думы от всех жителей Империи, а к Министрам от всяких исполнителей дойдут голоса народные и ничто существеннейшее и сознанное не минует, как может миновать доньше, законодательного внимания, а пройдя свою частную оценку — в виде ли 30 членов Думы или в виде оценки предложений Министерствами, будет касаться лишь назревших надобностей «блага народного», а не каких-то смутных благих пожеланий или неосуществимых утопий...В отношении к законодательной инициативе Министров мне хотелось бы думать, что после установления Первого Министра или единства исполнительной власти (о чем речь моя впереди) весьма будет важно, чтобы законодательная инициатива Министров проходила через Первого Министра, а не шла прямо от отдельных Министров. Чрез это много должно сократиться времени и мелочных дел в работе законодательных Советов. Ныне, сколько я понимаю и знаю предмет, соревнование и отсутствие прямой и зависимой связи между отдельными Министрами служит одним из главных оснований существующего правительственного порядка, а в будущем, сколько можно предвидеть его или, скорее, предчувствовать или надеяться, на то место встанет соревнование и независимость трех сил: Государственной Думы, Государственного Совета и Первого Министра. И это будет уже потому явным улучшением, что при ширине инициативы окончательных разногласий будет меньше, особенно при единстве исполнительной власти, неизбежно долженствующей — по самому смыслу учреждения Государственной Думы — становиться во многом на точку зрения преобладавшего в Думе большинства...

Спрашивается теперь, как достичь того, чтобы между членами Государственной Думы преобладали — по возможности — люди, любящие Россию, в ее будущность верящие и способные эту любовь отстаивать явно, умом поддерживать голос любящего сердца? Задача та сложна и опытным путем — по примерам других народов, — мне кажется, еще далеко не» решенная с ясностью. «Всеобщий, прямой и тайный» выбор народных представителей, чего желает немалое количество наших передовиков, мне представляется не только неосуществимым на деле, но и отнюдь не могущим дать желаемых представителей, потому уже, что такой выбор, при всякого рода допущениях, предполагает готовых, ранее намеченных кандидатов и развитие сознательности более или менее равномерным во всем народе. Последнего нигде допускать нельзя, а у нас и подавно, а первое уже по существу говорит против всеобщности и тайны. Признаюсь, что лично я боюсь больше всего преобладания между членами Государственной Думы теоретиков, будут ли они из либералов или из консерваторов, и боюсь потому, что любя свои созревшие мысли более всего

окружающего, они должны предпочесть идейное жизненному, а в законах, по мне, это вредно и допустимо лишь в малой дозе. А лицами, могущими донныне склонить к себе всеобщий голос, то есть выступить кандидатами при «всеобщем» голосовании, следует считать лишь идейных теоретиков. Они народу и жизни нужны, честь им и слава, но без преобладания в Думе. Поэтому мое личное мнение противу всеобщего голосования. Избрание чрез выборщиков, установленное и у нас, есть единственное донныне возможное, и вся судьба дела определяется не столько количеством выборщиков, сколько их качеством, т. е. «цензом». Как у нас, так и всюду, преобладающее значение для его определения приписывают имуществу, в том конечно предположении, что имущество связывает тесно личные интересы с общими. Хотя у меня-то самого цензовое имущество есть, но я лично громко высказываюсь противу рациональности указанного начала, хотя бы оно выражено было просто мерою вносимых (но ведь не по личному желанию) податей. Это потому, прежде всего, что имущество наследуется и уже вследствие этого одного нисколько не говорит о личных качествах владельца...

Отцовский или детский ценз должен иметь, по всей видимости, благое значение как в консервативном, так и в прогрессивном отношении, потому что у отца наверное уже есть немалый жизненный опыт общения и ему осязательно важны как сохранение общего порядка, так и обеспечение его в будущем — прямо для близких ему. А главное, у отцов в общем должно предполагать много больше, чем у не отцов, тех практических сведений, любовью определяемых и усовершенствуемых, от которых зависит ближайшее будущее. Супружеская связь еще может быть определяема в большинстве случаев преобладанием личных, эгоистических требований, особенно при соединении с некоторым достатком, но дети неизбежно, в огромном большинстве случаев, ставят любовь к другим на степень выше эгоистической. Дети и законодательство непременно должны заставлять думать о практическом будущем. В этом главная связь. Если имущественный ценз расширить понижением требований, а усилить отцовством, то выгоды будут, вероятно сравнительно скоро, очевидными. Но моя мысль станет понятнее, если прибавлю, что отцам-выборщикам желательно предоставить право избирать народных представителей хотя бы наполовину не из своей среды (т. е. не отцов) с тем лишь (без ценза) ограничением, чтобы выбираемый жил в избирательном округе не менее пяти или трех лет...

Места (и оклады) состоящих на службе избранных членов Думы могут быть временно заняты другими лицами, чтобы не было совместительства, которое, говоря вообще, почитается мною очень вредным, конечно, за исключением мест «почетных», более всего выражающих лишь дань за прежние заслуги. Повторю, что вообще ценз для народных

представителей надобен, как норма, но надо дать прямую возможность поправлять неизбежные его недостатки, ради достижения в Государственной Думе совокупности лучших представителей народного разума.

Это особенно важно помнить, обсуждая в наше время законодательство, надобное России, потому что ее природные условия чересчур разнообразные, ее жители разноплеменны, с различным прошлым и ее народ до чрезмерности разнороден по началам религиозным, нравственным и образовательным. Всего этого не охватить сухими подробностями законов. Эти подробности родят много зол. Между причинами, вызывающими часто вредные и излишние подробности законов, немалое место занимают софистика и диалектика, более всего натяжки в насильственном требовании полного единообразия там, где оно может быть достигаемо только само собою мало-помалу таинственными и часто постепенскими путями истории, да и то не до конца, не без исключений. Чтобы по возможности избежать доктринального единообразия подробностей законов, необходимы общеобязательные законы ясные и вразумительно-практические, но лишенные подробностей, которые могут быть узаконяемы с разнообразными вариантами как по местным условиям, так и по разным иным соображениям. И надо, по моему мнению, первее всего обдумать и всячески взвесить эти общие законы, а выработку местных и всяких иных частных и подробностей пока отложить, потому что эти последние неволью возбуждятся жизнью и отношением к ней администрации. Иначе, т. е. сразу вступив в область частных и особенностей, легко можно, говоря грубо, завязнуть в них и тратить на них дорогое и толкающее к общему выяснению время спешных законодательных работ. Притом неизбежно ежегодное рассмотрение государственных смет послужит прямым поводом к выяснению большинства частных, когда общее уже решено и узаконено...

II. А д м и н и с т р а ц и я, или власть исполнительная, говоря вообще, соответствует настоящему времени, если законодательство — предстоящему, а суд — протекшему. Законодательство и суд менее сложны, чем администрация, взятая в целом, и если против какой-либо части правительства идут нарекания, то преимущественно именно против администрации. Основываются они, по существу своему, главным образом, на том, что администрация нередко присваивает себе не только в случаях, законами не определяемых, но и там, где законы ясны, такую часть законодательных и судебных функций, которая, не согласна с интересами граждан, а улучшение администрации может основываться только при возможно строгом разделении трех основных, или первичных, правительственных отправлений. Разделение их, однако, во множестве частных еще не закончено, в некоторых частях до такой степени условно, что его подробности должно непременно

понемногу точнейшим образом установить законодательным путем, чего, по мнению моему, не надо и доказывать — по очевидности. Но и там, где законченность разделения правительственных функций доведена до возможного предела ясности, у администрации кроме наблюдения за уклонениями от требований закона остается и останется всегда много обязанностей, выясняемых более или менее произвольно, лишь по духу закона «за совесть» и прямыми отношениями отдельных граждан к отдельным лицам администрации. Для примера укажу на избрание и удаление подчиненных служащих, на принятие во внимание частных и личных обстоятельств, на успешность преследования скрывающегося зла, на меру содействия добру и т. п. Личные качества исполнителей не могут быть лишены доли произвола, и законодательство не может охватить всех частных. Потому от исполнителей в администрации, как от солдат в армии, нельзя требовать только свойств точной машины, а необходимо принимать во внимание и личные качества людские. По этой причине первая суть дела в выборе служащих по администрации. Эта часть дела разрешима только подбором лиц, начиная с самого верха, а он, как далее постараюсь выяснить, может быть хорошим только при организации единства в администрации. Однако административные действия во всяком случае должны быть до мелочей проникнуты законностью, ибо без того исполнителей закона нельзя логически представить. Если допустить существование надлежащих разъяснений, относящихся к административным действиям, то для «блага страны» неизбежно необходимо, чтобы превышения административной власти подлежали каре по суду и только в особо исключительных, преимущественно мелочных, случаях каре дисциплинарной, т. е. исходящей от высших органов самой администрации. А для того, чтобы такой порядок мог осуществляться в действительности, необходимы, кроме законодательных разъяснений, два условия: 1) суд должен быть от самого верха до самых низших ступеней совершенно отделен от администрации, а для этого у нас многое существующее надо изменить, начиная, мне кажется, с выделения Министерства юстиции из числа обычных Министерств и отнеся к особому отделу Сената или высшего суда все предметы этого Министерства, и 2) необходимо широко допустить и действительно применять обжалование перед судом незаконных действий чинов администрации не только прокурорами, но и каждым гражданином, и не только тех, которые состоят на так называемой «действительной» службе (пользуются чинами и пенсиями), но и тех, которые служат по найму и могут быть назначаемы и увольняемы своим ближайшим начальством....

Администратор, не сумевший приобрести личный авторитет и не соблюдавший законов — плох, и если его удалят — можно ждать, на основании множества примеров, только улучшений. Но, конечно, суд, как всякое людское дело, может ошибаться, а потому его

суждения, относящиеся до законности действий администрации, должны подлежать особым формам кассации, и вся важность предмета может сильно выясняться в отдельных случаях, хотя центр тяжести лежит в двух началах: подсудности администрации и в легкой возможности обличения на суде администрации в незаконных действиях, потому что иначе законность нельзя обеспечить и сделать одним из элементов «блага народного». Администрация вообще и в частности администраторы, действующие законно, не могут страшиться суда, как не страшится его и всякий добрый гражданин, потому что суд, в конце концов, должен устранить неправоые обвинения и карать только при их доказанности.

Благо же народное, ради которого существуют правительства, определяется прежде всего суммой добра, посеянного, выросшего и плоды приносящего. Законодатели и судьи, содействуя преимущественно искоренению зла, конечно, содействуют победе добра, но только одна администрация не отрицательно, а положительно может действовать в его сторону, недопущением уклонений от закона, а содействием в круг свободных действий граждан. И в этом смысле, как в первичном, администрации принадлежит роль исполнительная, если, как я старался показать в начале своего изложения, современные правительства назначаются не только для выполнения первичных функций, но и вторичных, от которых более всего зависят в наше время успехи блага народного.

Если же эти исходные мои положения ясны и будут признаны, то из них несомненно вытекает великое, определяющее многие иные отношения, значение администрации, как правительственного органа, могущего служить распределителем в народных массах тех благих предначертаний, которые, по существу дела, должны исходить от Верховной Власти и содержаться, хотя бы в сокрытой или потенциальной форме, в законодательстве. Меня не смущает ни то, что об этом предмете распространены мнения, противоположные высказанному, ни то, что сам я убежден в согласии действительности с этими противоположными мнениями для большинства (но отнюдь не для всей) администрации, ни даже то, что мой взгляд смахивает на оптимистическую идеализацию. Не смущаюсь потому, что огульный пессимизм ничего жизненно здорового дать не может, что, не ставя или не имея идеалов общих, в реальных частностях непременно должно запутаться и даже обманывать себя и других, и что мои «Заветные мысли» относятся более всего к предстоящему, а в нем справедливо можно не только желать, но и надеяться на администрацию, как важный, общему успеху помогающий, орган правительственной власти. Все дело по существу сводится к подбору должных людей, администрацию составляющих, к выработке законов, определяющих круг действия исполнителей, и к тому общему и всепроникающему, что называется нравами и определяется нравственностью. Состав

администрации в ее многообразных разветвлениях так велик, что на лицах администрации отражаются все главные народные свойства и привычки, т. е. нравы...

Пороки в администрации, всегда возможные и до крайности могущие вредить «благу народному», ничуть не должно, даже в мыслях, относить к недостаткам всего правительства, а лишь к недостаткам самой администрации. Если администрация будет иметь своего Высшего Представителя и пороки определяются недостатками отдельных лиц, высший администратор их заменяет лучшими; если же вся система на деле окажется плохой, т. е. благу народному не соответствующей, перемена возможна при помощи назначения Монархом нового высшего администратора, с иными, быть может, общими или исходными началами, из другой «партии», как принято говорить на основании западноевропейских примеров парламентских партий. В делах людских абсолютное совершенство обеспечить невозможно, но приближаться к нему должно постепенно, чего и можно достигнуть не иначе, как в соединении двух приемов: гипотез и опытов. Гипотезы — это «партия», опыты — это исполнители в делах административных. Неладная гипотеза даст и неладный опыт, а неладное для всего совершенствования необходимо заменять пригодным. Пригодное можно и должно твердо узаконить, но сомнений и недоразумений все же остается множество, всего решить и направить в должную благую сторону нельзя, и вот для этого-то сонма сомнений и недоразумений нужна администрация с определенными, сознанными «партийными» гипотезами или с системою, целями и приемами. Попробовав их на деле, она сама может сознать свою ошибочность, тогда и уйдет от дела, а если не сознает сама, а окажется по результатам непригодною — ее удалят и перейдут к иному, например, от застрачивания и репрессий к снисходительности и содействию, от классицизма к реализму, где они еще не узаконены, от системы «золотой валюты» к кредитной, от юдофобства к юдофильству и т. п. Решать абсолютно будет жизнь и действительность, и всякая система решений, заранее готовых, на деле может быть злом, жизнь же может прибавить и компромиссов, и средних мер, подготовки, и последовательности. Если признается необходимым и самые законы изменять, то тем паче надо иметь возможность легко сменять отношение исполнителей к тому, что остается еще невыясненным для законодателей и для чего назначены исполнители или администраторы, долженствующие применять не одни буквы, а дух законов. Только не искусившийся в жизни и в приложении «систем» может думать, что у него есть ключ к решению всего. Не только его еще нет у кого-либо в руках, но он помещен так высоко и далеко, что подбираться к нему люди могут лишь осторожно, путем постепенным, индуктивно-опытным. В деле правительства путь этот до сих пор цельнее всего выразился в установлении единства администрации, осуществляемом во главе министров или Первом

Министре, или в том, что у нас подразумевается обыкновенно под именем Канцлера, как для краткости я его и буду далее называть. Его главнейшее право внешнее — подбирать себе министров, ведающих отдельные части администрации, а право внутреннее — держаться определенной системы. Его главнейшую, как бы внешнюю обязанность составляет направление всех частей администрации к «благу народному», а обязанность внутреннюю — удаляться, если принятая им система окажется на деле худою...

Единство исполнительной власти, выражающееся в установлении должности Канцлера, считается мною одним из первейших условий возможности устранения многих явных недостатков существующего у нас строя даже по той причине, что ныне, когда все министры и министерства лишь с формальной стороны связаны в Комитете Министров, а в существе вполне независимы друг от друга в администрации повсюду, т. е. на всех ступенях, идут и действуют разноречивые начала во всем том, что еще не окрепло, и особенно в том, что требует от администрации не отрицательных (карательных), а положительных (содействующих) мероприятий, так как в практике разделить министерства необходимо, а в жизни главнейшие дела, особенно прогрессивно новые, столь сложны, что касаются многих министерств, а каждое чувствует себя независимо, точно особые государства в едином общем... Кой как в жизни приходится выдвигать, но успешности в движении самых благих и взвешенных предначертаний Правительства нельзя ждать, пока не наступит с единством администрации и Канцлером реальной и явно согласованной, стройной зависимости всех министров и министерств. При ней, без всякого сомнения, сбудет и добрая половина письменного производства, начиная от министерств до последних разветвлений администрации, потому что уйдут «пререкания, сношения и согласование действий», занимающие теперь много сил всех «канцелярий»...

Канцлерство непременно приведет к пересмотру всех наших служебных уставов, а без этого, одним усовершенствованием законодательства, нельзя надеяться на оживление самостоятельной народной деятельности, без которой успехи страны немислимы и до энергического возбуждения которой если не первый назначенный Канцлер, то его преемники неизбежно додумаются и так направят администрацию, чтобы она ей всемерно помогла. Без должного подбора лиц, сколько-либо административно-самостоятельных, и без предоставления им права подбирать себе как временных, так и постоянных сотрудников и помощников, мне кажется, тут ничего последовательного и прочного сделать невозможно....

В чрезвычайно сложных административных работах есть два разряда, чрезвычайно важных для центров администрации, т. е., по нашему предположению, для Канцлера и министров. Это, во-первых, составление законодательных предложений, исходящих от

министров и Канцлера и поступающих в законодательные учреждения, и, во-вторых, собрание и издание статистических данных, освещающих текущее положение всех главнейших дел страны. Администраторам так много частных дел, что трудно отдалиться двум указанным предметам, тем более, что они требуют чрезвычайно строгой последовательности и нередко чисто специальных и разносторонних сведений, а без их выполнения — хорошо администрировать невозможно. Для этого пополнения пробела мне кажется необходимым при Канцлере, т. е. для совокупности всех министерств, учредить, во-первых, Канцлерский Совет, а во-вторых, — Главный Статистический Комитет. Оба учреждения, новые по своему существу, вероятно не потребуют много новых средств, потому что Совет может быть образован из совокупности членов советов, состоящих при отдельных министерствах, включая туда Военное и Морское, а Комитет из совокупности Центрального Статистического Комитета Министерства внутренних дел и руководительных частей статистических отделений, состоящих по многим Департаментам и Министерствам. Совокупление разрозненных сил в целостных учреждениях с явными задачами должно, по моему мнению, много улучшить ход большого числа административных дел. При смене Канцлера и министров оба указанные учреждения, сохраняясь в своем составе, образуют реальную связь прошлого с наступающим, что вполне необходимо для сохранения за администрацию влиятельнейшего положения. А так как оба указанные учреждения будут иметь значение лишь помощи Канцлеру и, очевидно, будут осведомлены о том, что администрация делала за последнее время и чем или как в жизни отозвались как законы, так и действия или распоряжения администрации, то Канцлер получит в указанных учреждениях драгоценнейшие указания для правильного направления деятельности всей администрации и может сделаться действительным руководителем скорых улучшений всего народного прогресса...

Ясность самопознания администрации и общего понимания положения вещей много выигрывает, если Главный Статистический Комитет систематически и без замедлений будет публиковать результаты всех многочисленных уже у нас исследований и подсчетов, касающихся местной и общегосударственной жизни, если он будет содействовать улучшению и дополнению таких статистических сведений и в деле передовых общих народных переписей последует и превзойдет С. А. С. Штаты. Для того, чтобы в делах Главного Статистического Комитета было сколь, возможно более точного соответствия с действительностью, не только должно снабдить его надлежащими денежными средствами, но и вверить управление им лицу с научным именем и достаточным жизненным опытом, с

рядом помощников из числа испытанных статистиков и из лиц, стремящихся отдалиться этому делу простой правды и точности...

III. Суд, составляя третью из первичных функций правительства, как повсюду, так и у нас, после введения суда присяжных, возбуждает наименее существенных общих разноречий, и по отношению к нему, отчасти по указанной причине, мне нет надобности долго останавливаться, тем более, что даже такие, в глаза бросающиеся требования судебного свойства, как «непротивление злу», повсюду, сколько я знаю, у нас разбираются исключительно лишь с теоретической стороны, без настояния не немедленном осуществлении. Становится это понятным только тогда, когда вспомнишь, что судить «сплела» и осудить «гуртом» не только действия, но и мнения свойственно такому количеству людей, какого не подыскать для терпеливого обсуждения, а тем паче для одобрения и содействия.

По отношению к правительственному суду разных форм и порядков в моих «Заветных мыслях» более всего выделяются следующие пять пожеланий: 1) судебное ведомство желательно совершенно обособить от остальной администрации, о чем упомянуто уже выше; 2) для всех сословий и состояний, в том числе для крестьян и служащих на коронной службе, принципиально желателен один и тот же суд; 3) для разбора мелких споров или гражданских несогласий, для суда по мелким проступкам и для разбора мелких жалоб на незаконные действия чинов администрации желательно повсеместное распространение и развитие мирового суда; 4) желательно, чтобы в суждениях по преступлениям и проступкам важнейшее место занимали произведенные действия, а не побуждения, слова или речи, а в том числе и печатное слово, карались бы только тогда, когда они содержат личные оскорбления и неосновательные обвинения в действиях, запрещаемых законами, и 5) желательно, чтобы судьи всех степеней были несменяемы лицами и учреждениями, их назначавшими, но могли быть сменяемы или по обвинению в незаконных действиях, или по приговору Сената, члены которого назначались бы Высочайшею Властью из трех на каждое место кандидатов, представляемых Сенатом и баллотированных в нем и в Государственном Совете из числа лиц, предложенных в обоих этих учреждениях. Полагаю, что над мотивами выраженных пожеланий нет надобности особо останавливаться для их выяснения...

Если первичные функции правительства (законодательство, администрация и суд) определяются стремлением оградиться от злых действий своих сограждан и дать перевес (не одно равенство, а перевес) добрым, то вторичные функции правительства (охрана внешняя, заботы о просвещении и содействие экономическому преуспеянию) определяются

существованием зла и добра вне своей страны, во всем человечестве, и его высшим стремлением к преуспеянию или прогрессу. Добрым сыном своей страны быть ныне уже нельзя, имея в виду лишь первичные потребности страны, первичные функции своего правительства, и добрым правительствам уже нельзя ныне не принимать в первейшее внимание того, что совершается вокруг своей страны, потому что никакие стены и никакие таможи или запрещения не могут оградить от напора внешних сил, вооруженных орудиями, не имеющимися в своей стране, будь они в виде ружей, пушек или в виде просвещения и промышленности или учреждений и порядков. Это пути истории, это способы объединения человечества; государства — только станции этого пути, а «благо народное» ныне уже немыслимо помимо общечеловеческого, для которого отдельное лицо в одно и то же время — как это ни покажется неверным националистам, особенно юным — и цель и средство, и все и ничто. Понимая всю трудность ясного, но в то же время и краткого изложения своих мыслей о современных вторичных потребностях своей страны, я все же не уклонюсь от предмета, потому что очень давно почитаю его важнейшим и, зная, что вторичное много зависит от первичного, полагаю, что у нас, при существующих задатках народа, совершенствование вторичного понимается народом живее первичного, его определить скорее и вернее и само по себе для всех нас, для всего «блага народного» влиятельнее и настоятельнее. Да притом и соглашение воззрений разных оттенков в одно единодушное желание даже для крайних партий, в отношении к вторичным функциям правительства, легче достижимо, чем в чем-либо ином, т. е. том первичном, на чем ломались более всего древние царства. Читайте лирическую драму «Два мира», которую покойный друг А.Н. Майков писал для своих современников, и в этих образах много лучше, чем в моих систематических соображениях, вы почувствуете причину гибели латинско-классического мира от недостатка одних первичных правительственных отправлений, соединенных с сильнейшими воинско-охранительными. Разума и рационализма, блестящего прошлого и всякой современной гордости, силы воинской и даже внешнего порядка, соединенного со снисходительной «порядочностью», оказалось и всегда будет оказываться мало для народа, перешедшего известную грань исторического возраста, ту грань, которую Россия перешла в последней половине XIX столетия. Широкое слово «любовь», относясь исключительно к отдельным лицам, становится неясным и даже непонятным, когда речь идет о таких высших правительственных отправлениях, каковы заботы о просвещении юношества и о экономических нуждах среднего жителя страны. Одно устранение препятствий отнюдь тут недостаточно, потому что стремление как к общему просвещению, так и к общему экономическому благоустройству, во-первых, вовсе не определяется одними личными

инстинктами, вызывающими лишь превосходство одних над другими и «контрактное» (взаимообязательное) соглашение, а никак не общий строй дел этого рода; во-вторых, влияние дел этих на «общее благо» становится понятным лишь с той высоты, на которую должны подниматься современные правительства, а в частной жизни скрадывается или даже доводит до желания «опроститься» опять до крестьянства и, в-третьих, отдельные усилия тут ничего сделать не могут. Цель всей этой книги сводится к уразумению того, что современное «благо народное» определяется не столько «правами граждан» (поймите, что я за них, а не против), сколько пониманием значения и усилиями для развития просвещения и промышленности. Единство и все значение правительства, как высшего людского изобретения, не может быть правильно понятым без уразумения того, что у правительства есть вторичные функции. Оттого они выделены мною особо и явно. Латынь до этого еще не додумалась, а «здравому уму» русских людей, думается мне, охватить это легко. Тогда и на труд, и на всякие обязанности, из прав вытекающие, и на «порядок», и на «Contract sociale» получается новая и ясная точка зрения, даже на историю. В том, что названо выше вторичными отправлениями, между Царем и народом, между простым современным крестьянином и сколько-либо сознательным интеллигентом, не зараженным латинскими предрассудками, уже теперь, наверное, есть основное единомыслие, а «благо народное» без него невозможно. Тут и содержится надлежащий исход.

IV. О х р а н а в н е ш н я я состоит из сношений с иностранными правительствами и государственной обороны, морской и сухопутной, и в составе Правительства выражается министерствами: Иностранных дел, Военным и Морским. О министерствах тех у меня нет других «Заветных мыслей», кроме той, что они должны войти в строй всех других министерств, т. е. в тесную общую связь при помощи Канцлера, и подлежать законам, проходящим чрез Государственную Думу и Государственный Совет, хотя бы после специального разбора в Военном Совете и Адмиралтействе, — Совете, которые чрез соответственных министров должны быть в своей зависимости от Канцлера и Совета при нем, предполагаемого мною. Так должно быть по существу и, отчасти, по примерам, и я не считаю надобным вновь доказывать надобность и великую пользу общего административного единства.

Иностранные сношения не состоят только из дипломатического представительства, обставленного нотами, церемониями, разведками и интригами, как бывало прежде и для чего нужно было обладать преимущественно такою совокупностью свойств, которая приписывается «дипломатам» по преимуществу, но ныне сводится главным образом на защиту частных интересов подданных своей державы и на возможно точное определение

общих отношений государств, т. е. договоров, союзов и столкновений, потому что это в сильной мере влияет на «благо народное». Умелую ловкость нашей дипломатии признали всюду, но у нас дома дипломаты имеют мало доброй славы, без сомнения по той причине, что защитой частных интересов своих сограждан, попавших за границу, занимаются очень немного, так сказать, свысока. Понемногу это явно улучшается, и вовсе не думаю над этим останавливаться, потому что мои заветные мысли касаются иностранных сношений исключительно со стороны союзов. Уже и в прошлых столетиях союзы государств сильно влияли на ход истории, а в будущем в союзах и будет суть истории, в идеале же чудится союз всеобщий, подготовку которого составляет Гаагская конференция. Пусть такое мнение составляет свой вид утопии, все же нельзя отрицать, не углубляясь во времени, что Тройственный союз (Германия, Австрия, Италия) и им вызванный Двойственный союз (Россия, Франция) глубоко повлияли в мире за весь конец XIX века, что союзный договор держав в китайских событиях 1900 года и Англо-Японский союз в событиях последней войны определили очень много такого, что едва достигалось ранее теми жесточайшими войнами. Союзы современные именно прежде всего и назначаются для предупреждения войн не только договаривающихся стран между собою, но и с другими странами, по крайней мере для их ограничения. Если еще доныне верен латинский совет: «Желая мира, будь готов к войне», то скоро в Германии и Англии формируется совет: «Хочешь мира — заключай союзы». Тут и логики, как хотите, больше. Великое значение союзов могло начаться и началось действительно с того времени, как мир обойден и вместо appetitов завоевательного свойства явилось сознание опасности личной целостности и нарушения войнами драгоценнейших приобретений, происходящих от взаимных сношений народов всего мира. Союзы современные, всегда сопряженные с уступками и сознательным отказом от излишней гордыни, составляют незаменимый проводник прогресса и приближения к признанию равенства государств, без которого все прочие прорывы к идеалам свободы, равенства и братства чрезвычайно легко ступшеваются, как личные интересы ступшеваются перед общими, социальными и общечеловеческими.

Проникшись высказанными соображениями и убеждениями, невольно должно спросить: какие же союзы возможны и желательны для России в современном положении? Ответ в моих «Заветных мыслях» ясен и не расплывается в общих местах, потому именно, что союз во все стороны невозможен сразу, а действовать надо сразу, неотложно, предвидя и предчувствуя.

Союз с Францией, составляющий зрелый плод миролюбия Императора Александра Александровича, так желателен, понятен и полезен России и Франции, что над ним нет

надобности останавливаться и можно только пожелать его продления — до образования всеобщего союза. Переход к этому концу, реально выразившийся сокращением чрезмерных всеобщих военных расходов, мог бы хоть не наступить, а все же предвидеться, если бы Англия, Германия и С. А. С. Штаты с Россией и Францией, что называется, спелись по главным вопросам времени, отказавшись от каких-либо личных приобретений, а просто в виду благ мира, равенства стран и порядка. Другие или остальные волей иль неволей примкнут, если это сбудется...

Личные мои симпатии к англичанам, определившиеся опытным путем, о котором когда-нибудь предполагаю написать, не увлекают меня до забвения всего того, что препятствует скорому союзу России с Англиею, и хотя я верю в то, что он осуществится в недалеком будущем, но говорить мне желательно не на тему европейских и вообще западных возможных и желательных наших союзов, а о настоятельности теснейшего союза России с Китаем. Для меня все настоящее и все предстоящее, даже все прошлое говорит в пользу такого союза; не знаешь даже, с чего и начать, но так как настоящее виднее, то им воспользуюсь прежде всего.

У мудрых китайцев должно существовать ясное сознание того, что без содействия России Китаю не уцелеть бы в его современном положении, а также и того, что в близком будущем без помощи России или без опоры на союз с нею Китаю многое грозит, в союзе же все это может быть обеспечено в большей мере, чем без него. Но если в предстоящем у Китая есть поводы ожидать пользы от союза с Россиею, то у нас они и подавно есть, и на первом плане стоит пресловутая «желтая опасность». Хотя по миролюбию, тысячелетием воспитанному Китаю, мне кажутся невозможными события, предсказываемые покойным моим другом В. С. Соловьевым в его прекрасном произведении «Три разговора», тем не менее я склоняюсь к тому, что «желтая опасность» временно выплыть может, толкаемая японцами, а выполняемая преимущественно китайцами. А Россия тут первая, и пусть та опасность будет только преходящим взрывом, все же мы первые должны принять всю его силу и чем теснее будет наш союз с Китаем, тем менее вероятности в торжестве японского задора. Со временем и японцы, конечно, угомонятся, но это будет едва ли скоро, а ближайшее время и будет, наверное, самым критическим для Китая, потому что Китай уже волей или неволей просыпается, свою новую подготовку начинает, свое войско организует...

Признаюсь, что согласен с китайцами, думающими, что зло имеет неистребимое и вечное существование, к размножению способно, и полагаю, что вход китайцев в мировой союз поможет господству добра больше, чем «непротивление злу», а миру больше, чем союзы двойственные или тройственные, именно потому, что китайцы многочисленнее,

миролюбивее и морально мудрее всех других народов, а это говорит немало и без слащавости. Союз России с Китаем будет предтечей общего мирного союза уже по той причине, что в нем было бы более трети всех людей и он не мог бы быть иным, как чисто мирным и охранительным, тем более, что у обоих союзников целая бездна настоятельных внутренних потребностей и столько ресурсов, сколько нет ни в одной паре остальных государств, а показывать кулаки оба такие союзники, как Россия с Китаем, и не хотят, и не привыкли.

Говоря о союзах, нельзя не упомянуть о том, что принципиальными нашими союзниками были и останутся южные и западные славяне, но в реальных отношениях охраны и мира союз этот ныне так малозначащ, что над ним, при желании краткости изложения, нельзя особо останавливаться, хотя забывать и не следует.

Как бы люди ни желали век вечный жить в добром согласии и какие бы союзы государства ни заключали, все же впереди, т. е. в близком к нам времени, или точнее — в XX веке войн все же избежать нельзя, и если правительства будут мирить, народы не прекратят воевать и требовать войн. Достаточно читать то, что пишется про отношения армян к татарам и вообще магометанам во многих областях, где эти народности соприкасаются с другими исповеданиями. Нас, очевидно, горсть армян надеется поссорить с магометанами; ведь люди-то деловитые. Внутренние же нелады легко способны превращаться в войны внешние, чему многие примеры дает вся история последних времен. Быть готовым к войне надо и при союзах, самых надежнейших. Нападение нравственно оправдывает охранительные военные действия. Нельзя, однако, отрицать и того, что наступательная война нередко внушается добрыми чувствами, что отлично выставлено в «Трех разговорах» В. Соловьевым. В прошлом, глядя пессимистически, было много войн, выявленных причинами, не находящими надлежащих нравственных оправданий; таковы религиозные войны и все династические, относя к ним, например, и Наполеоновские, и нашу венгерскую кампанию. Высокие, идеальные побуждения, начиная с религиозных, какими часто оправдываются войны с исстари и до сих пор, ничего общего с войной не имеют, потому что так или иначе преследуют всегда общее и положительное добро, а все, чего может достичь война, как суд или поединок, сводится к отрицанию или запрещению, да уступке земель и денег. Глядя с возможно оптимистической точки зрения, прошлые войны даже чисто завоевательно истребительные, вроде отнятия от негров или индейцев их земель европейцами, велись преимущественно ради целей истории — развить на земле условия для возможности наибольшего размножения человечества и обладания соответственными для того средствами. Этим оправдывается преимущественно колониальная политика. Судить тут

будут только будущие судьбы народов, а нам для настоящего времени не следует исходить из чего-либо иного, кроме того, что дано действительностью.

В отношении к самой России нельзя упустить из виду, что ее громадная величина получилась исключительно благодаря стечению обстоятельств, окружавших сравнительно небольшой сознательный союз центральных русских людей. Завоевателей у нас не было ни одного и завоевательных стремлений у нас не было и нет, да и быть, по всему духу народному, не может. Пришлось нам со всех-таки сторон только защищаться, а при защите нередко занимать места, из которых наши теснители сами вытеснялись. Нечего вспоминать тут половцев или татар, а достаточно указать на остзейцев, шведов, кавказцев, киргизов, крымцев и среднеазиатов. Огромные края Малороссии, Грузии и Сибири сами пристали к нам, поняв будущую силу России и невозможность держаться самостоятельно. Литва и Польша за свои многочисленные напоры на нашу страну поплатились покорением и разделом, потому что русский реализм выше и крепче ихних, от латинщины навеянных начал. Войн России пришлось в прошлом вести множество, но большинство их носило характер чисто оборонительный, и мое мнение скажется ясно, если выражу уверенность в том, что, несмотря ни на какие мирные наши усилия, впереди России предстоит еще много оборонительных войн, если Россия не оградится сильнейшим войском в такой мере, чтобы боязно было затевать с нею распрю в надежде отхватить от нее часть ее территории. Что завоевательных войн Россия сама не затеет, в том уверены не только все мы русские, но и все, сколько-либо знающие Россию, которой у себя дома дел кучища, начиная с необходимости продолжать усиленно размножаться; но поползновения на нас самих, на наши земли и народы, на нашу целость и силу с татарами, поляками и Наполеонами не умерли, а развиваются и, при стечении обстоятельств (их-то и должна дипломатия проследить), могут, если мы не будем сильны в военном смысле, дорасти до войны противу нас, подобной натиску Наполеона, и в этом смысле, кроме полного соглашения с Китаем, союз с Англиею — при посредстве Франции — был бы сильным предохранителем. Делить нам с Англией нечего. Поход на Индию — бессмысленный в прошлом — просто нелеп для нас в будущем, а соглашение, особенно при полном открытии Дарданелл, не только возможно, но и очень желательно. Возможно же оно только тогда, когда мы в военном отношении будем готовы вполне, иначе с нами в союз не вступят.

Военная наша оборона, очевидно, была и быть должна преимущественно сухопутною, а морской быть ей следует, по моему мнению, сильною ныне только в Черном море и на берегах Восточного Океана. Что бы кто ни говорил, все же в настоящее, а тем более в предстоящее время перевес нельзя получить одним воспитанием духа воинов, как в былые

времена, и не столько ружья, сколько пушки и мины в этом деле должны занимать одно из первых мест. Это последнее дело мне знакомо близко, и я с полной уверенностью говорю, что начинать заботы об улучшениях в обороне следует с пороха и вообще взрывчатых веществ. Как во всем другом, надо совершенно бросить и тут систему подражаний, и пойти самостоятельно. Теперь дело это стало чисто научным, тут можно и должно идти путем опытов, руководимых теорией, и коли мне при первом приступе к делу удалось уже найти кое-что существенно новое, то я уверен в том, что русские специалисты могут в деле взрывчатых веществ идти сами еще много дальше вперед. А за порохами следом (не наоборот, как делают теперь) должны идти пушки и минные приспособления. Тут все еще надо много и много разрабатывать, и своих сил найдется немало, хоть и не вдруг. Надо при этом, а особенно при заказе пушек и мин свое иметь прежде всего в виду. Спешка, которою обыкновенно оправдываются иностранные заказы, только отговорка, нередко пристрастная и связанная со злыми личными интересами. С этим надо так или сяк покончить, т. е. дать и место, и соответственные вознаграждения русским изобретателям и русским производителям, потому что из-за границы мы все же получаем лишь поскребки, и вполне военное обеспечение возможно только с обзаводством дела всем необходимым. Так, ничего не жалея, надо тотчас же приступить на берегах Тихого океана к своему военному судостроению, к получению своей местной стали, своих пушек, своего каменного угля. Что-либо лишнее, что придется при этом истратить, останется дома, крупные доли выпадут своим же техникам, рабочим, изобретателям и предпринимателям, — а это послужит только к развитию края...

На этом кончу свои заметки по делу обороны, потому что она для «блага народного» дело неизбежное, а быть не может без затраты сил и средств народных, они же, по существу дела, должны служить исходным ресурсом народному труду и развитию благосостояния своей же страны. Так связуются разные стороны дела и необходимость этой связи столько же очевидна, как невозможность основать оборону страны на войске наемном.

V. Н а р о д н о е п р о с в е щ е н и е, понимаемое в обычном смысле, т. е. как обучение юношества тому, что может быть так или иначе полезным в предстоящей жизни, связано с общественною деятельностью повсюду там, где оно вышло из пеленок и стало действительною более или менее широкою общею потребностью. Понятие о свободе со многими своими условностями выясняется, когда представить свободу народного просвещения от какого-либо отношения к правительству, как то было когда-то в оные времена и как это не будет уже никогда, как бы «свобода», понимаемая в нашем условном смысле, ни развивалась. Отношение правительства к народному просвещению вовсе не

составляет чего-либо подобного простой благотворительности, а определяется сперва потребностью иметь в администрации подготовленных служащих, а потом сознанием великого влияния должным образом направленного просвещения на все успехи страны, для службы которым (т. е. «благу народному») правительство и начинает сознавать себя назначенным. Переход от первоначального отношения к последующему у нас только что недавно начался, и этим одним немало выясняются многие стороны всего нашего учебного строя, например, служебные права кончивших определенные курсы, административные экзамены, казенные стипендии, сословные преимущества при приеме и т. п. Тут должно ясно сознавать, что без учебных заведений, приспособленных к административным специальностям, обходиться еще нигде не могут, так как иначе пострадала бы исполнительность, а потому у нас нечего пока и думать о коренном преобразовании таких заведений, каковы, например, военные корпуса и семинарии. Для современного образования, кроме военных и духовных академий, надо даже желать умножения специализированных высших школ, назначаемых для служебных целей, особенно педагогических, потому что служебная карьера учителей и профессоров неказиста, и к ней надо много готовить и много привлекать народу заранее, чтобы можно было из них выбирать лучших...

Отдав в деле народного просвещения все должное такому переходному состоянию, в каком теперь находится Россия, т. е. сохраняя, даже расширяя, специальную подготовку для чисто служебно-административной деятельности, Россия дожила до того состояния, в котором народное просвещение стало необходимым не только для сельских хозяев всех степеней, купцов и промышленников, но и для всех жителей, ничуть не прикосновенных к администрации. Не потому только это нужно, что так это есть у наших соседей, с которыми нам необходимо равняться, если желаем сохраниться, а потому по преимуществу, что нужды, народные во всех его классах явно растут уже просто от умножения числа жителей, а усиленное удовлетворение этих нужд немислимо ныне без приложения истинной образованности. Пусть даже прав гр. Л. Н. Толстой, что все дело в улучшении нравов или морали личной, но ведь эти предметы надо выбирать из многих предлагаемых, а выбор правильным быть не может без должной оценки предлагаемого, так как рядом стоят одни говорящие, что надо бить, другие говорящие, что надо шею — морали ради — подставлять; одни советуют: не учись, так будет лучше, другие: учись — это всего нужнее. Надобен светильник личного просвещения, чтобы разобраться, что черно и что бело. А когда дело-то доходит до хлеба, до необходимости прокормить не одного себя, но и близких, со стариками и детьми включительно, да вспомнится долгая зима, да узнается, что для получения работы, дающей достаточный хлеб, везде уже требуется учебная подготовка, становящаяся

потребною даже при добыче самого хлеба в таком количестве, которое сколько-либо покрывает затрату времен средств и сил, тогда о сколько-либо прочном обеспечении, в огромном большинстве современных положений выступающем, нельзя и помышлять — помимо долгого предварительного обучения. Оно становится прямою хлебною потребностью жизни, способом ее развития и роста. Без правительственной помощи обойтись тут, очевидно, нельзя, и заботы о просвещении составляют честь, даже гордость правительств, потому что выступают свободнейшим образом из-за побуждений «общего блага». Нельзя и думать, что когда совокупный разум народных выборов более или менее заменит волю единоличных правителей, в одном деле народного просвещения, говоря вообще, улучшений существенных не произойдет, тем более, что все возможно, улучшение ли, или ухудшение, и они не могут делаться иначе как медленно, постепеновски. В этом последнем и видна величайшая трудность той правительственной функции, о которой теперь говорится. Зло, введенное в наше народное просвещение покойным графом Д. А. Толстым, сперва вовсе и не могло быть заметным, а та «свобода преподавания», о которой так много трубили тогда приспешники Толстого, давала облик, каким обманывали и обманут еще не раз много, много народа, хотя соблазняла лишь немногих из нас, тогдашних деятелей, огульно и голословно обвинявшихся графом в смешении науки и ученья с политикою. Выдумал и провел граф Д.А. Толстой такие приемы и меры, которыми по его разуму должно было искорениться воображаемое зло. Десятки лет, протекшие с тех пор, приносят теперь плоды, и между ними на первом месте стало именно то, что воображали искоренить, т. е. плачевное смешение науки и обучения с политиканством. Да и как этому следствию было не явиться, когда корнем просвещения стали считать латинское резонерство и аттестаты «зрелости» и «благонадежности». Говорю об этом не для того, чтобы вновь поднимать устаревшее разноречие, а лишь для того, чтобы внушить мысль смотреть на просвещение народа только со стороны передачи юношеству знаний, необходимых и полезных в жизни страны, оставить всякие иные, так сказать, косвенные задачи совершенно в стороне. Внушили юношам, во-первых, понятие о том, что «зрелость» достигается латинскими упражнениями да решением простеньких задач, а во-вторых, что все дело учения сводится к политической благонадежности, вот и стали «зрелые», конечно не все, а все же в массах усматривать и обличать «неблагонадежность» и полагать, что мир на латинской точке отправления застрял. Не окунувшись в жизнь, не узнав еще ничего специального, что к ней приближает, не искусившись при помощи опыта в оценке достоинства идей, воспитанное по гр. Д.А. Толстому юношество в сущности стало говорить: «Не хочу учиться, а хочу политиканить», как говорило когда-то: «Не хочу учиться, а хочу жениться». Поправка (но

она может быть в деле просвещения не иною, как медленною) тут, по мне, одна: в деле народного просвещения иметь в виду исключительно только одно просвещение юношества, т. е. сообщение ему добытых наукою (изучением или сочетанием разума с опытом) приемов или способов и выводов или истин, могущих облегчить пути жизни. Нравственность придет сама собою, если наука поставится выше всего и для этого учителя будут подбираться не по «благонадежности», а исключительно по научному цензу, потому что между истинною наукою и моралью, как между истинною наукою и жизнью, есть связь живая и крепчайшая. А узнать науку истинную, т. е. отличить ее от лживых наук, или — так как собирательно лживых наук не может быть надолго — от ложных учений, могут только действительно люди современной действительной науки, какие, благодаря тому, что система гр. Д.А. Толстого действует сравнительно недолго, все же есть в России, а если почему-либо их и не станет, то таких, как Лейбницы, Эйлеры и Палласы, можно «на время» пригласить и из других стран, все же будет лучше, чем отдать все дело в руки канцелярий или газет. Пусть главный администратор или министр народного просвещения будет и не из ученых, ему и книги в руки, но его суждения относительно научности или ненаучности должны быть целиком основаны на приговоре научных советников — иначе опять легко попасть мимо, как это блистательно доказал дилетант от науки гр. Д.А. Толстой.

Сколь возможно полнейшая автономия не только может, но и должна вести все дела народного просвещения к благим для народа результатам лишь при условии, как сверху, так и снизу, не подмешивать к чистой науке ни внешней, ни внутренней политики. Науки с жизнью связаны очень тесно на все предбудущие времена. Пусть это относится к самой науке, да к учению-то у политиканства нет отношений, а тем паче к учащимся. Политика — дело текущей жизни, и в ней могут иметь голос только выдержавшие ценз действительной жизненной зрелости. Ну, пусть их, если есть на то охота, политиканствуют профессора на стороне от учебного дела, но к учебному-то делу, к автономии его, касательства никакого нет; ученикам же просто грех политиканствовать, потому что надо сперва поучиться, да жизни попробовать. Путаница здесь и вредит, и с толку сбивает.

VI. П р о м ы ш л е н н о с т ь в истинном или широком смысле слова занимает все более и более народы, вышедшие из первобытных состояний, в которых все немногое необходимое люди стараются добыть и произвести сами или около себя, в домашнем обиходе, подобно тому, например, как обыкновенно у нас варят дома варенье из собранных в своем саду ягод. Мало-помалу и Россия, особенно же быстро после освобождения крестьян, входит в тот разряд стран, в котором промышленные отношения становятся на первом месте и во главу «блага народного», начиная с торговли, с добычи хлеба не для себя только, а для

продажи, с перевозки, с горного дела и всяких ремесленных и фабрично-заводских дел. Но как мы далеки еще от среднего уровня тех стран, с которыми хотим и наверное можем равняться, становится видным уже из того, что вся сумма ценности нашего фабрично-заводского производства едва ли превосходит в год 3 миллиарда руб., что дает на жителя в среднем менее чем по 25 р. в год, а в С. А. С. Штатах те производства дают товаров более чем на 25 миллиардов, руб., что отвечает в среднем на жителя более чем по 330 рублей. Если счесть цену всех хлебов, вырастающих у нас в год, всех ископаемых, ежегодно добываемых, и всех фабрично-заводских продуктов, то по разделении на число жителей придется на каждого около 40 руб., а в С. А. С. Штатах около 450 руб. До заработков испанских или итальянских, потом до немецких, французских и английских, а тем паче до американских нам очень далеко — по цифрам, а не по времени, которое можно сильно сократить при согласном и решительно-благоразумном действии не только правительства, но и нас всех, всех от политиканов и газетчиков до учеников и ученых, даже до литераторов и аристократов. Возможность народу быстро богатеть природой нашей нам дана, только в обиходе нашем не имеется по сих пор основных условий, для того необходимых, более же всего самостоятельного трудолюбия, решительной предприимчивости и ясного понимания современного положения экономических обстоятельств, допускающих быстрое увеличение общего среднего достатка. Раньше, чем идти дальше, нельзя оставить без объяснения три указанных условия.

Даже допустив, что из 140 милл. жителей России 100 милл. живут земледелием и промыслами, с ним связанными (охотою, перевозкою по грунтовым дорогам и т. п.), все же не следует из этого выводить, как то обыкновенно делается, что для обеспеченности увеличения общего достатка народного необходимо должно иметь в виду исключительно земледельческую деятельность России, тем более, что и земель-то много, и урожай-то можно и должно увеличить. С двумя последними утверждениями согласен вполне, но не с исключительностью, даже смягченною до преимущественности, нисколько не согласен и даже утверждаю, что тут кроется великое заблуждение или печальное отсутствие ясного понимания современности. У нас, при наших нравах, несмотря на полную для всех очевидность утверждаемого, все же необходимо назвать обвиняемых, потому что на всякое общественное явление мы привыкли смотреть как на особый вид судьбища, при котором обвиняемые должны быть налицо, а мы-де присяжные судьи. Хоть мой взгляд совершенно иной, судьи или прокурора из себя я изобразить и не думаю, но покорюсь и выставлю требуемых виновных, только не поименно — места для того не достанет, — а нарицательно: это большинство помещиков и литераторов. Первые хоть за свое стоят, а свое добро

защищать ведь, неправда ли, законно и разумно. Вторые же либо пропитаны началами первых, из которых и вышли, либо живут еще когда-то передовыми началами XVIII века, либо относятся к числу ретуширующих фотографов, т. е. пишут с неприглядной натуры, только стараясь быть ей верными, не зная никаких задач повыше простой точности типического образа, в который и не желают вкладывать предвидения, столь возвышающего образ Дон-Кихота. Этих главных виновных я ничуть не хочу осудить, потому что они плод нашей истории, наша общая плоть и кровь. Хочу только сказать, что они не понимали и доныне не понимают того начально служебного и зависимого положения, которое занимает все земледельческое и сельскохозяйственное в кругу тех многочисленных промышленных дел современности, на которых основывается предстоящее, даже нынешнее среднее народное богатство, определяющее не только возможность успешно обороняться и прочно просвещаться, но и обзавестись хорошими законодателями, администраторами и судьями, так как на все это надо уделять много средств, а у бедняков все это поневоле бедновато. Они не понимают того, что на одном росте земледелия невозможно богатеть такому многолюдству, каково наше, потому что, вообразив все возможное достигнутым, получим такой избыток хлеба, что его цены, а потому и общие достатки, упадут до полного отчаяния тех, кто над ними трудится. Они не понимают и того, что сельское хозяйство, совершенствуясь во всех своих частях, начиная с механических молотилок, требует все меньших рук, а в наших широтах, даже при полном и желанном развитии скотоводства, не может ни под каким видом дать достаточные заработки в зимнее время, а достатки могут расти не иначе, как с умножением общего количества труда. Вся предлагаемая книга для того, между прочим, и писана, чтобы увеличить существующую у нас меру понимания условий для возможности увеличения средних народных достатков и для показания того, что на одном сельском хозяйстве, даже при его преобладании, этого желаемого и необходимейшего увеличения среднего народного достатка достичь невозможно.

Конечно, от недостатка в понимании зависит и недостаток промышленной предприимчивости, несомненно у нас существующей. Да, надо немало решимости, чтобы затеять у нас какое-либо промышленное предприятие, чтобы принять в нем участие, даже чтоб ясно встать за него, потому что прикосновение к промышленности обозвано «кулачеством» и «эксплуатацией» и ничему кроме огульного осуждения в разговорах интеллигентных кругов и в печатном слове, взятом в преобладающем большинстве, не подвергается. Оттого наибольшая предприимчивость, помимо завещанной от родителей, является у нас преимущественно в кругах, удаленных от начал нашей, преимущественно помещицкой, интеллигенции, а ее участники такими делами заниматься ничуть не охочи.

Тут, без сомнения, немало пережитков того отношения, которое законы и особенно администрация приняли у нас в распределении занятий жителей, глядя на все виды промышленности совершенно иначе, чем на сельское хозяйство, а тем паче на службу в правительственных учреждениях. В Гоголевском «Ревизоре» это оттенено словами «аршинники, протоканалы». Закон для промышленников образовал сословие купцов и мешан, а права их мало чем отличил от крестьянских, много умалив по сравнению с дворянством, по существу служилым. Для этого последнего о какой-либо, кроме сельскохозяйственной, промышленной предприимчивости не могло быть и мысли, потому что в ней порода ничего не давала и не даст, а нельзя же было не использовать того, что предоставляется законом. Отсюда ведет свое начало общее стремление занять служебное положение, предоставлявшее прежде всего обеспеченность, без каких-либо задатков предприимчивости, без следа внутреннего стремления к способам увеличения народного благосостояния, а только с требованиями личными — без каких-либо обязанностей, кроме «страха и совести», даже до забвения прямых общегосударственных интересов, «страха и совести» ничуть не касающихся.

Прежде всего необходимо переменить и сделать всему свету очевидным угол зрения правительства на все дела промышленные, а то они очень у нас оказаны, как видно даже из того, что сельское хозяйство и горная промышленность соединились с государственными имуществами, а другие виды промышленности и торговля — с финансами. И в этом не простая случайность, а своя историческая последовательность ясно сказывается, потому что не очень давно добыча металлов была государевою регалией, подобной чеканке монеты, а на промышленность и торговлю смотрели в правительственных сферах исключительно, как на объекты обложения. Взгляды и отношения давно изменились, но пока промышленность не будет совершенно объединена и обособлена в одном или нескольких особых правительственных учреждениях, устарелое отношение нет-нет, да и скажется, а народу все будет казаться, что правительство относится к интересам промышленности не иначе, как к интересам казначейства... Мне кажется, что сосредоточив дела всех видов промышленности в одном министерстве и назвав его «Министерством содействия народной промышленности», выкинули бы такой новый и яркий флаг, что много сердец повеселело бы. Сокращая, можно оставить — Министерство содействия промышленности или Министерство народной промышленности: все же будет думаться, что тут свежим веет, не новыми поборами, а новою подмогою. Мне кажется притом, что не следует выделять в особое министерство содействие земледелию и вообще сельскому хозяйству, чтобы народу стало наконец ясным, что нет у земледелия никаких резких отличий от иных видов

промышленности, что все они теперь одинаково нужные кормильцы народные, что все они заботу царскую и общенародную составляют...

Но невольно спросишь, да откуда же взять на все это средств? Ведь они необходимы не только для организации учреждения, содействующего промышленности, с ветвями по всей Матушке России, но и для реального содействия частной промышленной инициативе, особенно кооперативной, какую я со своей стороны считаю наиболее у нас, по примеру артелей, обещающей содействовать «общему благу». Мне, как кому угодно, кажется ясным, что за этим, т. е. за добычею средств для быстрого промышленного роста России, остановки не может быть, даже помимо миллиардного народного вклада в сберегательных кассах, собравшегося в последний десяток лет.

Тут-то, в отыскании средств на промышленность, более всего и необходимо правительственное предвидение, о котором упоминал ранее. Читайте цифры — увидите сами, что предвидеть легко оплату промышленных затрат самою же промышленностью. В 1890–1900 гг. в С. А. С. Штатах израсходовано (без погашений) почти 16 миллиардов рублей основного капитала на передельные (фабрично-заводско-ремесленные) промыслы, а в год на них получено товаров более чем на 21 1/2 миллиард рублей. Оплатить процент интереса и погашение основных затрат, очевидно, есть из чего. Не многоглаголя, прямо должно видеть, что промышленность сама себя содержит и содержать будет тем легче, чем больше станет кооперативною, на складчине, на союзе, на артельном начале основанною. На промышленные дела России какой угодно заем правительство сделать может и, если распорядится умненько, может быть даже и в «казенном интересе» выгодно, если не сию минуту, то уж очень скоро, поскорее, например, чем при займах на железные дороги. Избегнется тогда и прямое участие «иностранных капиталов», которые уже вовсе и не так страшны, как их малюют, благодаря тому отношению к промышленности, которое у нас еще, увы, господствует, но свой век почти отживает и тотчас помрет, коли выкинется знамя «Министерства содействия народной промышленности». Да и целого миллиарда рублей занимать за границей тут незачем, довольно, пожалуй, будет и половины; «сама пойдет», коли дружно за лямки возьмутся. Это потому, что сам народ даст на это дело средства, коли увидит его деятельность, так как ссудные свидетельства — под залоги, конечно, и только отчасти — по доверию — особого «эмиссионного», чисто промышленного банка, для того назначенного, будет покупать, как покупались выкупные свидетельства, понимая, что «промышленные свидетельства» мало чем уступят обычным закладным листам. А коли проценты по «промышленным свидетельствам» будут чуть-чуть повыше обычных, да с их дивидендов не будет 5% казенного сбора, да коли начинающим промышленное обзаводство,

особенно же кооперативное, даны будут, ввиду передового их значения для возвышения среднего народного достатка, особые льготы, сбавки и отсрочки, то дело пойдет, должно полагать, ходко. Только при всем этом понимать надо под промышленностью не одни чисто капиталистические фабрично-заводские дела, но и всю торговлю, весь близкий к земле труд, всю кустарную мелочь, всю народную изобретательную предприимчивость. Начинать надо не только устройством правительственного содействия всякого рода, но и переделкою многих законов, особенно относящихся к открытию фабрик и заводов явочным порядком, к фабрично-заводской инспекции, к продаже казенных земель и заводов и ко многому иному, явно сюда соприкасающемуся. Незачем мне все это вступно и перечислять, если Государственная Дума, Канцлер и новый министр народной промышленности проникнутся желанием и волею поднять «народное благо» при помощи не только духовного подъема народного, но и чисто материального, в промышленности взятой в целом выражающегося. Тогда нельзя будет обойтись без роста многих видов свободы, хотя легко можно обойтись без забастовок и всяких обычных видов уличного политиканства. Свобода для труда (а не от труда) составляет великое благо. Для тех, кто труда и долга не ставит на должную высоту, кто их обязательность мало понимает и не высоко ценит, для тех свобода рановата и только лодырничество увеличит. Россия, взятая в целом, думается мне, доросла до требования свободы, но не иной, как соединенной с трудом и выполнением долга. Виды и формы свободы узаконить легко прямо статьями, а надо еще немало поработать мозгами в Государственной Думе, чтобы законами поощрить труд и вызвать порывы долга перед Родиной...

Вот они, две первейшие надобности России: 1) поправить, хоть довести бы сперва до бывшего еще перед Д.А. Толстым, т. е. лет 25-ть сему назад, состояния, просвещение русского юношества, а потом идти все вперед, помня, что без своей передовой деятельной науки своего ничего не будет и что в ней беззаветный, любовный корень трудолюбия, так как в науке-то без великих трудов сделать ровно ничего нельзя, и 2) содействовать всякими способами, начиная от займов, быстрому росту всей нашей промышленности до торгово-мореходной включительно, чтобы рос средний достаток жителей, потому что промышленность не только накормит, но и даст разжиться трудолюбцам всех разрядов и классов, а лодырей принизит до того, что самим им будет гадко лодырничать, приучит к порядку во всем, даст богатство народу и новые силы государству. Во всем ином еще кое-как подождать можно, хотя сам-то я более не за поджидание, а только за постепеновство, но тут ни минуты ждать нельзя, потому что оба те дела скоропалительно, указом да приказом, сделать нельзя, хотя без них начаться и они не могут. В этой неизбежной медленности двух

указанных важнейших дел — латинцам совершенно неведомых еще — причина появления постепенщины, за которую я следую. Не в личном характере тут дело, а в существе, в том понимании природы, которое самое поднятие гор и самые вулканы стремится объяснять медленно текущим и непреборимым накоплением маленьких на первый взгляд влияний. По мне, было время пользы и от революционных передряг, пока просвещение и промышленность не стали в числе верховных правительственных отношений, пока греко-латинщина служила знаменем «возрождения», пока судом да войнами ограничивались высшие задачи правительств. А теперь, когда просвещение и промышленность стали во главу правительственных функций, когда даже военные успехи и поражения связываются с развитием просвещения и промышленности, а они составляют дела, совершенно чуждые очень быстрого течения или скачков (каковы, например, сражения в деле военном, приговоры суда и т. п.), теперь роль и значение революций прошли и одно постепенство будет брать верх. Мне думается, что так было и с землей; сперва действовал сильнейшим образом революционный вулканизм, а потом постепенно стали брать верх эволюционные силы, воде свойственные, и внутренние перемены в сложении горных пород, а в сущности только медленно действующие. Конечно, и поныне вулканизм дает о себе знать, что не пропал, но общая сумма перемен, от него происходящих, ничтожно мала сравнительно с тем, что делают постепенские силы природа. Так, по мне, есть, но сравнительно-мала уже ныне роль всяких революционных передряг, будут ли они в виде приказов и указов или в форме революций и пронунциаментов, а главные перемены все с постепенско-эволюционным характером, а между ними просвещение и промышленность стоят ныне на первом месте. Признавая, что свобода, в ее основах, много приобрела от революций, утверждаю, что только развитие просвещения и промышленности ее развило, развивает и развивать будет, от тирании предохранит, незыблемо поставит и права с обязанностями уравновесит. Согласен, что в этом моем определении течения «новейшей истории» есть своего рода предвзятость, идеализм, пожалуй даже утопизм, что судьбы истории человечества еще темнее судеб земных форм, еще не охвачены разумом, а потому гадать далеко вперед и вообще рискованно. Но по отношению к России, да в настоящем ее положении, сама очевидность действительности говорит за то, что состояние просвещения и промышленности определяют и ближайшее и отдаленное ее будущее, требуют первого общенародного и правительственного внимания, составляют настоятельнейшие надобности. Государственная Дума с них должна начинать и только тогда она покажет разум народа, его голос выразит...

3. Необходимость вооруженных сил

Как отдельного человека нельзя понимать, не зная его окружающих и их взаимные отношения, так и народы или страны могут быть сколько-либо полно понимаемы только в связи их с другими странами и народами, а потому познание России требует данных, относящихся не только к ней самой, но и к другим странам. А так как Россия громадна и по пространству и по числу жителей, то даже для первичной полноты ее познания надо хоть в общих чертах ознакомиться с данными для всего света... Явно возрастающая «не по дням, а по часам» связь или зависимость людей всех частей света друг от друга очевидно происходит вовсе не от одной пытливости немногих, не от совокупности индивидуальных стремлений к обеспечению одной собственной своей жизни и уже никак не от влияния или величия отдельных лиц, подобных древним завоевателям — до Наполеона включительно, даже не от того, что ставится в главу жизни людей рационалистическим учением об «историческом материализме», а от той общей причины, которая определяет самое существование всяких живых существ или организмов, и начиная от низших одноклеточных животного-растительных до наивысших, и состоит в зарождении и размножении. Становясь на точку зрения «исторического материализма», можно еще понимать (хотя и поверхностно) прямо физические потребности, подобные питанию, но органическая или физиологическая потребность размножения в потомстве совершенно несвойственна самому веществу (материи), а потому обыкновенно и ускользает от внимания тех, которым — по самообману — кажется все ясным и понятным... Всегда признается, что прошлая жизнь народа или его история влияет неизбежно, хотя бы многие того и не желали, но полнота понимания получится лишь тогда, когда признают сверх того влияние судеб потомства и когда современность поймется как переход между прошлым и будущим...

Немало есть отдельных людей и даже на вид очень стройных социальных учений, упускающих из виду, что человеку, как организму, свойственно размножаться и что, помимо иных целей, у отдельных особей и всяких их совокупностей есть несомненно прирожденная цель продолжаться в умножающемся потомстве. Без этой цели ни к чему бы не служили не только государства, но и самые науки и религии, «богатство и порядок». Личное материальное благополучие (эгоизм), считаемое индивидуалистами и происходящими от них последователями учения об «историческом материализме» первичным и единственным стимулом всех людских действий, не определяет размножения, даже, пожалуй (с мальтузианцами), его задерживает, а оно идет неудержимо, ограничиваясь лишь совокупностью окружающих внешних условий и помышлениями, хотя бы и бессознательными (тогда — побуждениями), о судьбе потомства, так как — что бы кто ни

говорил — даже тигр-отец и тигрица-мать скорее погибнут сами, чем допустят очевидную гибель своих детенышей, а людская любовь к детям, не только своим, но и своих близких, видна даже слепым, и противу нее не смеют идти никакие утописты, включая в их число не только аскетирующих монахов, но и социалистов, анархистов и коммунистов.

Полагаю, что для познания России основные статистические сведения о странах всего света получат наибольшее значение, если первоначально сопоставить Россию лишь с наиболее важными мировыми государствами, а потом с совокупностью данных для всего света. Такой прием вынуждается еще тем, что не только Россия расположена в двух частях света, но и многие государства имеют часто владения, друг от друга удаленные, а обзор для всего света естественнее всего расположить по географическим странам света, причем нередко разъединяются части одного целого государства. Скопление под некоторыми державами большого числа подданных и значительной поверхности земель составляет современное явление, имеющее очень разнообразные исторические корни в прошлом и виды в будущем, но во всяком случае ни в чем не отвечающее ни интернационализму, ни социализму, ни анархизму или коммунизму, в большей или меньшей мере враждебным патриотизму или объединению людей не только для ограждения своих близких от посторонних посягательств, но и для достижения общих целей, определяемых как борьбой со злом, всюду и всегда существующим, так и сходством положений и единообразием убеждений, языка и верований, т. е. недоказуемых исходных начал жизни или идеалов. Сложение и силы, сдерживающие такие огромные мировые единицы, каковы Россия, Китай и Соединенные Штаты, конечно, не совершенно одинаковы, но все же между собою близки...

Как бы то ни было, наше переходное время отличается от сравнительно недавнего прошлого времени, даже каких-нибудь лет за 300 тому назад, тем, что прежде преобладали мелкие державы, а ныне как по числу жителей, так и по поверхности занятой суши сильно преобладают прочные, неединичные, но очень немногочисленные крупные, или «мировые», державы, пред которыми временно когда-то существовавшие единичные завоевательные империи, хотя бы Рим или Татарско-монгольские, оказываются не только скоропреходящими, но и меньшими по числу жителей и даже по занятому пространству. Нельзя думать, что дело клонится к образованию единой общей всемирной империи (или республики), а я думаю, что оно идет к почти полному уничтожению мелких держав, или к слиянию их равно как и крупных держав, в особые виды Соединенных Штатов, в которых могли бы достигаться как общенародные интересы (мир внешний, порядок внутренний, свобода торговли и единообразие многих условных потребностей, например денежное и т. п.), так и отдельных стран и народов. Не входя, однако, в суждение ни о прошлом, ни о

будущем, должно ясно видеть, что в наше время шесть крупнейших государств мира, а именно: Россия, Германия, Франция, Англия, С. Амер. Соед. Штаты и Китай, — уже соединили в своих руках более двух третей всех жителей земли и всей населенной суши, как это далее показано в подробном перечислении. Очевидно, что дальнейшая судьба людей прежде или ближе всего определяется этими мировыми державами, внутренними их событиями, взаимными соотношениями и влиянием на отдельные более мелкие государства. Здесь уместно коснуться того очень распространенного представления, по которому многим кажется, что Япония должна занять в Азии и на Тихом океане такую же роль, какая выполнена в Европе Англией, находящеюся на Атлантическом океане...

Не подлежит никакому сомнению, что русский народ, взятый в целом, принадлежит к числу мирнейших и его лучше всего уподобляет сказка сонливому, доброму молодцу из такого-то села, больше всего думающего о своей пашне, умеющего выносить «страду», но не умеющего заставлять ее делать для себя других. Вся наша история это показывает; три четверти наших войн были защитными от половцев, от татар, от тевтонских рыцарей, поляков и шведов да турок, от набегов черкесских, киргизских и хивинских, да от посягательств западных европейцев, и если мы после этих войн часто расширялись, то лишь для того, чтобы оберегать себя от дальнейших покушений на наши земли; лишь маленькая часть русских войн, вроде Суворовской в Италии и венгерской, приходится на долю преследования целей внешней политики, а затем остальная часть русских войн велась для освобождения славянских наших братьев. Тот путь, которым Россия расширилась до громадной современной величины, особенно в Азии, определился больше всего тем, что почти без войн делали казаки, присоединяя к Русской Державе земли маленьких народов, затем охотно сливавшихся с Россией, так как через это слияние их выгоды были, очевидно, большими, чем для покоряющей России. Как бы там ни было, с Ледовитыми тундрами у нас скопилось двадцать два миллиона квадратных километров земли. А так как в квадратном километре сто гектаров (один гектар равен 0,915 десятины, то есть немногим только меньше десятины), то на сто сорок миллионов русских подданных приходится около 2200 миллионов гектаров, т. е. примерно по шестнадцати гектаров (точнее — по 15,7 гектара) на душу в среднем, хотя есть русские губернии, напр., в числе польских, где на человека в среднем приходится лишь около десятины, и есть края совершенно пустынные, вроде северных сибирских тундр.

Если дело идет о густоте населения, то оно, конечно, может касаться только крупных единиц, подобных целой России, потому что внутреннее распределение жителей по поверхности государства составляет уже дело местных порядков, не имеющих ничего

общего с государствами, странами и народами. В этом отношении положение России чрезвычайно поучительно, потому что в ней оказывается вдвое свободнее, чем во всем остальном мире взятом в целом, не говоря уже о том, что рядом с нами, напр., в Германии, приходится лишь один гектар на жителя...

Если мы теперь обратим внимание на то, что главные черты истории определяются стремлением народов заполучить себе землю, что за последний век выразилось преимущественно в колониальной политике, то станет донельзя очевидно, хотя бы мы приняли во внимание и громадность наших бесплодных тундр, что наша земля представляет великий соблазн для большинства окружающих нас народов, т. е. что нам помимо всяких соображений должно быть готовыми к отпору против appetitов, естественно свойственных всем людям. Конечно, мы размножаемся за последнее время с такою быстротою, какой, наверное, нет у наших соседей, т. е. можем быстрее их увеличивать численность своего народонаселения, и не подлежит сомнению, что многие из северных наших земель не составляют лакомого куска ни для кого, но все же нам нельзя по чувству самосохранения не принимать в большое внимание указанных выше соображений. Это значит, что мы должны быть еще долго народом, готовым каждую минуту к войне, хотя бы мы сами этого не хотели и хотя наши Императоры Александр III и благополучно царствующий Государь явно и торжественно выразили русское миролюбие своей инициативой. Хотя мне как русскому, выросшему в Сибири, где на чудо всему миру совсем не было сколько-нибудь заметных войн, чрезвычайно симпатично стремление ко всеобщему миру, о котором молится каждый день церковь, но я совершенно ясно понимаю, почему русский народ без большого доверия относится ко всяким миролюбивым тенденциям; ему в том чудится несогласие с реальной действительностью, грозящею именно нам больше, чем кому-нибудь на свете, бедствиями военного быта. Поэтому-то Японская вспышка на Дальнем Востоке не удивила русских, а, так сказать, заставила их очнуться от призраков возможности долгого мира и повторять, что мы ничего другого и впереди не видим, как войны да войны. Тут, по моему мнению, находится одна из причин, объясняющих ту пылкость, с которой все рванулись к представившейся войне. Как народ очень реальный, русские не могут долго жить самообманом и в своем Царе прежде всего видят своего Державного Предводителя русских войск, защищающих простор земли, нужный для скорого умножения русского народонаселения. Сколько бы нам ни твердили извне и сколько бы раз сами мы не чувствовали, что будущность наша много зависит от качества внутреннего строя жизни, но живой, чисто реальный инстинкт подсказывает нам при этом всегда, что важнее всего оборона страны и организация ее военных сил. Японская война случилась именно в то время,

когда ребром становились в уме русском вопросы этого рода и здоровое народное, русское решение нашло свой исход по случаю дерзкой войны, объявленной Японией.

Как ни покладист русский человек, как он ни хочет мирно жить со всеми народами, как ни широки открытые его объятия, все же у него к одним народам исторически сложилось более дружественное отношение, чем другим, в особенности к тем, которые его дразнят. Для русского человека совершенно безразлична китайская кичливость, прозывавшая все народы варварами, потому что в этой кичливости мы участвуем рядом со всеми прочими не китайскими народами, и наше добродушие никогда не оставляло нас в сношении с китайцами, мы даже не раз им помогли в критических положениях, напр., в 1859 и в 1895 годах, при внешних опасностях и при Тайпингском восстании, при внутренней опасности. Едва ли какой другой народ в мире отдает столько справедливости, как мы китайцам. Ведь они сумели сохранить семейственную благодушность и миролюбивое следование за своими мудрецами при всех исторических передрягах, с ними бывших...

По моему посильному мнению, китайцы современные в существе своем смирный, земледельчески трудолюбивый, торговый, промышленный и во всех отношениях весьма способный народ, только лишенный организационной способности и мало склонный к воинским приключениям. Мне кажется затем, что сами они при всем избытке народонаселения, если куда и пойдут, то не к нам в холодные страны...

Чтобы быть понятным — по существу — прежде всего мне следует сказать, что со своей стороны я понимаю совершенную необходимость в гражданской жизни как мер решительно резких, так и осторожно-постепенных, или иначе — как революционных, так и эволюционных действий, как со стороны власти, так и со стороны общей кассы, но эволюционным влияниям придаю гораздо большее значение, чем революционным. Чтобы показать для людей, не освоившихся с тем языком, которым я заговорил, необходимость и смысл действий революционных, мне кажется, достаточно сказать, что освобождение крестьян я причисляю именно к таким действиям, а польза от освобождения крестьян бесспорно громадна. Что же касается до эволюционных действий, то для выяснения их смысла достаточно сказать, что в 60-х годах, когда самое слово «эволюция» еще не было в ходу, в частном разговоре (то было в Париже, в Cafe de la Regence) со Знаменитым уже тогда И.С. Тургеневым я развивал мысль о наибольшем значении ясно осознанных и разумных, но не резких и быстрых, не крупных по виду, но влиятельных мер и преобразований; а мой знаменитый собеседник сказал: «Так вы, значит, постепеновец, и я тоже стал им, хотя был прежде иным». Мне очень памятно это слово «постепеновец», и я думаю, что оно, лучше, чем эволюционист, выражает сущность того образа мышления, которого, вместе со многими

другими, я придерживаюсь, потому именно, что в самом понятии о постепенности видны разумность, воля и неспешливое достижение цели, тогда как эволюция говорит только об изменении и последовательности. Был и остаюсь «постепеновцем», хотя и не думаю, что всегда надо держаться пословицы: «Тише едешь — дальше будешь».

Затем самое главное и важнейшее, на мой взгляд, решить, победил ли или нет, или же побогател русский народ в целом своем составе за время последних двадцати трех лет, то есть во время, протекшее с кончины Императора Александра II? Суждение мое о том, что русский народ за это время в целом много побогател (как вообще, так и на одного, т. е. в среднем), основано на ряде всяческих статистических данных, начиная с чисел о миллиарде мелких народных сбережений, вложенных в сберегательные (сохранные) кассы, о числе выпущенных акций и облигаций, о запасах золота в кладовых государственного банка, о величине торговых оборотов, о количестве грузов, движущихся по железным дорогам и водяным путям, о ценности земель и услуг и т. п.

Все это выразимо цифрами, но не привожу их, потому что считаю достаточно известными всем, только недостаточно принимаемыми во внимание. Откуда же, спрашивается, и в частных разговорах, и в газетно-журнальных статьях столь часто, явно или в темных намеках, происходит утверждение, будто народ наш явно начал беднеть? По мне — отнюдь не от пустого верхоглядства или недовольства и тем паче не от одного злостного недоброжелательства, как утверждают зачастую наши ярые охранители, а просто от того, что внутренне-политически народ наш еще малозрел и привык все главные улучшения своего быта видеть совершающимися сразу, мановением руки, как было ярче всего при Царях московских, при Петре Великом и впоследствии — в деяниях Александра II-го, все же то, что сделалось в последнее двадцатилетие, происходило понемногу, путем не тем скорым, который выше был назван революционным, а постепенно, не вдруг, способами эволюции, без резкой ломки старого, созидавая лишь новое на основании данного. Особенно это касается до всего промышленно-торгового и денежного. Дела эти никак и не могут иметь шумного революционного характера, то есть течь быстро, а могут происходить только понемногу, без важных переворотов, постепенно...

Каждый русский, начиная от Царя, судя по его манифестам, знает, что у нас еще многое не в должном порядке, что во многих наших внутренних делах настоятельно нужны прогрессивные, то есть улучшающие реформы, но большинство верит в то, что придут они ныне — лишь медленно, что они могут прийти в свое время и сразу или быстро, а что такое время у нас чаще всего тесно связывается с нашими внешними войнами. Здравый русский ум, весь характер народа и вся его история показали ему, что войны для нас составляют

своего рода революционную передрагу, освежавшую весь воздух страны и дух ее правителей, а за войнами следуют почти всегда новые внутренние успехи и преобразования. Эти последние по русскому упованию неизбежно последуют с концом современной японской войны, потому уже, что она, надеюсь, открыла всем глаза на необходимость быть нам готовыми к еще многим войнам в недалеком будущем, а готовым можно быть ныне только внутренне благоустроенному государству, с обеспеченными условиями роста всего общего благосостояния. Необходимость же недалеко — предстоящего напора на нас с разных сторон видна — по мне — уже из того, что у нас на каждого жителя, как показано выше, приходится в два раза более земли, чем для всего остального человечества (с лишком 15,7 гектаров на душу в России и 7,7 в остальном мире), если же принять во внимание лишь наших непосредственных соседей, то еще в большей пропорции...

В общем же целом у нас раза в четыре свободнее, чем у совокупности всех наших соседей. Войны же (как и переселения) ведут прежде всего из-за обладания землею, то есть чаще всего сообразно с теснотой населения. Так ветер идет из мест большого давления в места с меньшим давлением. У Японии тесноты больше, чем у всех наших соседей. Она и начала. На нас пока еще мало напирают, потому что есть Южная Америка, Австралия и главное — Африка со своими пустынями и редким, которого европейцы не боятся ни теперь, ни впредь, черным населением... Поэтому-то нам загодя надо, во-первых, устраивать так свои недостатки и все внутренние порядки, всю частную свою жизнь, чтобы размножаться быстрее своих соседей и всего человечества, что мы теперь, т. е. в последние десятилетия, с успехом и выполняли (см. там же), а во-вторых, нам необходимо помимо всего быть начеку, не расплываться в миролюбии, быть готовыми встретить внешней напор, то есть быть страной, быстро возвышающею свои недостатки всемерно (как земледельцы, как промышленники и как торговцы), пользующеюся богатствами и условиями своей земли, блюдущею внутренний свой порядок и внешний мир, и в то же время страной, всегда готовою к отпору всякому на нас посягательству, то есть страной прежде всего военною, как это прозорливо поняли наши императоры. Грозными нам надо быть в войне, в отпоре натисков на нашу ширь, на нашу кормилицу-землю, позволявшую быстро размножаться, а при временных перерывах войн — ничуть не отлагая, улучшать внутренние порядки, чтобы к каждой новой защите являться и с новой бодростью, и с новым сильным приростом военных защитников и мирных тружеников, несущих свои избытки в общее дело. Разрозненных нас сразу уничтожат, наша сила в единстве, воинстве, благодушной семейственности, умножающей прирост народа, да в естественном росте нашего внутреннего богатства и миролюбия...

Числам можно многое доверить, потому что их можно проверить, а они показывают, что на нас должны напирать, отпор же давать нельзя — неустроенной внутри стране. Мне уже поздно воевать, глядя в могилу, но в виду ее еще есть довольно сил, чтобы говорить об устройстве внутреннего быта, для чего и пишутся мои «Заветные мысли», и я полагаю, что чем проще, откровеннее и сознательнее станут русские речи, тем бодрее будут наши шаги вперед, тем дольше будут длиться мирные промежутки между оборонительными войнами, нам предстоящими, тем меньше на западе, востоке и юге будут кичиться перед нами и тем более выиграет наше внутреннее единство, страдающее более всего от того, что, «беснуясь в метафизических мышлениях», наши передовики часто забывают вносить надлежащую сознательность в народную уверенность о правильности своеобразных основных начал, завещанных нам всем прошлым и открывающих благие виды на предстоящее. Оставляя врагам мысль о пользе для наших внутренних разноречий, мы показываем миру наше единодушие в порыве общего чувства, когда японцы подали к тому прямой повод, и я убежден, что это наше единодушие не менее наших штыков и пуль — сдерживает натиски наших врагов...

Лиц армии и флота всего насчитано в 1897 г. 1 145 тыс., что составляет около 9 на 1000. Мне нет нужды говорить о необходимости военной силы не только для ограждения от врагов внутренних и от врагов внутренних, против которых везде, т. е. во всем мире, не исключая никаких республик, от европейских до американских, военную силу приходится применять, потому что полицейской силы часто недостает для борьбы с нетерпимым злом и озорниками. Главный, или основной, смысл военных сил, конечно, состоит в ограждении от врагов внешних, которые нам-то грозят со всех сторон, исключая разве Ледовитый океан, составляющий наш базис защиты. Уже по одному этому Ледовитый океан должен обратить на себя русское внимание, как я старался доказать это выше. В настоящее время даже большие организованные военные силы имеют значение преимущественно как реальная опора для дипломатических отношений стран, а экзекуция над китайскими «Большими Кулаками», произведенная в 1900 г. соединенными военными силами наций, показывает явно, что и здесь возможен прогресс, прежним векам совершенно недоступный, т. е. соглашение стран для борьбы со злыми или вредными началами, нарушавшими правильность общего мирного хода дел, обеспечивающих выполнение основных задач человечества, начиная с размножения и развития до образования, промышленности и торговли. Не желая долго останавливаться над этими предметами, я все же хоть мельком выскажу ту мысль, что Россия, содержа войско и не поддаваясь утопическим соблазнам «разоружения» может, благодаря своему положению, играть важную роль в общем концерте

мирного соглашения всех стран, и это будет тем легче, чем плотнее она сблизится с Китаем, так как в этом последнем должно ждать быстрых успехов, и так как народа в нем больше (около 430 милл. жителей), чем у какой-либо другой державы, а следовательно и войск может быть очень много. Дружественное сближение с Китаем полезно тем более, что Китай граничит с нами непосредственно и если задумает что-либо противу Европы, то прежде всего может причинить нам много зла. По отношению ко флоту моя мысль скажется ясно, если я повторю желание флотом завоевать прежде всего Ледовитый океан и содействовать ограждению русских интересов в Великом океане и на Черном море, а в замерзающем Балтийском море ограничиться только настоятельно необходимыми приспособлениями. Вместо громадных денежных затрат на новый сильный флот, мне кажется, было бы гораздо важнее для всего народного быта затратить средства на торговый флот, тем более, что он подготовит и военных моряков. Англия была слаба военным флотом, пока «Навигационным актом» (1651 г., при Кромвеле) не создала громадной силы своего торгового флота. Есть три способа вызвать скорый рост русского коммерческого мореходства: 1) субсидии предпринимателям, 2) перевозка казенных грузов исключительно на русских судах и 3) помильно-попудная премия судам, в России выстроенным (из русск. материалов), за вывоз морем всяких или определенных русских товаров, как то: каменных наших углей (напр., с Донца в Балтийское море), масс хлеба, нефти, железа и т. п.

Как принципиально убежденный реалист, я принадлежу к числу уже немалочисленных ныне противников всяких войн, поклонников мирного улаживания всяких международных столкновений. Но это вовсе не значит, по моему мнению, что разоружение страны можно было бы ныне же начать, даже такой многоземельной стране, какова Россия. Она лакомый кусок для соседей Запада и Востока, потому именно, что многоземельна, и оберегать ее целость всеми народными средствами необходимо ради одной уверенности в том, что срединный наш народ имеет в себе задатки того реального и здорового сочетания идеализма с материализмом, которое должно содействовать развитию высших начал человеческой жизни. Пусть это находят иные только «словами», для меня, помимо всякого славянофильства, это убеждение обосновано на действительности, его я завещаю детям, а потому, излагая «заветные мысли» свои, я не избегаю высказаться противу всяких войн, но за необходимость держать России наготове сильнейшую военную, сухопутную и морскую оборону в виде организованного войска. Однако дополню мысли эти тем, что и помимо всеобщей воинской повинности, быстро возрастающий народ наш, особенно когда начнет скоро богатеть, может содержать военную силу. Перемены и здесь желательны и самостоятельно возможны, особенно ввиду того, что охотников воевать в качестве солдат у

нас найдется множество, так как современная солдатская служба представляет полную обеспеченность личности и, по существу, не отличается от офицерской службы более, чем содержанием или окладом, определяемым предварительною подготовкою, подобно тому, как содержание заводского рабочего отличается от содержания техника или надсмотрщика. Охотников пойти в солдаты у нас в настоящее время можно найти так же легко, как охотников получить офицерское звание, даже при том условии, когда солдатское жалование будет очень невелико. Мне думается даже, что армия, составленная из подобных охотников, будет превосходить армию молодых новобранцев, составленную по немецкому первообразу. Переходом от современного состояния дела к желаемому, мне кажется, могло бы служить право уплаты за несение воинской повинности определенного, довольно возвышенного налога, могущего служить к умножению военных средств страны. Охотники, вероятно, будут продолжать свою службу долго и тем самым возвысят военные качества армии и флота.

1903–1905 гг.

(Менделеев Д.И. Заветные мысли. — СПб., 1904. С. 3–139; 215–247; 342–425. Менделеев Д.И. К познанию России. 5-е изд. — СПб., 1907. С. 3–145)

Всеобщий мир, всемирный свободный труд и общенародное образование — вот первые заветы и явные лозунги полного и широкого промышленного развития. Казаться может, что мысли этого рода пришли к нам и живут совершенно помимо промышленного строя. Но довольно заглянуть в историю не только европейскую, но даже и китайскую, чтобы убедиться в связи лозунгов современности с современным промышленным строем мировой жизни. Даже христианские начала, властно просвещающие Европу, не удерживали ее от непрерывных войн и от крепостного труда, пока развитие промышленности не достигло значения, ныне существующего...

Внимательный взгляд на дело показывает, что всеобщий мир прочнее гарантируется распространением промышленности, чем всеобщей воинскою повинностью, что завет «в поте лица снискивать хлеб» — мало-помалу осуществляется, наконец, во всеобщем приложении именно в нашу промышленную эпоху более явно, чем во все предшествующие времена. А свет общего образования разливается тем шире, чем более свободный личный труд приобретает значения над более или менее фиксированным трудом земледельца, так как

сильное разнообразие промышленного труда требует большей суммы сведений, сравнительно с однообразным трудом земледельца, и представляет много шансов достигать личного успеха в области мирной и частной гражданской деятельности. Оттого-то и видим, что не только миролюбие и трудолюбие, но и науки развиваются до высших своих форм рядом с ростом промышленности...

(Менделеев Д.И. Границ познанию предвидеть невозможно. М.: Сов. Россия, 1991. С. 194, 196)

Приложение I

ШКОЛЫ ИСТОРИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ

(В.О. Ключевский и его ближайшие предшественники)

Историческая школа, к которой принадлежали и Соловьев и Чичерин, наиболее чтимые учителя автора «Боярской Думы», сложилась у нас в 40-х годах прошлого столетия. Школа эта образовалась под мощным влиянием руководящих идейных течений начала XIX века — идеалистической философии Шеллинга и Гегеля, с одной стороны, и так называемой «исторической школы» Савиньи, с другой. Отмеченный факт, можно сказать, имел решающее значение в процессе развития русской исторической мысли дореформенной эпохи. Им определялось, именно, самое направление исторической науки, ее метод и конечные цели исследования.

В самом деле, мы не должны забывать, что это было время, когда на широком общеполитическом основании впервые было воздвигнуто стройное здание романтической «философии истории», безраздельно покоровившей себе наиболее видные умы как на Западе, так и России. Новая доктрина, действительно, подкупала своим всеобъемлющим универсализмом и строгой выдержанностью монистического принципа. Она поняла мир, со всем его бесконечным многообразием, как единый логический процесс саморазвития вселенского Духа, стремящегося в истории к своему самосознанию. В таинстве этого извечного пресуществления всемирно-историческая жизнь человечества должна была манифестировать не что иное, как непрерывное и вместе с тем необходимое восхождение мирового Духа в царство абсолютной свободы. Отдельные «исторические» народы, в свою очередь, должны были знаменовать собой в указанном процессе только известные моменты, состояния или «возрасты», раз навсегда пройденные божественной идеей по пути к ее конечной цели. Но зато каждый из этих «избранных» народов, приобщаясь тем самым к мировой жизни, становился носителем какого-нибудь общечеловеческого субстанционального «начала», которое постепенно раскрывалось по мере того, как данный народ достигал своего национального самоопределения. При таких условиях абсолютное, всемирно-историческое значение «национальной идеи» не подлежало никакому сомнению. Этой идеей в конце концов — согласно теории — и должна была определяться как

историческая «миссия» или «мировое призвание» народа, так и тот самобытный «вклад», который суждено было ему внести в сокровищницу общечеловеческой культуры. Отсюда понятно, что целью исторического познания, при такой точке зрения, поставлялось историческое самопознание, т. е. определение тех «исконных» начал народной жизни, которые, являясь исключительной принадлежностью известной нации, были глубоко сокрыты в тайниках ее «народного духа», органически «из себя» развивающегося. Из этих-то «начал» и должна была быть выведена самая история народа.

Таким образом, национальная идея становилась одним из руководящих принципов идеалистической историографии. Нетрудно, однако, предугадать, к каким последствиям должна была привести усиленная культивировка этой идеи на исторической почве. Прежде всего она должна была вызвать мысль о «совершенном своеобразии» всякой национальной истории, призванной сказать «свое слово» миру и потому не соизмеримой ни с какой иной историей. Каждый народ, с этой точки зрения, являлся, в полном смысле слова, исторически *unikum*. Так, именно, и решили данный вопрос русские историки-идеалисты. Устами Кавелина провозгласили они категорическую формулу, что «русская история не похожа ни на какую другую историю» в мире и что русский народ представляет из себя совершенно «небывалую социальную формацию». Но дело не ограничивалось одной только декларацией «беспримерной своеобразности» русского исторического процесса. В дальнейшем эта своеобразность русской истории была истолкована в смысле ее полной противоположности истории западноевропейских народов. Сложилась даже целая теория, утверждавшая, что историческое развитие русской народности — «этого удивительного племени» — шло как раз «обратно» тому, как оно шло на Западе. Мир славянский и мир германский, с указанной точки зрения, должны были являться двумя мирами качественно отличными, диалектически и субстанционально непримиримыми в своей «противоположности»...

Скользя, таким образом, взыскующей мыслью по поверхности исторической действительности, историк-философ с тем большей готовностью оперировал такими общими понятиями, как «народ», «государство», «общество», «народный дух», которыми он пользовался всякий раз, когда требовалось объяснить тайный смысл процесса национальной истории. Его подкупала при этом кристаллическая ясность импровизированных им логических схем и спекулятивных построений, создавшая иллюзию законченной научной теории. Историк, по-видимому, и не подозревал, что на самом деле он останавливался в своих изысканиях, так сказать, у самого порога истории даже и в тех случаях, когда ему удавалось сделать очень удачное наблюдение, бросить светлую мысль. Действительно, вместо того, чтобы раскрыть исторический смысл и содержание названных выше понятий,

он, напротив, с помощью этих «неизвестных» пытался разрешить все вопросы и все контroversы, стоявшие перед ним. В результате же при таких условиях оказывалось, что схема русского исторического процесса была дана прежде, чем самый этот процесс сделался предметом специальной научной разработки. Но зато основная цель, поставленная на очередь историками старой школы, была достигнута *spiritus mvens* русской истории, ее руководящее «начало», в той или иной форме, было найдено.

Таковы были конечные результаты торжества национальной идеи в русской исторической науке. И следует признать, что торжество названной идеи было настолько полным и решительным, что с отголосками ее нам до сих пор еще приходится считаться в русской исторической науке, где до последнего времени можно было встретить воспроизведение знаменитых парадоксов погодинской «Параллели русской истории с историей западных государств».

Однако указанными результатами далеко еще не исчерпывалось влияние идеалистической философии истории на русскую историческую мысль. Наряду с идеей национального развития она выдвинула с такой же силой и идею государства, как наивысшего выражения «народного духа» во всемирной истории.

Идеалистическая философия, можно сказать, обоготворяла государство, увидев в нем откровенный символ «исторического» призвания народов, совершенную форму национального самоопределения. «Государство, — говорил Чичерин, — есть высшая форма общежития, менее проявление народности в общественной сфере. В нем неопределенная народность... собирается в единое тело, получает единое отечество, становится народом». «Только в государстве народ заявляет свое историческое существование, свою способность исторической жизни», — заключает ту же мысль и Соловьев.

Естественно, что при подобных предпосылках русские историки солидарно переносили главный интерес научного исследования на проблемы в государстве. Вопрос о происхождении, развитии и национальных особенностях русского государства положительно гипнотизировал их умы. С этого, именно, момента в русской исторической литературе и утверждается окончательно государственная точка зрения, т. е. тот взгляд «сверху» на прошлое русского народа, которым в значительной мере предопределялись самые пути развития научной мысли. И действительно, при указанной постановке вопроса в глазах исследователей вся русская история по существу сводилась к истории русской «государственности или, что то же, к истории государственной власти и правительственной регламентации. Говоря иначе, совершался сознательный подмен самого объекта

исторической науки: все необозримое богатство ее содержания оказывалось втиснутым в узкие рамки одной определенной группы исторических явлений...

Совершенно очевидно, что при таком аспекте социальная история должна была отойти у историков-идеалистов на самый задний план, уступив свое место истории политической в собственном смысле этого слова. И они, действительно, принялись за ее систематическую разработку.

Конечно, исключительное внимание к вопросам государственной истории не могло не наложить особого отпечатка и с этой стороны на идеалистическую историографию. Можно было бы даже сказать, что именно под влиянием «государственной» идеи русская историческая мысль первой половины XIX ст. окончательно завершила процесс своего самоопределения, создав национально-государственную историческую школу, т. е. школу предшественников Ключевского.

Таким образом, оказывалось, что русский народ сам не принимал никакого активного участия как в своих собственных судьбах, так и в судьбах того государства, которое должно было, однако, являться отражением его «национального духа». Этот народ объявлен был даже, по своей природе, народом «негосударственным». И действительно, по утверждению историков, особенно Чичерина, оказывалось, что в то время, как государственная власть, не покладая рук, трудилась над возведением своеобразной «храмины» русского государства, народ, напротив, только и делал, что уклонялся от «государева тягла», «брел розно», бежал в казаки и непрерывно «кочевал»...

Являясь «исходной точкой общественного движения», верховная власть в России и в дальнейшем, согласно той же теории, продолжала оставаться единственным «зодчим» русского общества. Именно правительству, а никому иному, обязана Россия тем, что она есть; благодаря его попечению безразличная масса русского народа получила известную организацию, сгруппировалась по равным «чинам» и общественным «состояниям». Долго, по картинному выражению Соловьева, «правительственное начало кружило по неизмеримым пространствам» бродячей Руси, как Дух святой над первобытным хаосом, пока не сказало оно, наконец, своего исторического «да будет свет», «да будет русское государство и русский народ»! Так «сверху вниз», вопреки всем правилам архитектуры, строилось здание русского общества из века в век. «Совершенная своеобразность» нашего национального развития и в данном случае, по сравнению с западноевропейскими народами, была поставлена, вне всякого сомнения, «то общественное устройство, которое на Западе, — по утверждению Чичерина, — установилось само собой, деятельностью общества, вследствие взаимных отношений разнообразных его элементов, в России получило бытие от

государства, подчинясь мановению сверху». Таким образом, в исторической литературе середины XIX ст., в конце концов, был прочно утверждён научный принцип, лаконически, но выразительно сформулированный Кавелиным, что «в Европе все делалось снизу, а у нас — сверху».

Таковы в основных своих чертах были ближайшие последствия длительного деспотического господства национально-государственной точки зрения в русской исторической науке.

Мы видели вместе с тем, что в общем хоре согласных голосов историков идеалистической школы одно из видных мест принадлежало также и Б. Н. Чичерину, который едва ли не более, чем кто-либо, испытал на себе влияние направляющих идейных течений своего времени...

В самом деле, если про идеалистическую школу историков можно сказать, что она явилась на смену просветительной историографии, противопоставив предпосылкам французского рационализма немецкую романтическую философию, то про социологическую школу Ключевского с таким же правом можно было бы утверждать, что она, в свою очередь, пришла на смену национально-государственной историографии, поставив на место философского идеализма чисто реалистическое миропонимание. Последнее заключение станет для нас совершенно понятным, если мы вспомним, что исторические взгляды Ключевского, его духовный облик складывались как раз в ту эпоху, когда и на Западе, и у нас, около середины XIX ст., начался пышный расцвет положительного знания, в особенности естествознания с его позитивными методами исследования. Это было время блестящего дебюта и необыкновенно быстрого развития общественных наук, эпоха, когда под влиянием величайших внутренних потрясений в жизни Европы всеобщее внимание было привлечено к вопросам социальным. Выступление широких масс народа на историческую сцену, борьба партий и классов, рост общественной культуры — все это, конечно, не могло остаться незамеченным со стороны ученых историков, внимание которых также должно было переместиться с периферии исторического процесса в его жизненные глубины. Не забудем, что одновременно и в России, в пору так называемых шестидесятих годов, также совершались не менее великие события. То была «эпоха великих реформ», первая весна русской жизни, когда идея национального воскресения народа овладела всеми умами и сердцами. В обществе началось небывалое оживление и вместе с тем начался пересмотр старых верований, научных догматов и общественных идеалов. Открылась новая эра «помрачения кумиров», старые жертвенники были опрокинуты, явились новые пророки. Под шум публицистических витий «обличительной» литературы в русском обществе в это время

появился и скоро сделался господином положения «мыслящий реалист», проповедовавший естественные науки как новую религию. Старые боги при таких условиях были окончательно низложены; на место непререкаемого авторитета Шеллинга, Гегеля, Кузена, Гердера, Саваны и др. теперь водворились новые не менее деспотические «властители дум» — Конт, Милль, Спенсер, Маркс и пр. Создалась совершенно особая идейная атмосфера, которой все дышало и которая оказывала могущественное влияние на общественное сознание и научную мысль.

В этой-то богатой глубокими переживаниями атмосфере и выковал В. О. Ключевский свое собственное историческое мирозерцание, чуждое каких-либо предвзятых точек зрения и оригинальное, как все, на чем лежала печать его глубокой мысли. Но само собою разумеется, что общий дух его многогранного мирозерцания был проникнут теми самыми руководящими принципами, на которых покоился весь умственный склад современной ему эпохи.

Прежде всего, Ключевский был и всю жизнь оставался реалистом. Он решительно отверг «умозрительное» направление в истории, являясь непримиримым противником всякого исторического мистицизма, в какие бы формы он ни облакался, в формы ли, как выражался он, «созерцательного, богословского ведения» или же «философских» метаисторических откровений. «История народа, — говорил он, — должна являться “изображением действительного его состояния в известное время с указанием исторического происхождения этого состояния, а не диалектической импровизацией на ту или другую бытовую тему без времени и места с одними общими местами вместо фактов”». Таким образом, Ключевский относил историю к «области опытного или наблюдательного знания», а потому и от историка и прежде всего и после всего требовал систематической работы над сырым историческим материалом, требовал раскопок. При этом самые способы, методы исторического изучения он склонен был заимствовать из наук естественных, не видя принципиального различия между явлениями социальной жизни и жизни природы. «Человеческое общежитие, — по мнению автора “Курса русской истории”, — такой же факт мирового бытия, как жизнь окружающей природы... Исторические тела... рождаются, живут и умирают подобно органическим телам природы». И Ключевский любил возвращаться к этим аналогиям, проводя параллели между процессом историческим и биологическим, говоря об «анатомии» и «физиологии» общественной жизни, «возрастах» людского общежития, органическом и социальном разделении труда и т. п. Отсюда понятно, что и для исторической науки он ставил те же самые цели, как и для всякого вообще научного знания. В противоположность современной «риккертской» школе он относил историю к разряду наук номотетических, генерализирующих, полагая, что она имеет своей основной задачей

«изучение свойств и действия сил, созидающих и направляющих людское общежитие». Таким образом, раскрытие законов развития человеческих обществ, «стихийной закономерности народной жизни» — вот, по Ключевскому, в чем заключается «общая задача исторического изучения».

Но относя историю к группе номотетических, Ключевский, разумеется, не отвергал научной важности изучения индивидуальных особенностей того или иного «местного» исторического процесса, так как отлично понимал, что история никогда буквально не повторяется и, подчиняясь известным законам, не знает вовсе шаблонов...

И Ключевский, действительно, выступает перед нами в роли историка-социолога. Героем его истории была не абстрактная «личность» и не индивид, а общество, те самые «массы», с которыми историки старой школы не желали входить в непосредственное соприкосновение. «История, — говорил он, — имеет дело не с человеком, а с людьми, ведает людские отношения, предоставляя одиночную деятельность человека другим наукам». Поэтому автора интересовали не исторические события, а стихийные процессы истории, социальная эволюция в собственном смысле, история культуры, а не «политическая» история. С той же точки зрения он решал и проблему «об исторической дееспособности идей». Его занимали исключительно общественные идеи, которые одни только, по его убеждению, и могут являться предметом научного исследования историка. Это те «конкретные» идеи-силы, которые, по его словам, произвольно «отлагаются от общественных отношений», в свою очередь, «перерабатываются в общественные отношения». История, — говорил при этом Ключевский, — не наблюдает деятельности отвлеченного человеческого, духа: это область метафизики, ей доступны и подведомы только те идеи, которые «становятся историческими факторами, подобно тому, как делаются ими силы природы». «Вы поймете, — говорил с кафедры своим слушателям великий историк, — когда личная идея становится общественной, т. е. историческим фактом: это — когда она выходит из пределов личного существования и делается общим достоянием, и не только общим, но и обязательным... Идеи, блеснувшие и погасшие в отдельных умах, в частном личном существовании, столь же мало обогащают запас общежития, как мало обогащают инвентарь народного хозяйства замысловатые маленькие мельницы, которые строят дети на дождевых потоках». Таким образом, и в данном случае Ключевский оставался все на той же социологической почве, оставался все тем же историком-общественником.

Но подчеркивая с таким ударением чисто теоретическую задачу исторического изучения, великий ученый наряду с этим не забывал и важной практической, т. е.

общественной ценности исторического знания. Ясновидящий прозорливец, читающий в веках, Ключевский и на историю смотрел как на пророчицу в будущем. Наука, по его представлению, должна стремиться «знать» и «видеть», чтобы предвидеть и целесообразно и планомерно творить. Поэтому Ключевский высказывал надежду, что настанет и для исторической науки такой момент, когда «из науки о том, как строится человеческое общежитие, может со временем — и это будет торжеством исторической науки — выработаться и прикладная часть ее — наука о том, как наилучше строить его, это общежитие». Знание — по его мнению — призвано служить жизненным потребностям и нуждам человека, иначе оно «становится простым балластом памяти, пригодным для ослабления житейской качки разве только пустому кораблю, который идет без настоящего ценного груза»...

Нетрудно видеть, как неизмеримо далеко уводит нас это новое понимание задач и метода исторической науки от преданий и традиции идеалистической историографии, которая, как бы скользя по поверхности исторических событий, стремилась создать для каждого народа свою собственную «философию истории», открыть только ему одному присущие таинственные «начала» его жизни и отрицала всякую возможность прикладывать «европейский» или какой-нибудь иной «аршин» к такому «беспримерному» явлению во всемирной истории, как «русское государство».

Понятно, каковы должны были получиться, при подобной постановке задачи исторического изучения, непосредственные результаты глубокомысленных разысканий гениального историка. На первый план сами собой должны были выдвинуться те факты и отношения, которые почти совершенно игнорировались предшественниками Ключевского, но которым он придавал особенное значение, — отношения социально-экономического порядка, культура материальная.

Б. Сыромятников

...В связи с принятой им социологической точкой зрения и интересом к народности, Ключевский при изучении учреждений гораздо более Соловьева обращал внимание на социальные и экономические отношения. В капитальном своем труде о боярской думе, например, Ключевский довольно резко обнаружил такое именно свое отношение к истории учреждений: проводя различие между их содержанием и формой, он полагал, что нельзя изучать их без выяснения наполнявшего форму материала, так как в противном случае трудно понять, почему один и тот же «порядок» в разных условиях получал различное значение. Тот же взгляд наш историк применил и в специальном своем исследовании о боярской думе: он интересовался не тем, «откуда ваялись формы, свои они или чужие», а тем, «какое туземное содержание влилось в них и переработало их»; он изучал «социальную историю думы», «в связи с историей общества», в связи с «процессом образования верхних его слоев»; он подчеркивал влияние социального состава управления на развитие боярской думы и следил за образованием московской правительственной аристократии, бывшей политической силой, но не властью, права которой были бы приобретены оружием или ограждены законом; он выяснял и те перемены, которые происходили в социальном и правительственном в составе думы, постепенное превращение ее в центральный орган управления и ее законодательное значение, а также ее перерождение из аристократического совета в бюрократическое учреждение, вплоть до замены ее сенатом. Свой интерес к социально-политической истории Ключевский проявил и в известных статьях о «составе представительства на земских соборах древней Руси»; подвергнув его тонкому анализу, он пришел и к новому выводу касательно характера самого учреждения: он полагал, что «основным принципом» представительства на земских соборах XVI-го века было, в сущности, «представительство по должностному правительственному положению, а не по общественному выбору», хотя, впрочем, не забыл отметить в составе последнего из соборов того же века и «выборных представителей уездных дворянских обществ». Кроме того, связав историю земских соборов XVI в. с историей земских учреждений, он выяснил происхождение и значение представительства в XVI веке как «высшей формы поруки в управлении»: он показал, что правительство, созывая собор, стремилось «обеспечить себе дружное и усиленное содействие всех местных обществ», должностные представители которых, «поручившись за исполнимость соборного приговора, должны были принять на себя и провести в местные общества ответственное его исполнение».

В других работах Ключевский приступил к изучению социально-экономических, а не социально-политических отношений: уже до появления статей о земских соборах он напечатал замечательные свои исследования по истории прикрепления крестьян и

крепостного права, падение которого произвело на него сильное впечатление. Вместо того, чтобы сводить процесс прикрепления к истории мер, предпринимаемых московским правительством, Ключевский впервые выяснил значение возраставшей частной зависимости владельческого крестьянина от землевладельца, обусловленной, главным образом, экономическими отношениями, и обратил особенное внимание на то, каким образом движение холопства в сторону крестьянства встретилось с противоположным движением крестьянства в сторону холопства и как этот двойной процесс завершился первой ревизией и привел к образованию крепостного состояния.

Такой же социологический интерес к «политическим, социальным и экономическим фактам» в их совокупности Ключевский обнаружил, наконец, и в своем «Курсе русской истории». В введении к нему он заявляет, что имеет в виду заняться «социологическим» изучением ее как «местной истории» и будет излагать «факты политические и экономические, с их разнообразными следствиями и способами проявления и только, ничего более»...

В самом понимании задач местной истории, какое Ключевский предлагает в начале своего «Курса», он высказывает такой именно взгляд на «социологическое изучение» нашего прошлого: он полагает, что «местная история» дает готовый и обильный материал и для «исторической социологии», т. е. для учения о «строении общества», и для знакомства с «законами движения» людского общежития или с тем, «при каких условиях известный элемент его двигает человечество вперед по пути мирового прогресса и когда задерживает его движение»; но он признает, вместе с тем, что «отдельная история известного народа может быть важна своеобразием своих явлений», т. е. своеобразием сочетаний ее элементов, хотя бы они, порознь взятые, и были сходны с элементами других историй, и что, следовательно, «научный интерес истории того или другого народа определяется количеством своеобразных местных сочетаний и вскрываемых ими свойств тех или иных элементов общежития». С такой двойственной точки зрения Ключевский приступает и к изучению русской истории: она представляет сравнительно простые процессы, «в которых можно достаточно отчетливо разглядеть работу исторических сил, действие и значение различных пружин, входивших в сравнительно несложный состав нашего общежития»; но она отличается и «своеобразным сочетанием действовавших в ней условий народной жизни».

Итак, своеобразие нашей истории Ключевский понимает прежде всего в смысле своеобразного сочетания хотя бы и сходных с другими элементов русской жизни, и характеризует каждый ее период особого рода сочетанием их, отличным от того, какое они

получали в другом. В зависимости, например, от различия в комбинациях между элементами государственной власти, социальной жизни и производительности народного труда, обусловленных частью местными условиями колонизации, частью «внешними обстоятельствами», Ключевский и построил в своем «Курсе» общий «ход нашей истории»: он полагает, что колонизация, которую, впрочем, не упускал из виду и его предшественник, была «основным» ее фактом и что все другие ее факты стояли в близкой или отдаленной связи с колонизацией; он заявляет, что «этот факт и служит основанием плана курса». Ближайшую с ним связь он усматривает и в некоторых «политических и экономических фактах»: он полагает, что Русь с VIII-го до XIII-го века была «днепровской, городской, торговой»; с XIII-го до середины XV века — «верхневолжской, удельно-княжеской, вольно-земледельческой»; с середины XV-го до второго десятилетия XVII-го века — «великой, московской, царско-боярской, военно-земледельческой»; наконец, с начала XVII-го до середины XIX-го века — «всероссийской, императорско-дворянской, с крепостным хозяйством, земледельческим и фабрично-заводским».

В предлагаемой им периодизации русской истории Ключевский, как видно, остался верен своей первоначальной концепции исторического процесса: он рассуждает о своеобразном сочетании «политических, социальных и экономических фактов», но не уделяет в нем особого места для «идей», несмотря на то, что сам высоко ценит развитие национального самосознания и процесс образования исторической личности русского народа, которые нельзя сводить к одним только внешним проявлениям его деятельности, не нарушая целесообразности и непрерывности ее эволюции. Впрочем, в указанном выше смысле Ключевский принимает во внимание и «интеллектуальные факторы», действовавшие в русской истории, особенно позднейшей. Хотя вместо древней религии восточных славян он и говорит только о их «мифологии», да и касается ее лишь в связи с следствиями колонизации, хотя он и не останавливается на подробном рассмотрении влияния христианской и византийской культуры на древнерусскую жизнь и довольствуется преимущественно изучением церковных уставов русских князей и влиянием церкви на гражданский быт и политический порядок, мимоходом упоминая об «успехах гражданственности и просвещения» в среде «господствующего класса», но в других случаях он отмечает и роль идей в нашем историческом развитии. Возвышение московских князей Ключевский ставит, например, в зависимость от отношения их к русской церкви и замечает, что им удалось успешно собрать в своих руках «материальные, политические силы русского народа» благодаря дружному содействию добровольно соединившихся его духовных сил; он следит за ростом «политического самосознания великорусского общества», за развитием

московской политической теории, приведшей к резкому отделению московского государя от всего остального общества, к «идее подданства», — словом, за образованием того «кодекса политических понятий, которым так долго жила потом Московская Русь». Вслед за тем он указывает на «национальные и религиозные связи, спасшие общество в смутное время», и останавливается на характеристике тех двух направлений «в умственной жизни русского общества», которые сложились под влиянием греческим и западным и, в борьбе друг с другом, «всего более оживляли вялую общественную жизнь, направляемую темной, тяжелой и пустой государственной деятельностью, которая с некоторыми перерывами томительно длилась до половины XIX века». При изображении эпохи преобразований он также замечает, что уже в XVII-м веке русская мысль «тронулась и пыталась повлечь за собой застоявшуюся жизнь», а «в пробуждении простодушной веры русских людей того времени в науку и доверчивой надежде с ее помощью все исправить» усматривает «главный нравственный успех в деле подготовки реформы Петра Великого» и руководящие начала его собственной преобразовательной деятельности, вместе с тем он полагает, что такое влечение, неравномерно действуя на разные классы русского общества, нарушало прежнее «духовное согласие, господствовавшее в ней вопреки социальной розни», но что «та же вера поддерживала нас и после преобразователя всякий раз, когда мы, изнемогая в погоне за успехами Западной Европы, готовы были упасть с мыслью, что мы не рождены для цивилизации, и с ожесточением бросались в самоуничтожение». Итак, по мере пристального изучения позднейших периодов нашей истории, Ключевский все более подчеркивает значение «идей» в ее ходе, что и дает ему возможность отмечать новые различия в сочетаниях элементов русской жизни, характеризующих данный период ее развития.

Нельзя не заметить, однако, что Ключевский часто придает понятию о «своеобразии русской истории» еще более узкое значение: при изучении ее «хода» он едва ли даже не преимущественно интересуется индивидуальным характером данного сочетания элементов, в его зависимости от «встречи» данных условий места и времени, а не только сходством каждого из элементов, отдельно взятого, с другими; вместе с тем он обращает внимание на такой же характер субъекта развития — носителя этого сочетания, и не упускает из виду своеобразия некоторых из главнейших составных его элементов и частей изучаемого им целого. Сам Ключевский указывает, например, на то, что исследователь местной истории встречается ее моменты и условия «в своеобразных сочетаниях и при невиданных им внешних обстоятельствах» и что они, следовательно, «вне данного места, неповторимы; что отдельные народы, принимавшие наиболее заметное участие в историческом процессе, раскрывают природу человечества с разных сторон и особенно ярко проявляют ту или

другую силу ее; что народ становится в государстве не только политической, но и исторической личностью, с более или менее ясно выраженным национальным характером и сознанием своего мирового значения, и это сознание возрастает по мере усиливающегося влияния на другие народы. Такую точку зрения Ключевский готов был, конечно, приложить и к изучению русской истории; сам он говорит, что «научная цель» его курса будет достигнута, если ему удастся дать изображение русского народа, «как исторической личности».

И действительно, он следит за тем, в каких именно условиях места времени этот народ действовал, как его жизнедеятельность надолго сосредоточилась в великорусском племени, каков был его характер и какие именно люди всего более двигали его историей, какие «внешние обстоятельства» или исторические события оказывали влияние на его прошлое, какую роль он играл среди других европейских наций, и т. п. С такой точки зрения Ключевский, в сущности, пытается отметить и те исторические моменты, которые придают каждому из периодов нашей истории своеобразный характер, отличный от соответствующих периодов в истории других народов... В отличие от Соловьева он усматривает, например, «основной факт» нашей истории XV–XVI вв. не в общем процессе смены родовых отношений между князьями отношениями государственными, а в превращении московского княжества в «национальное великорусское государство». Московское государство образовалось из великорусского племени, благодаря стремлению к политическому единству на народной основе, слагавшемуся под влиянием той борьбы, которую оно вело на «два фронта: на западе — за национальное единство, на юго-востоке — за христианскую цивилизацию, там и здесь за свое существование». Таким образом, «оборона государства от внешних врагов» становилась тем «высшим интересом», который не допускал окончательного разрыва враждовавших общественных сил, заставляя их против воли действовать дружно; «под руководством командира» каждый становился или солдатом, оборонявшим отечество, или работником, который должен был кормить тех, кто его обороняет. Впрочем, в то время верховная власть с неопределенным, т. е. неограниченным, пространством ее действия и с нерешенным вопросом об отношении к собственным органам, именно к главному из них — к боярской аристократии, не могла еще достигнуть внутреннего государственного единства: даже Иван Грозный, с его «настоящим великорусским умом», сознав себя национальным государем, «на половину своего самосознания остался удельным вотчинником» и больше задумывал, чем сделал, для того, чтобы завершить образование «национального великорусского государства». Да и в позднейшее время «вотчинно-династический взгляд на государство» не совсем утратился: он послужил одною из основных

причин смуты, и только в смутное время, впервые глубоко затронувшее политическое сознание русских людей, они опытом убедились, что государство, по крайней мере некоторое время, может быть без государя, но ни государь, ни государство не могут обойтись без народа.

Все более входя в область автобиографии, Ключевский сильнее Соловьева обнаруживает, наконец, ту же склонность выдвигать «своеобразие» нашей истории и в своем понимании нового ее периода — времени, когда русские государи завершили собирание всей русской народности и государственная территория вобрала в себя всю русскую равнину. В своей характеристике этого периода наш историк придает особенно важное значение внешней политике государства и внутреннему росту народа, который в развитии своих сил отставал от задач, становившихся перед государством, вследствие ускоренного внешнего роста, — таков, по его мнению, главный факт, оказавший существенное влияние и на соотношение остальных фактов того времени — политических, социальных и экономических; он обусловил стеснение «внутренней свободы народа», усиление социального неравенства и ухудшение в положении трудящихся классов. С такой точки зрения Ключевский дает сжатую характеристику последнего периода нашей истории; различая во внешней политике того времени два момента — оборонительный и наступательный, он приходит к следующей формуле: «по мере того, как усиливалось напряжение внешней оборонительной борьбы, усложнялись специальные государственные повинности, падавшие на разные классы общества, и по мере того, как оборонительная борьба превращалась в наступательную, с верхних общественных классов снимались их специальные повинности, заменяясь специальными сословными правами, и скупивались на низших классах; но по мере того, как росло чувство народного недовольства таким неравенством, правительство начинало подумывать о более справедливом устройстве общества».

В связи с таким понимаем «хода дел» в новый период нашей истории Ключевский допускает еще одно характерное отклонение от схемы Соловьева: он начинает этот период с начала XVII века, а не с эпохи преобразований, и таким образом, еще более сглаживает кажущийся разрыв между временем до и после реформы. В своем построении, однако, Ключевский не только усиливает, но и изменяет взгляд Соловьева: не начиная нового периода с эпохи преобразований Петра Великого, новейший наш историк не разрывает тесной ее связи с предшествующим нашим развитием и, значит, не приписывает реформе того чрезмерного значения, которое будто бы состояло в «крутом повороте на Запад» и в «заимствовании плодов европейской цивилизации»; но, подчеркивая значительную

зависимость реформы от времени, наступившего после смуты, он отмечает и то, что явилось, «сверх чаяния», в качестве «непредвиденных» последствий.

В самом деле, Ключевский полагает, что XVII век весь был эпохой, подготовлявшей реформу Петра Великого, и что «его программа была вся готова еще до начала деятельности преобразователя» и даже шла «дальше того, что он сделал». После тщательного изучения реформы он приходит к заключению, что Петр сберег в себе «слишком много допетровского царя» и многое взял из старой Руси: государственные силы, верховную власть, право и сословия, иногда, впрочем, соединяя элементы старины в новые сочетания или разделяя слитые; у Запада он заимствовал лишь технические средства для устройства армии, флота, государственного и народного хозяйства и правительственных учреждений, не всегда сохраняя западноевропейские образцы в прежнем их виде и «передельывая их на московский лад». Вместе с тем, однако, наш историк не упускает из виду и того, что преобразования Петра «направлялись условиями его времени, до него не действовавшими», что они частью вторгнулись в его дело со стороны, частью были созданы им самим. С такой точки зрения Ключевский вскрывает и своеобразие реформы: в том именно виде, в каком она произошла, реформа зависела прежде всего от «северной» войны и ее случайностей. Северная война была «главным движущим рычагом» реформы; она указала порядок реформы, сообщила ей темп и самые приемы ее осуществления. Реформа, по своему исходному моменту и по своей конечной цели, была военно-финансовая; все остальные меры оказались либо неизбежными следствиями, либо подготовительными средствами к достижению главной цели; факты, вытекавшие из этого двойственного значения реформы, коснулись всех классов, отозвались на всем народе. Наряду со своеобразными обстоятельствами, при которых преобразователю приходилось действовать, Ключевский указывает и на своеобразие его личности; он немало посвятил труда выяснению ее особенностей: хотя реформа «сама собою вышла из насущных нужд государства и народа», но эти нужды были «почувствованы властным человеком с чутким умом и сильным характером, талантами, дружно совместившимися в одной из тех исключительно счастливо сложенных натур, какие, по неизведанным еще причинам, от времени до времени появляются в человечестве». Такою личностью он признает Петра Великого, предпринявшего борьбу деспотизма с народом и с его косностью, но не чуждого мысли, что его военно-финансовая реформа, в своем продолжении, должна стать социально-экономической и быть направленной к усилению производительных сил страны, с помощью общественной самодеятельности. Наш историк не забывает отметить и те последствия, которые «сверх чаяния» непредвиденно возникли из реформы: они оказались или в известной мере благотворными для русской жизни, или, напротив, зловердными

искажениями, в том случае, например, когда стремление поднять производительность народного труда средствами европейской культуры превратилось по смерти преобразователя «в усиленную эксплуатацию и полицейское порабощение самого народа».

Пристально всматриваясь в ход реформы, Ключевский, как видно, сильно подчеркивает своеобразное влияние внешних обстоятельств на внутренние преобразования и ограничивает их значение, а также и роль самого преобразователя; но вместе с тем он признает, что сам Петр «проникся мыслью о народном благе, как никто из наших царей», и не отрицает того нового исторического момента, который его реформа отчасти обусловила: из забытого Европой арьергарда, оберегавшего тыл европейской цивилизации, Россия стала государством, впервые деятельно вступившем, как органический член, в семью европейских держав.

Итак, в своем построении последнего периода нашей истории Ключевский сливает время до и после реформы; но он все же придает ей особого рода значение и отмечает весьма важное влияние ее на последующее наше развитие. Долго остановившись на характеристике преобразований и их последствий, он не успел, однако, с той же индивидуализирующей точки зрения рассмотреть своеобразие дальнейшего хода русской истории; он довел изображение ее лишь до того времени, когда дворцовое государство преемников Петра I получило вид «сословно-дворянского», а «правовое народное государство было еще впереди и не близко».

Все шире и глубже охватывая русскую историческую действительность в ее цельности, Ключевский много сделал для научной ее конструкции для последующей ее разработки: он высказал немало блестящих гипотез и построений, которые всего более будили нашу историческую мысль и двигают ее вперед даже в тех случаях, когда она подвергает критике его собственные предположения. Вместе с тем Ключевский умел «говорить» не только отвлеченными формулами, но и живыми образами; они подсказывают читателю многое, что он не мог бы воспринять из строго размеренной речи кабинетного ученого: они дают чувство прошлой жизни и заставляют переживать историческую действительность, а переживание ее облегчает деятельное, иногда даже новое понимание того, что было. Ключевский не довольствовался, однако, такими результатами: сам глубоко переживая и прошлые судьбы нашей родины, и социальные реформы шестидесятых годов, и тяжелую политическую борьбу последних лет, он думал, что история отечества должна иметь также прикладную цель для детей его; своими трудами хотел содействовать тому, чтобы каждый из нас «хоть немного был историком» и мог «стать сознательно и добросовестно действующим гражданином». И едва ли можно сомневаться в том, что

Ключевский в значительной мере достиг своей цели: читая его историю русской народности, каждый из нас чувствует, что он живет не только в ее прошлом, но и для ее будущего...

А. Лаппо-Данилевский

1912 г.

(Василий Осипович Ключевский: характеристика и воспоминания. — М., 1912. С. 62–71; 83–87; 104–116. См. дополнительно: Любавский М.К. Василий Осипович. Ключевский. — М., 1913; Баиов А.К. Значение В.О. Ключевского для русской военно-исторической науки. — СПб. 1911)

Приложение II

Ростислав Андреевич Фадеев

Так как у моего деда Фадеева были три дочери и только один сын, то понятно, что всю свою любовь они сосредоточили на этом сыне. Когда этот сын Ростислав вырос, то Фадеевы из Саратова, где мой дед был губернатором, перевезли его в Петербург и поместили в один из кадетских корпусов, где с ним случился такой казус: как-то утром по коридору, где находился кадет Фадеев, проходил офицер-воспитатель; офицер заметил, что у Фадеева дурно причесаны волосы, а поэтому сказал ему: «Подите, перечешитесь», и при этом сунул свою руку в его волосы, за что Фадеев ударил офицера по физиономии. Об этом происшествии было, конечно, сейчас же доложено императору Николаю I, и в результате Фадеев был сослан солдатом в одну из батарей, находившуюся в Бендерах. По тем временам он должен был подвергнуться гораздо большему наказанию, но благодаря тому, что начальником всех военных учебных заведений был князь Долгорукий, который вступился за своего родича, император Николай I, любивший князя, ограничился этим наказанием. Приехав в Бендеры, Фадеев исправно вынес службу в солдатах в течение назначенного ему времени; отбыв это наказание, он вернулся к своему отцу в Саратов дворянином без всяких занятий. Тут, в Саратове, увлекся чтением и изучением наук. Во время своего пребывания в Саратове под руководством матери Фадеев сделался вполне образованным человеком благодаря любви к чтению и вообще к наукам, его интересующим, преимущественно историческим, географическим и военным. Из дальнейшего рассказа будет видно, что Фадеев имел громадное влияние на мое образование и на мою умственную психологию. Я к нему был очень близок, в особенности, когда уже окончил курс в университете и потому жил вполне сознательной жизнью. Должен сказать, что я не встречал в своей жизни человека более образованного и талантливого, чем Ростислав Андреевич Фадеев, что, впрочем, должно быть известно всем образованным людям в России, ибо Фадеев написал замечательные работы, не только по военной части, такие как, например «Вооруженные силы России», но и по внутренней и внешней политике, как, например: «Чем нам быть?», «Восточный вопрос» и пр. Фадеев владел французским языком так же, как русским, и потому иногда писал в «Revue de deux mondes» и других французских журналах. Он был полон знаний и таланта и вообще духовных сил; был несколько склонен к мистицизму и даже к спиритизму. Он был настолько образован и талантлив, что должен был сделать громадную карьеру, но у него был один недостаток — недостаток этот заключался в том,

что он легко поддавался увлечениям по фантастичности своей натуры. В этом смысле он напоминал свою двоюродную сестру Блавацкую, но, конечно, представлял собой гораздо более чистый в нравственном смысле экземпляр; он был также гораздо более образован, чем она. Во всяком случае Фадеев и Блавацкая могут служить доказательством того, что известные качества натуры передаются по наследству из поколения в поколение. Фадеев, живя у своих отца и матери и ничего не делая, конечно, не мог удовлетвориться такой жизнью, несмотря на свое пристрастие к книгам; с другой стороны, пребывание Фадеева в Саратове несколько стесняло его родителей, так как он позволял себе иногда невозможные выходки. Так, например, Фадеев гулял иногда по городу — хотя и в очень раннее время — совершенно без всякого одеяния; также стрелял на улице пулями; к счастью, эта стрельба ничем дурным никогда не кончалась. В конце концов Фадеев уехал вольноопределяющимся на Кавказ. Уехал он туда потому, что в то время Кавказ манил к себе всех, кто предпочитал жить на войне, а не в мирном обществе. Это же, вероятно, было причиной того, что мои дед и бабушка, когда получили приглашение от наместника на Кавказе князя Воронцова приехать туда, легко на это предложение согласились. Я говорю: легко согласились на это, так как, конечно, в те времена, когда не было железных дорог, когда кавказский перевал был занят неприятельскими племенами, когда вообще весь Кавказ пылал восстаниями и военными действиями с турками, охотников из гражданских чинов ехать на Кавказ, хотя бы и на самые высшие должности, почти не находилось. На Кавказе молодой Фадеев скоро был произведен в офицеры; затем он участвовал почти во всех походах и войнах Кавказа во время наместничества светлейшего князя Воронцова, потом Муравьева, в особенности при генерал-фельдмаршале князе Барятинском, которые, в сущности, и покорили Кавказ, и, наконец, в первые годы наместничества великого князя Михаила Николаевича...

Фадеев играл особую роль при фельдмаршале князе Барятинском; фельдмаршал князь Барятинский, как известно, стал наместником на Кавказе после Муравьева и после смерти императора Николая. Почти одновременно со смертью императора Николая, во время коронации императора Александра II в Москве, он покинул Кавказ, будучи командиром Кабардинского полка. На Кавказе князь Барятинский был в сравнительно низких чинах, так как он кончил эту первую стадию своей службы только полковым командиром; уже тогда он отличался своей замечательной храбростью и во время стычек с горцами многократно получал сквозные пулевые ранения; говорили, что живот князя Барятинского, как решето.

В молодости он служил в Петербурге, в лейб-гусарском полку, был другом Александра II; он был чрезвычайно красив и считался первым Дон-Жуаном во всех великосветских петербургских гостиных. Как молва, не без основания, говорит, Барятинский

был очень протезируем одной из дочерей императора Николая, насколько я помню, Ольгой Николаевной. Так как отношения между ними зашли несколько далее, чем это было допустимо, то император Николай, убедившись в этом воочию, выслал князя Барятинского на Кавказ, где он и сделал свою карьеру. Во время походов против горцев, когда князь Барятинский был еще в низших чинах, он познакомился с молодым офицером Фадеевым, которого впоследствии чрезвычайно ценил, и потому, приехав наместником на Кавказ, он сейчас же сделал Фадеева, уже на моей памяти, из свиты фельдмаршала наместника князя Барятинского главнокомандующего кавказской армией, тот был ближайшим к нему человеком; князь Барятинский вместе с Фадеевым участвовал во всех походах и при взятии Шамиля, и при осаде Гуниба. Вечером, накануне осады, когда были большие сомнения: предпринять ли атаку или взять Шамиля измором, Фадеев очень настаивал на том, чтобы атаковать Шамиля, вопреки мнению других, которые считали, что не следует при этой атаке жертвовать жизнью многих сотен, если не тысяч людей. Барятинский согласился с мнением Фадеева, и во время атаки Фадеев принимал в ней самое живейшее участие, находясь все время в распоряжении фельдмаршала Барятинского. В то время Барятинский, конечно, не был еще фельдмаршалом; он получил фельдмаршала после окончательного покорения Кавказа, т. е. после занятия Гуниба и взятия в плен Шамиля. Во время сражений Шамиль всегда выезжал со своим знаменем, никогда не расставался с ним, и вот после взятия Гуниба, когда Шамиль сдался, он это знамя в знак покорности передал князю Барятинскому. Во всех литографированных картинах того времени, изображающих этот сюжет (из которых многие сохранились донныне), изображается сцена, как Шамиль, сдаваясь, передает Барятинскому свое знамя. Вечером, позвав к себе Фадеева, Барятинский сказал ему, что он дарит Фадееву это знамя, так как взятие Гуниба во многом обязано его советам. Знамя это после смерти Фадеева находилось у его сестры Надежды Андреевны Фадеевой, а в последнее мое свидание с нею она мне его вручила. Теперь это знамя находится у меня и висит в моей библиотеке.

Ближайшими советчиками Барятинского в то время были: Фадеев и начальник штаба (Барятинского) Милютин, ныне генерал-фельдмаршал Милютин, который во все время царствования императора Александра II был военным министром; теперь он живет в Крыму, и ему уже более 92 лет. Милютин, несомненно, представлял собой также весьма даровитого человека, но он был полной противоположностью Фадееву. Фадеев не получил систематического академического образования; он имел, если можно так выразиться, вольное образование; был скорее художник науки, блистал громадными талантами, был человеком увлекающимся, с большой долей фантазии. Напротив того, Милютин представлял

собой сухого, военного академика, ученого, последовательного человека, с большими видами, с большой программой, систематической, может быть, недостаточно талантливой, но весьма последовательной и крайне разработанной. Одним словом, он был элементом военного порядка, военной дисциплины, военной системы кавказской армии, чего, конечно, недоставало Барятинскому. Фадеев был скорее человек боевой, любивший гораздо более боевой огонь, нежели кабинетную военную работу, человек с долей военной фантазии и военных порывов, был большим писателем, писателем живым; писал, как живой человек, а не как академическая машина. Вот эти два человека, Милютин и Фадеев, играли громадную роль на Кавказе при Барятинском, и затем до самой смерти Фадеева эти два человека сталкиваются в различном понимании военных нужд, военного будущего и вообще потребности российской империи...

Ранее, чем выехать на Кавказ, Барятинский, как я уже говорил, был в самых лучших отношениях с императором Александром II; в это время у Барятинского зародился план, который он словесно передал императору Александру II и получил одобрение.

Предполагалось сделать полное преобразование всего военного устройства в России и притом в основу принять военную прусскую систему. Как известно, прусская система заключается в том, что там все части войск — территориальные — комплектуются почти что на месте. Затем военные (т. е. чисто боевые) приготовления к боевой деятельности находятся в руках корпусных командиров. Эти корпусные командиры непосредственно подчинены императору, в те времена королю прусскому. В распоряжении императора находится генеральный штаб с начальником Генерального штаба (Мольтке); при императоре состоит (походная) канцелярия, которая служит промежуточной инстанцией между императором и корпусными командирами, которым император и отдает непосредственно приказы, иногда совещаясь для сего с начальником Генерального штаба; все военные планы составляются в Генеральном штабе. Административно-военная часть выделена из чисто военной, т. е. боевой, и находится в ведении и распоряжении военного министерства, которое управляется министром на общеминистерском основании. Князь Барятинский предполагал устроить в России организацию наподобие этой прусской организации, т. е. чтобы у государя был начальник генерального штаба и чтобы этому начальнику — и государю через его посредство — были подчинены все корпусные командиры, которые должны быть вполне независимы и считать своим начальником только государя императора; вся же административная часть должна была находиться в распоряжении военного министра. По мысли Барятинского, место начальника Генерального штаба должен был занять он, на что он имел согласие и государя императора. Военно-административная часть должна была быть

выделена и отдана в ведение военного министерства, а на пост военного министра Барятинским был рекомендован его начальник штаба — Милютин, который в то время еще не был графом Милютиным... Начальником канцелярии Генерального штаба предполагался Фадеев, т. е., иначе говоря, он должен был стать правой рукой Барятинского. После войны Барятинский предполагал оставить Кавказ, так как после взятия Шамиля и покорения горцев Кавказ ничего привлекательного из себя для него не представлял. Раньше чем приехать в Петербург и заняться переустройством армии по той программе, которую я только что очертил, Барятинский испросил разрешение поехать за границу, чтобы там несколько отдохнуть. Вероятно, государь Александр II не предполагал, что Барятинский уедет с Кавказа, увезя с собой жену своего адъютанта Давыдову, и вообще не предполагал всей той истории, которая вследствие этого произошла; поэтому, по рекомендации Барятинского, военным министром был назначен Милютин.

Милютин начал проводить не ту программу, которую предполагал Барятинский и в основе которой лежала германская военная система, а ту, которая существовала в то время и которая и ныне принята во Франции, т. е. систему военных округов без отделения административной части от военной; напротив того, все, касающееся войск, как административная часть, так и чисто военная, переплетается, и обе они находятся в распоряжении одних и тех же начальников дивизий, а затем начальники дивизий уже подчинены начальникам военных округов, а начальники военных округов подчинены министру; номинально они, конечно, подчинены монарху, но, в сущности говоря, военный министр, держа все военные части в своих руках, естественно, является начальником и главой всего, что касается военного дела. Такая система в общих чертах существует во Франции, таковую же систему начал проводить и Милютин. Я думаю, что Милютин держался этой системы по убеждению, а не из вида какой-либо карьеры, но тем не менее это имело вид как будто интриги против Барятинского. Естественно, что при системе, которую проводил Милютин, Барятинскому для военной деятельности не было места в российской империи. Начался спор, который потом проникал несколько раз и в прессу; спор этот вели, с одной стороны, Фадеев, а с другой — сотрудники Милютина. Единомышленниками Фадеева в этом отношении были такие выдающиеся генералы, как, например, генерал Коцебу, граф Лидерс и Черняев. Но все статьи и записки принадлежали исключительно Фадееву и Комарову, который по идеям своим был очень близок к Фадееву.

Комаров специально для борьбы с противоположной партией основал газету; как она называлась сначала — я не помню, впоследствии она была переименована в газету «Свет», которая существует и до настоящего времени. Со смертью генерала Комарова, который умер

только два года тому назад, эта газета сделалась уже чисто гражданской; военными же вопросами она совсем не интересуется; но в 70–80-х годах в ней по преимуществу печатались военные статьи, принадлежавшие по большей части Фадееву и частью самому редактору газеты Комарову (изредка писал и Черняев). В официальных же журналах военного министерства возражали против того, что писала партия Фадеева: Обручев, Онучин, Анненков и др. — все по большей части вышедшие в генералы из офицеров Генерального штаба. Таким образом, можно сказать, что еще и в те времена были разногласия, с одной стороны, между генералами, не принадлежавшими к Генеральному штабу — генералами по преимуществу боевыми, а с другой стороны — между офицерами Генерального штаба и их представителями — генералами Генерального штаба. Как известно, эти несогласия во взглядах по самым капитальным и существенным вопросам существуют до настоящего времени, и эти разногласия весьма обострились после последней японской войны. Таким образом, Фадеев вступил на путь ожесточенной полемики с военным министерством и с самим главой оногo — военным министром Милютиным. Естественно, что вследствие этого генералу Фадееву не было места для военной карьеры в России. На него жаловались императору Александру II, и мне самому как-то раз дядя, возвратись из Царского Села, рассказывал следующее: гуляя в Царскосельском парке, он вдруг встретился там с императором Александром II, который подошел к дяде и, не узнав его, спросил: «Кто он такой?» Когда дядя ответил ему, что он Фадеев, то император сказал: «Ну, а что, — ты все пишешь? Скоро ли перестанешь писать?» — это было сказано недовольным тоном.

Кроме военных статей и книг, Фадеевым было написано несколько политических статей и книг. Он написал «Восточный вопрос»; это возбудило обострение в дипломатических отношениях между Россией и Австрией; канцлер князь Горчаков пожаловался на Фадеева императору Александру II, и это обстоятельство вынудило моего дядю выйти в отставку. Затем Фадеев принял предложение поехать в Египет, в сущности для того, чтобы занять там пост военного министра, хотя этот пост и не назывался прямо постом военного министра; одним словом, ему было поручено хедивом устройство и организация хедивской армии. Насколько мне известно, это ему устроил посол в Константинополе граф Игнатъев, который с дядей был в хороших отношениях, — тот граф Игнатъев, который заключил Сан-Стефанский договор и затем был при императоре Александре III министром внутренних дел. Таким образом, Фадеев некоторое время прожил в Египте, но поездка эта была неудачной в том отношении, что вскоре египетский хедив был вынужден объявить войну Абиссинии, вследствие чего Фадеев отказался от руководства египетской армией, так как война против христиан — а абиссинцы, в сущности, последователи учения Христа, хотя

и в несколько изуродованном виде, — не согласовалась с его убеждениями. Тем не менее дядя расстался с хедивом, продолжая быть с ним в самых хороших отношениях. Я помню, что когда дядя вернулся в Одессу, я жил там вместе с матерью, сестрами, теткой и братом; в это время он остался без места и написал книгу: «Чем нам быть?»

Когда затем вспыхнула война с Турцией, то дядя написал Милютину, что он не может оставаться в бездействии, не может не принимать участия в войне, так как военное чувство его возмущается против этого. Вследствие письма произошло примирение моего дяди с Милютиним, и последний посоветовал ему уехать в нашу действующую армию за Дунай. Ввиду того, что тогда мой дядя был только генерал-майор, но по летам же и по имени он был гораздо старше большинства наших военных начальников, граф Милютин и командировал моего дядю к князю черногорской армии. Таким образом, Фадеев участвовал в войне, но только в черногорской армии; после войны князь черногорский подарил ему маленькое имение около Антивари, которое дядя впоследствии продал. Фадеев вообще никаких средств не имел; то состояние, которое осталось после его отца и матери, перешло к его сестрам, так как он от своей части в наследстве отказался, вследствие чего был в материальном отношении довольно стеснен. Вот к этому-то времени и относится назначение князя Барятинского главнокомандующим, на случай войны с Австрией, о чем я уже говорил выше. Как известно, Сан-Стефанский договор не был признан некоторыми европейскими державами, и, следовательно, России предстояло или заставить признать этот договор посредством оружия, т. е. войны с Австрией, или пойти на уступки. В дело вмешался (как частный маклер) князь Бисмарк, который и устроил Берлинский конгресс. На этом Берлинском конгрессе был уничтожен Сен-Стефанский договор и вместо него явился Берлинский трактат, отголоски которого мы переживали еще два года тому назад, когда снова чуть-чуть не произошла война с Австрией по поводу Боснии и Герцеговины, и, наверное, она бы возгорелась, если бы мы были в силах «ее начать» и не растеряли все в войне с Японией. Австрия, пользуясь нашей слабостью, присоединила к себе Боснию и Герцеговину, которые принципиально находились во временном ее управлении, реально же, конечно, эти провинции находились уже почти в полном обладании Австрии, так как временное управление, продолжавшееся в течение более 30 лет, конечно, уже создало некоторое право давности. Поэтому после Берлинского трактата все предположения о возможной войне с Австрией были откинута, и назначение Барятинского главнокомандующим явилось чисто номинальным, не имевшим никаких последствий. Когда Барятинский жил в Скерневицах и в имении Ивановском, у него очень часто бывал Фадеев, который подолгу там жил; в течение года он проводил обыкновенно вместе с князем

Барятинским несколько месяцев. Князя Барятинского не было уже в живых, когда император Александр I вступил на престол.

После смерти императора Александра II, когда на престол вступил император Александр III, он опять вернулся к мысли о преобразовании всего военного устройства на тех основаниях, на которых в начале своего царствования его отец, император Александр II, предполагал, по плану Барятинского, преобразовать военное устройство в России. Но в то же время Барятинского уже не было в живых, и потому можно было заранее предвидеть, что эта мысль потерпит фиаско. Император Александр I сместил графа Милютина и назначил военным министром Ванновского, а вместо графа Гейдена начальником Генерального штаба назначил Обручева. Назначение Обручева, ближайшего сотрудника Милютина, начальником Генерального штаба к Ванновскому уже ясно показывало, что Ванновский будет на дело смотреть глазами Обручева, так как, несомненно, Обручев был гораздо более образован и подкован для всяких трений, нежели его начальник Ванновский. Но тем не менее вопрос о преобразовании всего военного устройства по тому образцу, по которому предполагал Барятинский, был поднят и рассматривался на Особом совещании, председателем которого был назначен генерал граф Коцебу, который, как я уже говорил ранее, был из числа партизан. Идея этого переустройства родилась еще в те времена, когда Фадеев только начал вести борьбу по этому вопросу с Милютиным. Но совещание это не могло ничем кончиться, потому что военный министр Ванновский, а также Обручев, настаивали на том, что делать такое крупное преобразование сразу неудобно, что это расстроит все наше военное дело. Ванновский обещал все это сделать понемногу, и в конце концов ничего не было сделано.

Я графа Милютина знал еще с детства, когда был еще мальчиком; будучи на Кавказе, я был в хороших отношениях с его сыном, который был старше меня. Впоследствии этот сын Милютина был курским губернатором; он был вообще очень хорошим, но совершенно обыкновенным, ничем не выдающимся человеком. Когда я и мои братья бывали у Милютина, то, играя с его сыном, которого граф сильно любил, мы постоянно бегали в кабинете графа, и тогда он оставил во мне, как мальчишке, самое лучшее впечатление; но потом вследствие тех разногласий, которые произошли между ним и моим дядей, я и все мои родные отделились от семейства Милютиных, и в течение многих десятков лет я совсем с ним не встречался. Когда же я сделался министром финансов, то, проводя вместе с государем несколько осенних месяцев в Ялте, я бывал у Милютина и там часто имел случай говорить с ним о многих вопросах совершенно откровенно. Граф Милютин — вообще человек очень большого ума, человек крайне систематических мнений и очень большого образования, но в деловом смысле — человек сухой и большой систематик. Мне совершенно

понятно, что граф Милютин не мог сойтись с такой натурой, какую представлял собой мой дядя Фадеев, хотя этот последний и был человек незаурядного образования и незаурядного таланта. В последние годы своей жизни Фадеев был очень близок с семейством графа Воронцова-Дашкова, т. е., собственно говоря, с самим Воронцовым-Дашковым. Граф Воронцов-Дашков был на Кавказе адъютантом у Барятинского, а так как Фадеев был также его старшим адъютантом, то Воронцов-Дашков и находился под известным обаянием и руководством моего дяди. Часто Воронцов-Дашков бывал у нас в доме и у Ростислава Андреевича Фадеева, который жил вместе с нами. И вот эта близость, которая установилась между ними в то время, соединила их на всю жизнь. В начале 80-х годов Фадеев начал болеть желудком; мне кажется, у него был рак. Моя мать и сестра повезли его в Карлсбад; я тогда был по своей болезни в Мариенбаде и часто навещал дядю. Ему в Карлсбаде как будто бы сделалось немного лучше, и он переехал в Одессу. Поселился он у моей матери на Херсонской улице (чей дом — не помню), где умер в 80-х годах.

Граф С. Ю. Витте

1907 г.

(Витте С.Ю. Воспоминания. Т. 1. — М., 1960. — С. 21–37)

Приложение III

КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ, ПРОДИКТОВАННЫЕ ПИСАТЕЛЕМ А.Г. ДОСТОЕВСКОЙ

Федор Михайлович Достоевский, русский писатель, родился в 1821 году в Москве. Отец его был дворянин, помещик и доктор медицины.

Воспитывался до 16 лет в Москве. На семнадцатом году выдержал в Петербурге экзамен в Главном инженерном училище. В 1842-м году окончил военно-инженерный курс и вышел из училища инженер-подпоручиком. Был оставлен на службе в Петербурге, но другие цели и стремления влекли его к себе неотразимо. Он особенно стал заниматься литературой, философией и историей.

В 1844 году вышел в отставку и тогда же написал свою первую довольно большую повесть «Бедные люди». Эта повесть разом создала ему положение в литературе, встречена была критикой и лучшим русским обществом чрезвычайно благосклонно. Это был успех в полном смысле слова редкий. Но наступившее затем постоянное нездоровье несколько лет сряду вредило его литературным занятиям.

Весною 1849 года он был арестован вместе со многими другими за участие в политическом заговоре против правительства, имевшем социалистический оттенок. Был предан следствию и высочайше назначенному военному суду. После восьмимесячного содержания в Петропавловской крепости был приговорен к смертной казни расстрелянием. Но приговор исполнен не был: было прочитано смягчение приговора и Достоевский был, по лишении прав состояния, чинов и дворянства, сослан в Сибирь в каторжную работу на четыре года, с зачислением по окончании срока каторги в рядовые солдаты. Приговор этот над Достоевским был, по форме своей, первым еще случаем в России, ибо всякий приговоренный в России в каторгу теряет гражданские права свои навеки, хотя бы и окончил свой срок каторги. Достоевскому же назначалось, по отбытии срока каторги, поступить в солдаты, — то есть возвращались опять права гражданина. Впоследствии подобные помилования случались не раз, но тогда это был первый случай и произошел по воле покойного императора Николая I, пожалевшего в Достоевском его молодость и талант.

В Сибири Достоевский отбыл свой четырехлетний срок каторжных работ, в крепости Омске; и затем в 1854 году был отправлен из каторги рядовым солдатом в Сибирский линейный батальон № 7 в г. Семипалатинск, где через год был произведен в унтер-офицеры,

а в 1856 году, со вступлением на престол ныне царствующего императора Александра II — в офицеры. В 1859 году, будучи в падучей болезни, нажитой еще в каторге, был уволен в отставку и возвращен в Россию, сначала в г. Тверь, а затем в Петербург. Здесь Достоевский начал вновь заниматься литературой.

В 1861 году старший брат его, Михаил Михайлович Достоевский, начал издавать ежемесячный большой литературный журнал («Revue») «Время». В издании журнала принял участие и Ф.М. Достоевский, напечатавший в нем свой роман «Униженные и оскорбленные», сочувственно принятый публикой. Но в следующие два года он начал и кончил «Записки из Мертвого дома», в которых под вымышленными именами рассказал свою жизнь в каторге и описал своих прежних товарищей-каторжных. Эта книга была прочитана всей Россией и до сих пор ценится высоко, хотя порядки и обычаи, описанные в «Записках из Мертвого дома», давно уже изменились в России.

В 1866 году, по смерти своего брата и по прекращении издаваемого им журнала «Эпоха», Достоевский написал роман «Преступление и наказание», затем в 1868 г. — роман «Идиот» и в 1870 году роман «Бесы». Эти три романа были высоко оценены публикой, хотя Достоевский, может быть, слишком жестоко отнесся в них к современному русскому обществу.

В 1876 году Достоевский стал издавать ежемесячный журнал под оригинальную форму своего «Дневника», писанного единственно им одним без сотрудников. Это издание выходило в 1876 и 1877 гг. в количестве 8000 экземпляров. Оно имело успех. Вообще Достоевский любим русскою публикою. Он заслужил даже от литературных противников своих отзыв высоко честного и искреннего писателя. По убеждениям своим он открытый славянофил; прежние же социалистические убеждения его весьма сильно изменились.

(Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений. Т. 27. С. 120–121)

РОССИЙСКИЙ ВОЕННЫЙ СБОРНИК

Редактор-учредитель А. Савинкин

Издание зарегистрировано
Московской региональной инспекцией
по защите свободы печати и массовой информации.

Свидетельство о регистрации № А-035 от 29 октября 1993 г.